

16+

Юрий Вылегжанин

Отец и сын

Роман

Юрий Павлович Вылегжанин

Отец и сын

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65090326

SelfPub; 2021

Аннотация

Более 300 лет назад, летом 1718 года окончил жизнь свою старший сын Петра I Алексей. С детства росший в тени своего отца, он так и не захотел стать его приемником. Напротив: властолюбие заставило его предать родителя, а слабость воли не дала сил оборонить тех, кто ему поверил. Однако, даже такая жизнь его – все же часть истории наших предков, которые по образному выражению М.Н. Карамзина: «страдали и своими бедствиями изготовили наше величие».

Содержание

Пролог	4
Часть первая	21
Часть вторая	63
Часть третья	118
Часть четвертая	185
Часть пятая	237
Часть шестая	292
Часть седьмая	345
Часть восьмая	376
Эпилог	494

Юрий Вылегжанин

Отец и сын

Пролог

в нем сюжет хотя и не начинается, так как это бывает обыкновенно, но в ней автор с возможной для него красноречивостью пытается показать серьезность своих намерений.

1

Какое-нито проявление словесности, сиречь, к примеру, повесть, некоторые находят возможным сравнивать с водным потоком. Но ведь он почти всегда начинается с родничка, текущего в тени какого-нибудь маленького овражка. И уж, конечно, по начальной этой воде ни за что не догадаться, что в устье она течет широкою и полноводною рекою.

Посему и повесть сия начало свое берет с обычной картины, по которой далеко еще нельзя судить, какие страсти закипят на ее страницах, когда сюжет развернется во всей силе своей, и, тем более, – чем завершится все действие.

2

Тридцатого июня 1715 года царь Петр пребывал в отличном расположении духа, а именно в таком, каковое у него всегда бывало, когда обретался он среди близких ему людей, причем, чаще всего, конечно, отнюдь не в родственном

смысле.

В пятом часу пополудни окружение это в тот день составили почти полсотни морских офицеров – по преимуществу русских, и по преимуществу, молодых. Застолье было устроено в новом, просторном, каменном строении, с явно низковатым для царя сводчатым потолком, чисто выбеленным известью. На острове Кроншлоте шла большая стройка. Возводился Кронштадт – мощная морская крепость, которая должна была прочно запереть проход морем к новой русской столице Санкт-Петербургу.

Стоял веселый гвалт: молодежь веселилась. Мундиры все скинули и повесили на спинки стульев, оставаясь, не исключая и царя, только в белых рубашках голландского полотна.

Петр, однако, на месте не сидел. Он любимейшим образом своим прохаживался по залу с бокалом в руке, слушал, о чем говорили молодые русские моряки, потрепывал кого-то по плечу, чокался, отпивал по глотку и снова свободно прохаживался.

Но вот он подошел к своему месту – во главе стола, весело, быстро и в то же время внимательно оглядел всех своими круглыми, сверкающими глазами и поднял правую руку вверх. И гомон тотчас стих. Все приготовились внимать своему кумиру.

3

– Господа офицеры!

Петр несколько мгновений помолчал, улыбаясь в усы. Вы-

держав нужную паузу и собрав таким образом внимание всех, царь начал говорить.

Голос царя Петра был не звонкий и высокий; обыкновенный и даже вовсе не сильный басок. Но звучал он под каменными сводами весьма ясно, слышимый всеми, кто сидел в тот час за столом.

– Вот гляжу я на вас, таких молодых да веселых, и мне тако же радостно, но не токмо потому, что веселюся здесь вместе с вами. Но и потому, что спущен на воду еще один кораблик. И хотя не велика посудинка – в двадцать пушечек всего, а я – все равно рад. И вы, мои товарищи, чаю, тоже рады...

Давным-давно, лет, может, пятнадцати от роду, или даже меньше, читал я Несторову летопись. Из ней и вызнал, как один из начальных князей наших, именем Олег посылал ладьи свои на Царьград. И вот, с того детского времени и засело у меня в голове – здесь Его Царское Величество простецки постучал кулаком себя по лбу, вызвав веселое оживление за столом, – засело у меня в голове, повторил он, – море.

Сначала вельми хотел стать освободителем Царьграда от басурман. А когда по милости Божией, чрез препоны дьявольские царем-таки стал, довел до меня Господь, что государству Нашему без моря – никак не можно. Никак не можно. А шведы, да турки, да крымчаки пред глазами русскими препрочный занавес задернули и тем со всем светом, почи-тай, коммуникацию пресекли! – В этом месте Петр поднял

голос до крика даже, в коем явно слышалась злоба.

Царь взял паузу, а помолчав – продолжал спокойно и уверенно:

– И пришлось нам, грешным воевать. Какие ужасы адовы крошечные у нас с вами при этом произошли, нынче говорить много нечего. Сами все ведаете. А в наше время – я в конечной виктории над шведом не сумлеваюсь! Потому что сейчас у нас есть Кронштадт, где мы сидим и вино пьем; есть и Санкт-Петербурх; потому что русскою храбростию взяты Рига и Ревель; потому что мы сами корабли уже строим и крепко можем защищать себя на море. И потому что Невою к нам заходят суда и из Европы; а коли даст Бог, то построим и канал великий Ладожский; так Волгою в Санкт-Петербурх торговать к нам и азияты придут...

Петр поднял было бокал, хотел, видимо, тост провозгласить, но слушатели его повскакивали с мест, закричали «Виват!» и «Ура!» и царь посчитал, скорее всего, тост свой излишним: и так, мол, все ясно. Отпил он из бокала глоточек, сел, и стал, значит, закусывать. И его сотрапезники – тоже. В помещении установилась почти что полный штиль; все сосредоточились на еде. Редко где только звякнет кто-нибудь прибором.

4

И вот в такой-то тишине раздался вдруг... плач. Настоящий громкий плач. Это было... более чем удивительно! Среди веселого пира – слезы, да какие! Не скрывая лица, белу-

гой ревел лейтенант Семен Мишуков.

Сделали попытку засмеяться. Петр же, который к Семену относился очень хорошо – не засмеялся. Напротив – спросил – участливо и даже с некоторою тревогою:

– О чем, Семушка, слезы льешь? Аль обидел кто? Ты только скажи, а уж мы ему...

Но услышавши царские слова, к нему обращенные, Мишуков, напротив, принялся реветь еще громче.

За столом все же некоторые опять сделали попытку увидеть в картине смешное, и, так сказать, адекватно отреагировать.

– Молчать! – резко выкрикнул царь. – Или не видите, что не в себе вовсе человек? – И, налив в оловянную чарку воды, буквально силою заставил плачущего лейтенанта отпить несколько глотков. Сказал ему строго:

– И не стыдно тебе? Русский офицер, фрегатный командир, а реवेशь как... как... – Петр явно затруднялся в поисках сравнения. – С какой стати плачешь-то? Сказывай!

Ослушаться Мишуков не посмел. Испивши воды, он, хотя и икал, хотя и слезы у него ручьем течь не перестали, начал говорить:

– А как... как мне не плакать? Как не... плакать? Ведь вот сидим мы... за этим столом, едим, пьем, новому кораблю радуемся вельми... Хорошо ведь?

– Хорошо! – весело подтвердил повелитель. – Вали дальше! Любопытно...

– Питербурх строится не по дням а по часам... Все мы, моряки российские, да и я сам – Семка, Семка Мишуков, который отроком еще пас телят боярских и который ныне и кортик имею и на военной службе состою, все мы милость твою и планы твои, государь, великие, понимаем доподлинно, и животы свои легко положим за тебя и за Отечество наше любезное, коли нужда станет... Но ведь... Но ведь здоровье-то твое трудами великими уже подточенное... Вот я и плачу... На кого ты нас покинешь?

Вот теперь наступила мертвая тишина. Все ожидали, что царь страшно разгневется. И какой ни был хмельной Мишуков – тоже ожидал. Он высказался и теперь был готов ко всему.

Но гнева царского не последовало.

– Как, на кого? – спокойно удивился Петр. – У меня есть наследник – царевич.

– Ох, да ведь он – глуп! Все расстроит! – с нескрываемой досадою ответил царю Мишуков. – Расстроит, как есть! – повторил он.

На этот раз наступила не простая тишина, а такая, что стало явно слышным многое людское дыхание. Снова запахло гневной царской вспышкой. Но – удивительное дело – опять таки, против ожидаемого – царь вдруг усмехнулся и... залепил Мишукову крепкую затрещину. Мишуков здорово шатнулся, но на ногах устоял. Видать, не был он настолько пьян, насколько хотел казаться. А Петр – сказал ему, мрачно

сказал, это правда, но без гнева:

– Дурак! Этого при всех не говорят!

5

Ночь после пирушки Петр провел на новом корабле, в крохотной капитанской каюточке на корме. Лежал на свеженабитом пахучем сеннике. Простынею ему служил кусок новой парусины. В головах была походная кожаная подушечка, набитая конским волосом. Одеяло царское походное, было хотя и теплое, ватное, но старенькое, не с единою заплатою. Но менять его на новое царь не велел.

Было тихо. Но Петр знал, что за каютною дверью расположились два его денщика – расторопных, понимающих своего повелителя когда с полуслова, а когда и вовсе без слов.

На верхней же палубе разместились еще, хотя и немногочисленная, но охрана с оружием. Так что царь имел все основания считать себя в полной безопасности.

Но сна не было.

Сразу же после застолья, Петр, по постоянному своему обыкновению, часа с два соснул. И потому, видно, ночью долго не мог уснуть. Но была и еще одна, главная, причина царской бессонницы: пьяная выходка Семена Мишукова.

Петр отлично понимал, что будь Мишуков потрезвее, он ни за что не решился бы сказать то, что сказал. Но ведь (и это царь тоже хорошо понимал) «что у тверезого на уме, то у пьяного на языке». Выходит, что, так как этот пьяный лейтенант сказал, думал и едва ли не все, кто сидел нынче днем

за столом с царем.

И это было правдой. Потому что так же, как Мишуков, думал и сам царь.

6

Но что же делать! Что же делать, Господи? Ведь в пору самому было зареветь в голос не хуже того пьяного лейтенанта. Но этого было никак нельзя. Потому как за дверью если и спят, то очень чутко: при малейшем шуме встрепенутся. А сторожей беспокоить нельзя. Разговоры пойдут о царевой слабости. На чужой роток, как говорят, не накинешь платок.... Да.... Подарил Господь сыночка... Знатный подарочек...

Петр долго-долго ворочался с боку на бок, да так и не заснул толком. Летом на Балтике ночи короткие. Царь лежал и думал.

А, между тем, – как все хорошо начиналось! Как же хорошо начиналось, Господи! И отчего все так плохо нынче – так плохо, что даже флотские лейтенанты, ему, отцу, за сына совершенное неудовольствие вслух и громко безо всякого стеснения выражают! Стало быть сын его и горе его – для подданных – совсем не тайна: все всё знают и судят обо всем. Куда как хорошо!

7

Свой внутренний голос Петр почти никогда не слышал и не слушал. Ибо был всегда очень занят и слишком уверен в себе, – как и любой исполняющий миссию. Только вот в

такие бессонные ночи невидимый и неслышимый прочими судья настигал-таки душу его и начинал суд и расправу, причем, ни уйти, ни даже убежать от него куды нито, не было никакой возможности.

Вот о н – вертится в голове и никак не хочет пропадать – главный вопрос: «А нет ли в том, что сын твой таким-то вырос и стал, – твоей вины, а, отец?»... Ибо ведь чтобы он, сын, стался по образу и подобию отцовскому, надо его подле себя держать. Чтобы чадо, на отца гляючи, ума набиралось... А так ли было?

– Нет, – признавался отец и принимался с жаром доказывать и объяснять ему самому такое ясное и понятное:

– Я – всю жизнь только и знаю, что работаю! Я занят по самое горло! У меня на плечах государство! У меня – такие большие дела были и будут, что, нежностям семейным в них места нету – ну совсем!

– А коли так, – как бы маленько итожит голос, – что же отцу на сына обижаться? С отца главный спрос!

– Может, меня рано женили, и в этом все дело? – в некоторой нерешительности размышлял отец.

– Э, нет! Матушка ведь с твоею женитьбою решила, когда тебе уже более шестнадцати годков было. А это – совершенные лета, и вилять тут нечего. Ведь причина-то в другом деле вовсе. В те поры брат твой старший и царь Иван Алексеевич уже женат был и первого прибавления в семействе своем ожидал. Надо было торопиться уравниваться! Вот и жени-

ли тебя на Дуне.

– Это – понятно. – неожиданно спокойно отреагировал Петр. – Давай дальше...

– А что – дальше? Ты сколь годков в супружестве с Дуною мужем прожил? Пять? Целых пять? Нет, всего только пять! А часто ли ты – за эти-то пять лет – с женою б ы л и сына каждый день, как нужно бы, видел?

– Знамо дело, не часто. – соглашался Петр. Но попробовал, тем не менее, воодушевиться – снова стал выдавать возражения:

– Я – николи не забывал, что Алексей – сын мой! Я – готовлю его на царство! Он – в Саксонии учился в Дрездене, в университете. Он геометрию и фортификацию в Кракове превосходил! В семьсот осьмом году в Смоленске провиант для армии заготовливал! Москву готовил к обороне от шведа! Свежих рекрут под Полтаву аккурат перед баталией ко мне привел! А что в битве не пришлось мне его видеть, так ведь истинно – в лихоманке слег злой!

– А хороши ли рекруты-то были? – ехидно спросил Голос у Петра.

– Нехороши, верно, – согласился царь-отец. – Так ведь молод вельми еще...

А внутренний голос не молкнет все, знай свое гнет, тоже возражает, не ленится:

– А тебе, что, неведомо разве, что сын твой еще и в Смоленске по кормовым для войска делам не бывал, а в Сузда-

ле, в монастыре Покровском уже бывал и с матерью своею – Евдокией – виделся? Ведомо? Ведомо, ведомо!

Может, ты и в сей час, ночью, здесь, без ушей недобрых твердить станешь, будто жена твоя едва в ногах не валялась, сама, слезно в монастырь просилась? Так это ты днем говори, прилюдно. И свидетели днем, понятное дело, всегда найдутся ко услугам. А ночью, ночью-то зачем душой кривить? Правда в другом, и ты, царь, правду сию ведаешь доподлинно. Правда – в том, что сын твой видел тебя – отца весьма редко. И то – без радости. Уж больно сурово ты его встречал, больно сурово наставлял, больно часто упрекал да угрожал, а бывало – и бивал даже! Ты что же хотел, чтобы сын о матери своей забыл вовсе? Так знай: не может сын о матери забыть. Тем паче, не по своей, а пусть даже и по отцовской воле. Ведь он, сын-то, вопреки оной воле, еще крепче, мать свою помнить будет.

Выходит, что? Выходит, ты сам, отец, почитай, во всем и виноват. И на кого теперь, скажи на милость, жаловаться да сетовать? Вестимо, на себя самого. И только.

8

Тихо вокруг. На малой волне корабль, в котором лежал и думал думу свою Петр, едва заметно покачивался. Царь не спал, ворочался. Его сжигала досада. Надо принять во внимание, что Петр Алексеевич, хотя свою царскую роль ясно понимал, но, как нам представляется, более всего привык к повиновению других. И как повелитель склонен был более

впадать в ярость по поводу ошибок исполнителей, нежели бичевать себя за ошибки, которые совершал сам – хотя бы и мысленно.

Между тем, эта тяжелая, томительная для царя ночь, наконец, прошла. И ранним утром коротко и торопливо постучавши, в дверь коютки, в которой царь ночевал, сунул голову Данилыч – ближайший не только в те поры но и до самой смерти царской, к нему человек – Александр Данилович Меншиков.

– Мин херц, пустишь ли?

– Заходи, – тоном, как говорится не предвещавшим ничего хорошего, коротко ответил Петр и спросил:

– Что надобно?

– Дельце есть.

Царь по-прежнему оставался, что называется, мрачнее тучи. Молчал, и молча, смотрел на утреннего непрошенного своего гостя, который объяснял почтительной скороговоркой:

– Вчерась токмо «купец» пришел с сукном офицерским аглицким. Так я велел отрезать кусочек... С коровий носочек. Прикажешь показать?

– Ну, покажи...

Меншиков выскочил вон и почти тут же воротился, ведя за рукав незнакомого Петру матроса, несшего в руках свернутое синее английское сукно.

Сияя победною улыбкою Данилыч вослед за тем доволь-

но-таки ловко развернул материю перед глазами мрачного после обильной вчерашней выпивки «минхерца».

– Каково, а? – громко и одновременно, отчетливо-льстиво спросил Меншиков.

– Щас поглядим... – коротко рявкнул Петр и, крепко ухватив край шерстяного куска, ощерившись, коротко и резко рванул. Английское офицерское сукно выдержало.

– А? – воскликнул торжествующе ожидавший эффекта полудержавный властелин. – Каково сукнецо?! – и рассмеялся раскатисто и громко, вполне довольный.

– Ты... это... погоди-ка веселиться. – ответил Петр. – Мне и самому ведомо, что сукно аглицкое зело доброе, особливо новое. Новое да сухое...

Неожиданно Петр резко и круто повернулся на каблуках. И очутился лицом к лицу с матросом. Обожженный сверлящим царским взглядом, ярко, словно молния сверкнувшим в сумраке каютки, матрос испытал, скорей всего, жуткий страх, потому что безотчетно попятился к двери и едва не споткнулся о комингс.

Но железный царский палец все же догнал его и пребольно ткнул «под ложечку».

– Снимай! – коротко приказал Петр.

Не говоря не слова матрос выполнил приказание и куртку снял. Причем Петр сразу увидел, что под курткой у того ничего не было.

Снова – коротко и зло – сверкнул царский глаз, преболь-

но резанув Меншикова. Царь взял куртку за целую полу и потянул. Сукно немедленно расползлось, да не по шву а по целому. Молча швырнул царь матросово рваньё тому в руки, и он, что называется, пулей выскочил вон.

– Ну? – ледяным голосом спросил Меншикова Петр. – Что ты на сие скажешь?

– Матрозы – ведь они завсегда в воде мокнут. Вот сукно и слабнет – от воды-то... Плохо сушат одежду. – нарочито бодро-деловым тоном объяснил Александр Данилович своему повелителю.

– Будет тебе врать! – резко оборвал меншиковскую тираду царь. – Небось, подряд-то на матрозовское сукно ты и взял! Так, ай нет? Отвечать надоть, коли царь спрашивает!

Но Александр Данилович в сию минут почел за благо смолчать с убитым видом.

– Сука! – вдруг резко и громко выкрикнул Петр и крепчайший царский кулак обрушился на голову Меншикова. Оглушенный ударом, тот рухнул как подкошенный.

И тогда Петр открыл дверь каютки и крикнул просто наружу, ни к кому определенно не адресуясь:

– Ведро воды! Быстро!

Ведро холодной забортной воды было принесено мгновенно. Петр, кивнув головой на лежавшего Меншикова, командовал:

– Отлить!

Меншикова окатили холодной морской водой и он скоро заворочался, замычал и затряс головою.

– Посадите его, и – вон отсюда!

Дверь испуганно хлопнула.

Сидя напротив Меншикова, царь не торопясь набил табак глиняную трубочку, раскурил ее и выпустил дымную струю прямо в лицо оживающему Александру Даниловичу. Помолчал. И спросил – громко, почти весело:

– Очухался?

– Ну... – отвечивал хриплым голосом побитый.

– Слушай меня. Сукно я проверю. Ежели твой подряд – держись. Такого штрафа назначу – рад не будешь. Но об этом после. У меня сейчас к тебе дело имеется. Тайное. И хотя ты, как я знаю доподлинно, сволочь отнюдь не маленькая и вор, и надо бы тебя наказать примерно, но... Знаю тако же, что предан ты мне как собака и проверен многажды... И посему выходит, обойтись мне без тебя опять нельзя... Ты слушаешь?

– Слушаю...

– Слушай еще.

10

– Вчерась мне Семка Мишуков в глаза сказал, что сыночек мой Алексей – дурак форменный, и дело мое, государственное, опосля того, как Бог-де меня приберет, непременно порушит... Но Семен – мальчишка, да и пьян был сверх всякой меры... А вот ты-то как думаешь?

– Я – что? Ты ведь и сам – знаешь-понимаешь, что в Алешкины руки престол отдавать... опасно. И не в Алешке тут дело. А в людях, к коим он нынче прилежен.

– И ты людей тех знаешь? – деловито спросил Петр.

– Ну... Кого-то знаю, кого-то не знаю. Но ты скажи только слово – все будешь ведать!

– Вот-вот! Надобно проведать доподлинно – что за люди. Думаю, однако, что это пока только клобуковая братия. Из тех, кто Алешку с измальства ханжить приохотили. Коли так, то пускай все идет, как и шло. Опасности, я чаю, пока нету... Пока нету. – повторил он. – Но не дай Бог, там в коноводах кто другой обретается: от тетушки Софьюшки из Девицы – те, кто ныне в темных углах хоронятся и свету белого не любят... Вызнать все доподлинно! Вызнать и донести! Месяц сроку тебе даю! Копай как хочешь и где хочешь! А не вызнаешь – пеняй на себя! Ты меня знаешь. Я не посмотрю, что ты Меншиков! Уразумел? Ступай!

11

Александр Даниловичу Меншикову давно и все было понятно. Посему он уже несколько раз и порывался бежать из каютки прочь. Ибо ясно видел, что царское раздражение пока не минуло, и что в любой момент непогашенный как следует гнев может разгореться с новой силой. В такие минуты лучше от Благодетеля держаться подалее. Неровен час – распалится, да еще палку в руки возьмет... Тогда – беда.

Но давайте-ка мы переживания Александра Даниловича

пока отставим. . .

А вот – помнит ли читатель, как Петр Алексеевич – тогда, ночью, с сожалением воскликнул про себя – дескать, ах, как хорошо все начиналось?!

Вот мы и расскажем далее, как все начиналось на самом деле, как продолжалось и закончилось. И так ли уже на самом деле все сначала было действительно хорошо. И какова была вся эта история. И не только в начале, но и, так сказать, на всем ее протяжении.

Часть первая

повествующая о рождении и раннем детстве царевича Алексея Петровича, о первых надеждах, которые питал по поводу сына отец и о первых расчетах, которые делали на него недруги Петра.

1

Началось все семнадцатого февраля 6198 года от Сотворения мира, или 1690 года от Рождества Христова. Был понедельник.

И начался, и шел этот день спервоначалу самым обычным образом. Не обычное началось только вечером, когда за ужином Петр не увидел Евдокию. Хотя... Что же в этом удивительного? Петр – женатый человек и понимает – что к чему: отчего живот у женушки, отчего Дуняша побледнела и подурнела, отчего у нее последнее время почти всегда кислое выражение лица, отчего она очень мало ела: только пожует чего чуточек и отставит. Так ведь всегда бывает, когда баба рожать собирается, но сами роды еще не приспели. Хотя и говорили все вокруг, и немецкие лекари тоже, что беременность молодой царицы протекает как следует и оснований для беспокойства нет, но матушка Наталья Кирилловна с сыном все равно смотрели на нее с участием и тревогою.

В тот вечер мать сказала сыну:

– Дуняше неможется. Она испросила позволения не вы-

ходить к ужину. Я – позволила... А ты бы, Петруша, после ужина зашел к ней, проведаль да утешил...

– Проведаю. – коротко ответил сын.

При этих материнских словах юный царь сразу вспомнил, что он говорил ему неделю назад любимый дядюшка Лев Кириллович, заметив, как племянник трусит, когда заговаривали о приближающемся прибавлении царского семейства.

– Это что – невидаль что ль какая – баба на сносях? Родит, родит, ничего с нею не сдеется. Иного пути явиться человеку на свет Божий не было и не будет. Все одно, кто тот человек – холоп кабальный или трону наследник. Тут о другом думать надобно: кто родится – царь будущий или теремная затворница.

– Мне – все одно, кто бы не родился. – быстро, как давно для себя решенное, ответил племянник.

– Э, нет, дружок! Хорошо, кабы наследник и царь будущий пораньше родился. Ах, для чего? Ужли не понял? Да чтоб постарше был, когда ему час ударит престол принимать... Что зенками-то сверкнул? Обиделся, что ли, как на смерть твою намекнул? Ну, этот ты напрасно... Помнить о смерти всегда полезно. А царю – тем паче.

Ты ведь, хотя и царь, а как все – не вечен. И кто тебя об этом без вражды или умысла какого скажет, коли не я? Софья, что ли? Да если мальчик у тебя родится, она, как есть, от злобы желчью изойдет, поди. Даже в келье, за стеной и под стражею.

Итак, вспомнив, что говорил дядюшка Лев Кириллович, Петр решился показать матери, что сын ее, поскольку дитя у него вот-вот родится, – уже не ребенок, и, напустив на себя, сколько мог, важности, сказал:

– Ничего с Дуняшею худого не сдееется! Родит, как и все. И до нее рожали, и после нее рожать будут! – и далее добавил тоже близко к тому, что услышал не так давно от дядюшки Льва:

– Тут о другом гадать надобно: кто родится – парень или девка.

– Кто не родится всяк для жизни сгодится! – улыбаясь ответила на эти слова сына матушка.

– Так-то оно так, согласился сын. – А все же хочется, что бы мальчик, наследник престола появился пораньше.

– Вестимо. – тоже согласилась мать. – Только ведь как угадать-то...

– А говорят, есть бабки, которые угадывают.

– Говорят...

Разговор этот происходил во время ужина на половине царицы-матери. Ели только мать и сын – двое, запросто.

И вдруг в дверь столовой сунулась голова одной из бабушек, которые последние дни от Евдокии ни на шаг не отходили, и, торопливо, тревожно, а в то же время как бы и радостно, – не сказала даже, а чуть ли не вскрикнула:

– Началось!

И тогда, роняя стулья и посуду, мать и сын бросились во-след за бабушкой, но Петра в ту комнату, где находилась Ев-докия – не пустили. Пустили только свекровь.

Петр же в растерянности только огляделся. Ничего боль-ше не оставалось. У него, не смотря на крайнюю степень воз-буждения, хватило рассудка не ломиться в запертую дверь. И поскольку действительно ничего больше не оставалось, он уселся в старинное привезенное из Польши еще при дедуш-ке Михаиле Федоровиче, кресло, стоявшее в углу.

Дело в запертой комнате, по-видимому, затягивалось. Взволнованный Петруша места себе не находил: то сидел в кресле, обхвативши руками острые колени и раскачиваясь, то принимался ходить и даже бегать по этой странной ком-нате с единственным креслом польской работы, то снова са-дился, то подходил к двери, подставлял ухо и пытался рас-слышать – что происходит за нею; но ничего понятного не слышал: дверь была добросовестно прикрыта. Угадывалось только некая суета, беготня, то и дело бухали, закрываясь, какие-то двери.

Так и шло время. Вечер давно кончился. Наступила уже ночь, с самого своего начала полная тревоги и напряженно-сти. И конца ей видно не было.

4

Поскольку беременность молодой царицы ни для кого в Кремле секретом с некоторого времени не была, то заметный

ночной переполох во дворце получил немедленное и точное истолкование: «Дуня -царица рожает!»

Однако, прошло уже немало времени и после полуночи. Петр даже соснул, вернее недолго забылся в кресле. Но на все учтивые призывы забегавшихся дворцовых людей идти отдыхать, он отвечал отказом. И вовсе не из-за особой любви к Евдокии, а совсем по другой причине: он уже совершенно убедил сам себя в том что родится мальчик. И хотел свидетельствовать этот государственно-значимый факт. Но произошло все ожидавшееся очень просто и... неожиданно.

Дверь вдруг распахнулась. На пороге стояла матушка. За ее спиной было очень светло – от одновременно горевших многих свечей. Открывшая дверь царица Наталья Кирилловна в свою очередь увидела, как в углу длинно распрямляется, вставая из кресла ее Петруша, у которого на лице был ярко выписан немой вопрос. И она закричала – даже с каким-то визгом:

– Петруша, миленький! Счастье-то какое нам! Мальчик родился, сыночек твой, кровинушка твоя, наследник престола!

И бросилась к сыну. Лицо ее – такое ему знакомое, круглое и доброе, которое Петр увидел совсем-совсем близко – было мокрым от слез. Они текли неудержимо. Но матушка слез этих не вытирала. Потому что это были слезы радости.

5

Что такое из себя есть рождение человека?

– Явление вполне зряшное. – скажет кто-нибудь. – Ведь каждый день и каждый час рождаются, может быть, многие миллионы людей. Однако, на лбу у каждого не написано – к т о родился: простой пахарь, великий книжник или праведник Божий. Но есть у сего великого действия – рождения человека – изъятие. Это когда появляется на свет Божий венценосный младенец, наследник престола. Тогда люди принимаются повсеместно радоваться, пьют вино и славят Отца нашего небесного. Хотя еще и неизвестно, доживет ли мальчик до совершенных лет, сядет ли на трон, и каким будет монархом – может, славу стяжает великую, а может и позор.

6

Итак первенец царский свет увидел девятнадцатого февраля, а по нашему, Русскому счету, восемнадцатого, часу у двенадцатом, а по иноземному счету в шестом.

Как бы об этом великом событии записал дворцовый грамотей тогдашним языком? А примерно так: «По случаю благополучного благоверною царицею нашею Евдокиею Федоровною разрешения от бремени сыном от мужа ея благовернаго и царя Великого Московского Петра Алексеевича февраля в девятнадцатый день в одиннадцатом часу, оба Великие цари и Государи – Петр Алексеевич да Иван Алексеевич имели выход праздничный в Успенский собор».

Но ведь это – обычная поденная запись. Воспроизвести ее близко к тому, как она, скорее всего, действительно была сделана – не большого труда стоит. Иное дело – описать са-

мую картину царского выхода. Это – намного труднее. Но, поскольку картина эта сюда настойчиво просится – мы попробуем.

7

Просто сказать, что в тот день в соборе-де было много народу – значит, ничего не сказать. Потому что народу было так много, что, как говорится в таких случаях, – яблоку упасть было негде. И народ этот в соборе был... пестроватый. Потому что хотя и старалась царская кремлевская стража, что бы люди, попавшие в собор были бы почище, это не всегда удавалось. И вместе с боярскими да дворянскими выходными одеждами видны были и простые овчинные тулупы, и нечесанные бороды торговых сидельцев, слободских жителей, а то и вовсе подлых людей.

В тот час великого торжества – все были равны; каждый радовался уже тому, что зрит великолепную службу, слышит голос и видит святейшего патриарха Иоакима; зрит и обоих государей в ярких праздничных одеждах, зрит и то что царь Петр Алексеевич вовсе не хотел скрывать своей радости и улыбался постоянно – рот до ушей.

Но в тот день особо заметили и того, кому не очень весело было – царя Ивана, быть может, единственного в соборе. И многие понимали, отчего тому не весело.

Ведь Иван – тоже царь и самодержец. И покуда у брата Петра не было сына, Иван имел шанс. Ребеночек то у него народился раньше. Хотя и девочка, нареченная Марией; и да-

лее у Ивана рождались все дочери. Пусть старший брат Петра и был слаб здоровьем и болел цингою; пусть он, по общему мнению и не был годен к государскому правлению, и, по всей вероятности, сам это осознавал, вокруг него всегда обретались люди, главным образом из числа Милославских, да родственников жены Прасковьи Федоровны Салтыковой, которые всегда были готовы подогреть слабое Иваново честолюбие.

Но вот у брата Петра родился сын. И все. Все, даже самые слабые из слабых надежды на возвышение Ивана в одночасье рухнули. Оттого и был Иван в тот день невесел, хотя у него и хватило ума не показывать этого открыто.

8

Закончилась торжественная служба в Успенском соборе, и толпа повалила в Архангельский, а потом еще и в Благовещенский. Лишь оттуда большая часть толпы разошлась, наконец, восвояси. Но оба самодержца еще выдержали праздничные литургии, каждый отдельно в своей дворцовой церкви.

Как издавна у нас водится, по поводу рождения царственного наследника в Москве было выпито за царский счет немало. Думных и ближних своих людей царская семья поила фряжским, дворяне же, стрелецкие полковники, дьяки и гости в обилии угощались водкою.

9

Гудели, напрягаясь колокола – церковные голоса. И над

всем этим глухим звоном по праву царил Иван Великий.

Радость была всеобщей. И причина этой радости тоже была единой. Потому что в сознании обыкновенного русского человека, жившего в последней четверти семнадцатого века, рождение венценосного младенца давало каждому подлинное Божье успокоение. В чем? Конечно же, в том, что если бесспорный наследник есть, то, скорее всего, не будет сумятицы, столь страшной Смуты, которая случилась в начале века, и о которой многие уже, как о живых своих переживаниях, может быть, и не всегда помнили, но все – знали.

И не только никто не хотел, чтобы смута, хотя бы частью своей, явилась сызнова, но все радовались, что теперь-то ее точно, вдругорядь не будет.

В этом – тогда, в феврале, – все были заодно. Все. И те, кто любил молодого царя Петра Алексеевича, и те, кто его ненавидел. И вторых тогда было едва ли не больше.

Первые не без основания полагали, что наследник придаст Петру уверенности в действиях. Вторые же – рассчитывали, что с рождением сына царь остепенится, больше времени будет в семье, и потому – новые, чужеземные химеры, к коим нынче он так прилежен, и посему так напугал радителей старины, мало-помалу из его головы повыветрятся.

10

Картина пьяной Москвы тогдашней нам сегодня, наверное, показалась бы интересной. Но молодому Петру она была вовсе не по сердцу, т.е. прямо скажем, изрядно надоела. Ина-

че – чем объяснить, что уже на следующий день царь уехал из Москвы в Филю, к дяде Льву Кирилловичу Нарышкину? У него там имелся загородный дом. В том-то доме и сидели за столом, угощались пивом и разговаривали племянник и дядя. Пётр чувствовал себя здесь как дома, совершенно без опаски, потому что доверял дядюшке безгранично.

11

– Слава Богу, все закончилось!

– Да, Петруша, большое дело ты сделал!

– Я?

– Ну, а кто же еще?

– Теперь все притихнут – и Милославские, и Салтыковы, и прочие!

– Притихнут-то притихнут, да не успокоятся. Смотреть за ними надо во все глаза...

– Нет-нет, теперь все!

– Воля твоя Государь, я тебе не судья, а все же – побыл бы ты в Москве еще...

– Чего ради?

– Слышал, стрельцы зело просились тебя поздравить...

– Ну их к чертям!

– Уважить бы надо...

– Или ты боишься, дядя?

– Боюсь...

– А я – не боюсь! Я теперича никого не боюсь! И Патрика к столу позову! Царь я или не царь?

– Царь, царь... И воля – твоя. А вот хорошо ли будет?

– Хорошо, хорошо все будет. А то, видано ли дело – я, царь, а не могу, кого хочу к столу своему пригласить!

– Он католик, Петруша...

– И что с того, что католик? Он – добрый католик! И мне служит – не за страх, а за совесть! Побольше своих так бы служили, как этот чужой!

– Ох, берегись, берегись, их, Петруша. Католики добрыми не бывают. Одни ляхи, вон, чего стоили нам!

– На Смуту новую намекаешь? Так не будет её больше! А коли на Августа – так ведь он – не поляк, а немец природный, саксонский, лютеранин.

– Ладно, ладно... А вот – покушай курятинки, знатная курятинка... У меня повар Герасим – сам знаешь, каков повар – кудесник, ей Богу!

– Дядюшка, не хитри! Лучше ответь: потребны нам нынче иноземцы, ай нет? По правде полной ответствуй!

– Потребны, потребны, Петруша. Ты – кушай курятинку-то, кушай!

– Нас еще многому учить надобно! – распалаясь не на шутку и размахивая куриной косточкой, витийствовал Петр. – И ты мне, должен в этом всем первым помощником быть! Я думаю тебя головой Посольского приказу поставить... Что ты на сие скажешь?

– Уж и не знаю, как ответить... Служить тебе рад. За честь великую почту. Однако, смогу ли, не знаю. Чтобы в Посоль-

ском приказе дела вершить, надобно иноземные дела – как они суть – ведать доподлинно. А я – что? Иноземных дел не ведаю, языков – тоже... разве... разве что по-польску, але добже не вем. Одно обещаю: дело свое править стану по со-вести.

– Что только от тебя и надобно! В самом-то приказе у нас людей, кои добре иноземные дела ведают, хотя и нехватка, но имеются. А на голову – свой человек нужен. Разумеешь?

– Вестимо, разумею.

– Я чаю, иноземцы честные нам ныне потребны, как ни-коли еще не бывали. Все будем менять. И не мы – так дети наши вкусят от перемен полной мерою. И сын мой, который вечер только народился и свет Божий увидал, – лучше отца своего, – меня, то есть, будет. За границу его отправлю. Та-мошнюю науку превзойдет. Языки будет ведать. И не токмо латынь или твой польский, но германский и французский... Веришь ли сему? – весело спросил дядю Петр. – Дядюшка от души рассмеялся.

– Что? Что? – наседа л племянник, немедленно начиная обижаться.

Лев Кириллович отлично знал неровный нрав любимого племянника и поэтому постарался ответить так, чтобы не дать особенно распусться гневу Петра.

– Воля твоя, Государь, воля царская... Она много чего может. А только хватит ли проку с того, что наследник твой станет по-французски лучше, чем по-русски говорить, а дру-

гие –на него как на чудо заморское глазеть?

– Других тоже выучим... Дел немало предстоит. Я... Да я жизнь свою до последнего денька положу, не пожалею, а... государство Наше возвышу! Перестанут нас с татарами-то путать! Будут еще и нимало заискивать пред нами!..

Петр вдруг остановился, как на бегу, и подозрительно взглянул на улыбающегося Льва Кирилловича.

– Да ты, что, не веришь что ли мне? Улыбаешься, вон... Как же ты станешь в Посольском-то приказе государское дело вершить, коли Государю своему не веришь?

Лев Кириллович поспешил тотчас согнать улыбку с лица.

– Верю, верю. Верю, что жизнь свою положишь. Только ведь это дело – неподъемное. Хошь ты и царь. Помощников надобно иметь. И немало. На кого облокотишься? На бояр? Эти скопом за тобою не побегут. Артачиться станут, непокорствовать. Скажут: «Чего это он нас от старины-то прочь тащит? Мы, мол, и сами с усами. Мы, мол, тоже – Рюриковичи, да Гедиминовичи! Не дурее его! Тыщу лет так-то жили и еще тыщу проживем!» А? Что ты на такие слова ответишь? Похоже на правду? Что молчишь?

Петр молчал, только сосредоточенно рассматривал тонкую, в два цвета, вышивку на утиральнике.

12

Однако на следующее утро племянник рано-рано все-таки отъехал из дядиных Филей в Москву. Сказал тому, почти добродушно, садясь в возок.

– Прав ты, Лев Кириллович. Хотя не за что мне любить стрельцов, иначе, съезжу. Не стану сих гусей дразнить. Посмотрю – как и чем это воинство меня славить станет. – Засмеялся сам словам своим и уехал.

Примерно в полдень он и его охрана уже проезжали в Спасские ворота Кремля.

Когда царский поезд очутился на Ивановской площади, узрел Петр в окошко слюдяное две примерно сотни стрельцов, разодетых с наивысшим приличным случаю шиком и стоявших в том строевом порядке, который был только посилен в то время для русских, но которому было еще очень далеко до немецкого.

Как только возок с Петром остановился, стрельцы дружно грянули «ура» во все свои стрелецкие глотки. И вышло это у них до того громко, что немалое число голубей и галок, бывших в то время на жительство в Кремле, с превеликим шумом поднялись в воздух.

«Ура» – кричали выборные от шести стрелецких полков, которые дислоцированы были тогда в Подмосковье. Выборные должны были полною мерою донести до Монарха свидетельства того, как стрельцы нынче любят молодого Государя. Ну, а кто старое помянет...

Когда же Петр вышел из возка и взошел на паперть Успенского Собора, – стрелецкое «ура» достигло такой силы, что казалось, – еще чуть-чуть, и, ошалевшие от человеческого крика, ни в чем не виноватые пернатые кремлевские обита-

тели станут просто падать с высоты замертво.

Из строя вышел, – Петр его узнал, – полусотенный Акинфий Ладогин и приготовился орать стрелецкое приветствие царю, которое было сочинено стрелецкими грамотеями и которое сам оратор предварительно выучил назубок. Акинфию такая честь оказана не случайно. Он был среди тех смельчаков, которые упредили Петра о том, что сестра Софья готовила убийство его. Потому-то царь и знал Акинфию «лично», потому-то он, Акинфий, и стал, хотя и небольшим, но начальником, получил под руку пятьдесят стрельцов, что называется, выдвинулся.

Акинфий был одет очень чисто. Но ни ружья, ни сабли, ни пистолета при нем не было. Он остановился шагах в трех от первой ступеньки соборной паперти, истово поклонился Петру – снявши шапку поясным поклоном, коснувшись, по обычаю, правой рукою земли, затем спрямил стан ровно и сказал, вернее, спросил у Петра:

– Дозволь, Великий Государь, стрелецкое поздравное слово тебе молвить!

13

Петр, как бы ища помощи, оглянулся. И убедился, что сзади и по обе руки уже стоят стражные люди, коим велено неотступно охранять его царскую персону.

Безотчетное тревожное ощущение, которое у него всегда появлялось при виде стрельцов, – и понятно, почему, – прошло. Царь успокоился. И от-ветил приветливо:

– Говори, говори, Акинфий, свое слово!

Акинфий заулыбался. Ему было лестно, что царь его помнит. Он начал говорить, помогая себе руками. Голос его, сочный и сильный, с басинкою, лился легко и свободно.

– Царь и Великий Государь Московский, Петр Алексеевич!

Стрелецкое твоё войско порешило выслать к тебе поздравителями по двадцати пяти выборных от каждого из полков – поздравить тебя, Государь истинно по рождению в семействе твоём от тебя, Государя честною и благоверною супругою твоёю Евдокиею Федоровною первенца-сына, и, навить, наследника стола Великого Московского. Пусть сын твой сей будет здрав и молим Бога Вышнего, чтобы дал Отец Наш Небесный оному сыну твоему жизнь долгую и счастливую, а Тебе, Государь, чтобы дал Он много радости, дабы радовался ты всегда на сына своего гляючи: и коли он первые шаги сделает, и коли первое слово молвит, и коли первые литеры сложит и прочтет, и коли на коня впервой сядет да саблю в руки возьмет. Пусть он, сын твой, почитает тебя, Государя и Отца своего как должно, служит тебе не за страх, а за совесть, и гневить Тебя, Государя, не изволит ни в малом ни в большом пригрешениями своими.

Позволь, Государь, на радостях твоих, а тако же и наших, сей же час палить из ружей. И да ведомо Тебе станет, что огневого припаса у нас от пальбы сей не убудет!

Засим Акинфий снову поклонился Царю в пояс, но шапку

красную надел только отойдя от соборной паперти шагов на десять, а может, и чуть поболее – кто считал?

Когда же Акинфий место свое в строю стрелецких выборных занял, снова наступила тишина. И снова Петром овладело ненавидимое им беспокойство.

На выручку пришел нивесть откуда взявшийся, Патрик, друг любезный. Он и сказал Петру тихонько, но так, что тот услышал:

– Ожидают позволения Вашего Величества стрелять.

– У них разве и ружья заряжены? – не скрывая перед Гордоном своего страха, шепотом спросил Петр.

– Ружья заряжены, Государь. Но Вы не извольте тревожиться. Люди получили приказ палить в небо.

– А пули?

– Пуль в стволах нет. Заряды холостые. И пороху указана малая мера.

– А вдруг кто тайным порядком взял да и загнал пульку. А? Проверяли?

– Ружья проверили с отщанием немалым и не раз. Не беспокойтесь, Ваше Величество. Все идет так, как следует быть.

– Ну, тогда это... Стало быть, позволяю я им палить. А как знак подать?

– Платком махните, Государь мой. Только и всего.

Но платка у Петра не было.

И тогда Патрик Гордон подал царю свой – ослепительно белый, надушенный и накрахмаленный, обшитый тончай-

шим кружевом в далеком Генте.

Петр взял платок и махнул рукой.

14

Тотчас же из стрелецкой шеренги выступили первые десять стрелков с ружьями, изготовились и выстрелили ладно, – т.е. одновременно, залпом.

Как и вообразил себе уже, наверное, читатель, галки и голуби снова поднялись с великим шумом. Но для полноты картины – этого мало. Для полноты картины следует сказать, что с каждым ружейным залпом Ивановская площадь заволакивалась густым дымом с тошнотворным тухлым запахом сгоревшего тогдашнего пороха. Но когда грянул последний, двадцатый залп, и дым, от которого хотелось бежать сломя голову, стал, наконец, расходиться, оказалось, что соборная паперть уже пуста: царь уехал, не дождавшись окончания салюта.

Но стрельбою торжества не закончились. На следующий день наступило 23 февраля – мясопустное воскресенье во Великом Посту. В тот день были назначены крестины младенца-царевича, причем, по поводу того, как назвать царева первенца – споров вовсе не было. Матушка Наталья Кирилловна первая указала, что назвать его надобно Алексеем – в честь деда его, благоверного, благочестивого и благополучного царя и Великого Государя Московского, Алексея Михайловича. И никто не возразил. Никто! Даже, наверное, и Софья Алексеевна из-за прочных стен Новодевичьего мона-

стыря не захотела бы ничего возражать.

15

Петр Первый был вполне верующим православным человеком. Представлять сегодня дело таким образом, что великий наш реформатор был религиозным рационалистом и постепенно склонялся к лютеранству – неверно. Но что верно – так это то, что царь был противником православной чрезмерности. То есть не любил, когда люди демонстрировали свою религиозность или ханжили, как он часто сам говорил.

Но крещение... Крещение это такой обряд, который ханжество в себе не содержал и самой возможности продемонстрировать показную религиозность не давал. Петр отнесся к крещению сына так, как и должен был отнестись к крещению сына верующий отец, т.е. как к большому событию, как к празднику.

Для самой церемонии крещения был определен Чудов монастырь. Крестить царственного младенца должен был сам Патриарх, а восприемницею была определена царевна Татьяна Михайловна, младшая дочь царя Михаила Федоровича.

Церемония крещения! Кто же её не знает!? В Чудовом это таинство случилось, может быть, даже более праздничным и торжественным, чем обыкновенно. Ведь кого крестили-то! И Петр важность текущего момента понимал вполне. Настроение у него было приподнятое, что там говорить! И он чисто-сердечно обрадовался, когда увидел, что прядочка Алексе-

вых волосиков не утонула в купели, а поплыла. Это был добрый знак! А когда он, отец, принял на руки влажное, трепещущее тельце сына, что, надо сказать, было противу правил, то даже умилился настолько, что обронил несколько непрощенных слезинок радости, чему и сам удивился. Однако, и на крещении торжества не закончились.

16

На пятый день после Крещения патриарх Иоаким и другие высокие персоны церкви, самые родовитые бояре и большие чины приказов снова явились, чтобы поздравить царя. И, ясное дело, явились не с пустыми руками. Подарено было многое число святых икон и крестов с мощами, немало кубков для питья из золота и серебра; и соболей были поднесены многие сорока, и разных роскошных материй заморского тканья, из чего можно сделать заключение, что среди дарителей было немало именитых гостей; был и самый именитый и богатый среди всех – Григорий Дмитриевич Строганов.

Тут-то, между прочим, и разразились события, связанные с попыткой приглашения шотландца и католика Патрика Гордона к царскому праздничному столу. Каким-то образом об этой петровой затее некие доброхоты известили патриарха. Тот воспротивился приглашению весьма рьяно. Заявил, что того-де отродясь в его жизни не бывало, что б ему сидеть за одним столом с католиком. Не было, дескать, этого, и не будет!

Петр, скорее всего, все же пригласил бы шотландца, как

и хотел, но вмешалась матушка Наталья Кирилловна. Испугавшись патриаршего неудовольствия, она стала слезно уговаривать сына уступить предстоятелю. Петр озлился, конечно, но матери перечить не посмел.

Зато и сделал так, что добрый католик не обиделся: на следующий день, буквально после главного торжества – повез шотландского своего друга в знакомые читателю уже Фили к дядюшке Льву Кирилловичу, где и были надлежащим образом крестины отпразднованы еще раз.

Но ведь и недругам своим молодой царь отомстил: на главное застолье – брата своего, царя Ивана, не позвал! Впрочем, скорее всего, тот и сам на торжество не вельми рвался – по причинам, о которых уже говорилось.

17

А в Филях – праздник вышел на славу! Главных фигурантов его было немного: всего-то трое. Стол был накрыт на немецкий манер. И даже играли на своих скрипелках музыканты из Кукуйской – (немецкой) слободы.

Петр был очень весел и все пытался танцевать по-немецки. Гордон ему показывал. А потом и вовсе появилась партнерша. Спустя какой-то час. Дочка золотых дел мастера и отчасти книготорговца Иоганна Монса – Анна. Петр ее уже немного знал и откровенно заглядывался на стройненькую голубоглазую и веселенькую девушку. Это Гордон, зная о петровой слабости, распорядился привезти ее к столу – на удовольствие «герру Питеру».

Помимо Анхен Патрик Гордон преподнес Петру и еще подарочек – прямо скажем – необычный: шотландец, католик, он подарил Петру немецкую лютеранскую Библию и сказал при этом улыбаясь, но в высшей степени почтительно:

– Я, как Вам известно, Ваше Величество, католик. И не желал бы делать из Вас лютеранина. Но надеюсь, что Библия эта поможет Вам быстрее научиться столь необходимой Вам скоро германской речи, на которой ныне от Кенигсберга до Рейна говорят очень многие.

18

Минул год.

Младенец Алексей рос, находясь почти все время при матери Евдокии Федоровне. Так тогда было принято. Однако, заметим, что между родителями уже начался процесс, как бы мы сейчас сказали – эррозии чувств. Справедливости ради следует заметить, что процесс этот шел единственно усилиями Петра. Тому имеется проверенный свидетель – известный человек того времени, князь Федор Васильевич Куракин, оставивший преинтересные воспоминания, из которых следует, что «изрядная любовь» Петра к жене продолжалась «разве только год».

Почему?

Кроме тех соблазнов, которые прямо вытекали из общения Петра с иностранцами и иностранками, есть еще причина: Евдокия родилась в 1669, а Петр – в 1672 году. То есть, в год рождения первенца Алексея, матери его был уже два-

дцать один год, а отцу – только восемнадцать. Разница в три года не могла не вызывать у Петра досады.

Но отец тогда полагал, что в том, что сын «при матери» пока вреда нет: Так малышу было «лучшее».

Сама же царица и пока еще жена, хотя и была ума невеликого, но женским своим чутьем главное, конечно, хорошо понимала. И это главное состояло в том, что муж уходил. Разумеется, она не была в силах все для себя прояснить. Но в числе вещей для неё вполне ясных был еще способ, которым она, опираясь на нашептывание своих «ближних» – Лопухиных да Стрешневых, надеялась удержать царя: бросилась рожать, рассчитывая детьми связать мужа, оставить его подле себя. В 1691 и 1692 годах она родила еще двоих сыновей – Александра и Павла, но, во-первых, оба мальчика скоро умерли, а во-вторых, выяснилось, что детьми Петра было уже никак не образумить.

Петр уходил. Уходил совсем в другую жизнь, которая ничего общего не имела с традиционной жизнью московских царей – с долгими церковными службами, утомительными выходами и приемами иностранных послов, а также частыми поездками по монастырям.

Кстати, здесь также не лишне заметить, что свекровь Наталья Кирилловна, хотя и относилась к снохе, в целом, прохладно, пока была жива, все же ревностно стремилась сохранить семью сына в целостности.

В новой своей жизни, куда неотвратимо уходил Петр, он обнаруживал свое внимание к Алексею главным образом тогда, когда этого требовал календарь и не только церковный. К примеру, через год, 19 февраля 1691 года он отпраздновал День рождения наследника Алексея. Не день ангела, а именно День рождения – как это принято в Европе. И заметим, что хотя религиозный момент в том празднике был минимально обозначен – главным образом, стараниями матушки Натальи Кирилловны, – основное его содержание было вполне светским: отец и его гости активнейшим образом угощались вином.

Очевидно, что Петр о сыне не забывал. Но внимание его с точки зрения тогдашнего московского обывателя было явно недостаточным: отец стремился уменьшить масштабность, помпезность празднований.

16 марта 1692 года тезоименитство наследника царевича ограничилось только тем, что оба государя были у обедни в Московском Алексеевском монастыре.

Минул еще год.

19 февраля 1693 года, в день, когда сыну исполнилось три, Петр тоже был у обедни, но только в своей дворцовой церкви. Примечательно и то, что массового угощения вином, такого традиционного для того дня, не было. А вот заморская забава – фейерверк – был. В тот год и тезоименитство наследника торжественным выходом в Алексеевский монастырь царь тоже не отметил. Хотя его ждало там множество наро-

да. Заметим: и здесь отчетливо видно нежелание Петра часто фигурировать в утомительных православных церемониях.

20

Наступил 1694 год – год во многом ставший в жизни Петра переломным. Умерла мать. И сын с этого времени практически совершенно, даже символически, прекращает бывать с женой. Вихрь новой жизни окончательно захватил, увлек, завертел молодого монарха – прочь из теплого терема, от жаркого жениного бока в, покуда еще только потешную военную жизнь; повлек Петра на Плещеево озеро, где он впервые увидел корабельное строение; потянул и на Белое море, и на Соловки, и в Архангельск-город, заразив морем до того прочно, что уже всю жизнь уже с этой морской болезнью не расставался. От полуграмотных записок каракулями, присылавшихся время от времени Евдокиєю, с робкими просьбами «пожаловать» приехать в Москву, где его с нетерпением ждут жена и сын, Петр отмахивался, словно от назойливой мухи: «Баба – она и есть только баба и больше ничего. Что она может понимать в моих делах!» – сердился Петр. И если бы в такой момент кто-нибудь из ближнего окружения, ну, скажем, тот же Лев Кириллович, спросил бы полушутя: «Да любя ли тебе ныне Дуня-то?» – Петр, наверняка, только плечами пожал бы в ответ, ибо точно не нашелся, что сказать словами, чтобы поняли.

Все это, однако, не означало, что Петр домой дорогу забыл совершенно. Приезжал. Приезжал, но всегда неожидан-

но и всегда на очень краткое время. Приедет, торопясь, чуть ли не на ходу, взглянет на сына, погладит по головке, пробурчит что-нибудь вроде: «Не забалуйте мне его»... А на причитание обрадовавшейся и вместе взволнованной жены скажет недовольно: «Ну, опять слезы лить начала... Некогда мне, некогда оставаться, дела надо делать». И прочь, прочь из Москвы, опять к своим потешным да к корабликам своим...

21

Заметим опять-таки: практически порвав с женою, сына царь не забывал. В декабре 1693 года по поручению отца у иноземного купца Бастинса, были, например, приобретены некоторые товары, в том числе и для Алексея Петровича, а именно: «птичка попугай в клетке ценою в три алтына и две деньги», три птички ценою в шесть алтын, а также «гремушечка серебряная и две куклы».

Но вот наступает 1696 год – приходит к царевичу возраст, с которого по традиции начиналось обучение русской грамоте. Когда мы несколько раньше заметили, что царевич первые годы своей жизни рос при матери, то так оно, конечно, и было, хотя только отчасти. До 1694 года, пока жива была бабушка Наталья Кирилловна, ее влияние на внука оставалось немалым. Да и Алексей очень бабушку любил.

Полное засилье матери началось после смерти свекрови. И это очень хорошо было видно на примере того, кто и как обучал царевича русской грамоте.

Первичное обучение царевича Алексея отец поручил Никифору Вяземскому, «человеку простому и не очень образованному» – как писали о нем некоторые иностранцы, жившие тогда в России. Такой взгляд на первого учителя царевича в нашей литературе весьма распространен и, как мы полагаем, ошибочен. Никифор был вовсе не так прост. Во-первых, он все-таки был хотя и дальним, но отпрыском знатнейшего рода князей Вяземских, которые вели свое происхождение от Рюрика. Можно только представить, как чувствовал себя Рюрикович в роли учителя! Самолюбие Никифора Вяземского было ранено и, притом, жестоко. Во-вторых, вследствие более чем недовольства Петром, причем недовольства, которые ни в коем случае нельзя было показывать, Никифор стал полной кратурой царицы Евдокии. Причем, царь Петр об этой роли Вяземского долгое время ничего не знал, а узнал слишком поздно.

Очевидная же заурядность самой личности Никифора Кондратьевича Вяземского говорит нам только об одном, а именно о том, что сам Петр считал обучение сына русской грамоте не столь важным делом в сравнении с образованием по западному образцу; что обучение сына русской грамоте традиционным образом не содержит еще опасности – ни для сына, ни для Петра самого. Царь полагал такое обучение нормой. Ведь и его учил грамоте Никита Зотов давно известным способом – то есть по азбуке и Часослову.

Какими же были результаты обучения наследника престо-

ла?

В середине марта 1696 года, за несколько дней до капитуляции турок в Азове, Петр посылает Н.Вяземскому письмо, в котором требует от учителя отчитаться об учебных успехах сына.

И получает ответ. Ответ позволяющий судить о том, что учебные успехи у царевича были. Он «в немногое время» постиг «совершенство литер и слогов по обычаю азбуки учит Часослов». Можно также с большой вероятностью предположить, что царевич занимался и по «Грамматике» Кариона Истомина – как тогда говаривали – «естеством письмен, ударением гласа и препинанием словес».

22

Отчуждение Петра от жены имело конкретную причину, а у причины имелись и имя и фамилия: Анна Монс. Связь эта началась, по всей видимости, после 1691 года и продолжалась до 1704-го. И по мере упрочения этой связи росло стремление Петра реально удалить Евдокию из своей жизни – способом, очень известным в те времена: склонивши её к добровольному пострижению в монахини. Фарисейства в этой затее Петра было более чем достаточно. Потому что Евдокия ни в какую не хотела соглашаться на пострижение, и одновременно не давала никакого повода в чем-либо себя заподозрить или уличить. Оставался только один способ – уговоры.

Уговаривать Евдокию Петр начал по всей вероятности по-

сле смерти матери, в 1694 году. Петр разговаривал на эту тему с женой многожды и подолгу. Но во время Великого Посольства в Англии стремление заставить Евдокию уйти в монастырь стало очень чем-то похожим на идею-фикс. Из Лондона он приказывал давить на Евдокию и Л.К. Нарышкину и Т.Н. Стрешневу, и другим. Но все напрасно. Евдокия не поддавалась. После возвращения в Москву за дело снова взялся Петр сам. И был более успешен.

Одним из последних, или правильнее сказать, возможно последних таких разговоров супругов имел место в августе 1698 года. Потерявший терпение Петр прекратил уговаривать.

23

Царь прискакал тогда в Москву из Преображенского верхом в сопровождении только одного стражника-кроата. Бросив тому повод у дворцового крыльца, царь бегом кинулся по комнатам, дабы не дать жене времени запереться и скажаться больной, что уже не один раз бывало.

Ему повезло. Как снег на голову он явился в светелке, где сенная девушка спокойно причесывала царицу. Завидев царя, девушка с испуганным криком кинулась из комнаты прочь. Евдокия вслед за нею побежать не смогла. Пораженная страхом, она не нашла сил даже встать на ноги.

Это-то Петру и нужно было.

– Ну, здравствуй Евдокия! – громко сказал царь, очень довольный тем, что той никуда не скрыться, и разговор, к

которому он был готов явно лучше жены – состоится.

– Чего молчишь? Или я тебе уже не люб? Так ты скажи!

– Люб. – едва слышно прошептала жена в ответ.

– Что же так тихо отвечаешь? Голос что ли пропал?

– Не пропал...

– А чего же?

– Боюсь я...

– Чего же боишься? Скажи!

– Тебя, Государя, мужа своего боюсь...

– Что же так? – веселился Петр. – Али я страшен больно?

– Боюсь, что опять сомлею со страху... Ведь ты, Государь мой, снову уговаривать явился... больше я не на что тебе и не потребна стала...

– Ну и что же ты надумала? Ведь я тебе в прошлый раз месяц еще сроку дал. Надумала чего?

– Надумала...

– Ну! – И Петр, сидя напротив жены, даже явно вперед подался – от нетерпения.

– Не хочу я...

– Не хо-о-чешь? – протянул Петр, – А ведь это я, я тебе велю, Государь и Господин твой. А ты должна волю мою государскую, как есть, исполнить. Поняла?

– Поняла...

– Ну, а коли поняла, то и слава Богу. – обрадовался Петр.

– Поняла, а не хочу...

– Уф! Опять двадцать пять... А чего ж ты поняла?

– Что ты мне указуешь...

– А что указую?

– Постричься...

– Ну и постригись!..

– С чего это? Я – честно живу. И полюбовников у меня нету. И не будет... И люб ты мне...

– Ой, ли? А хоть и так. А ты – все одно постригись. Я ведь Господин твой. Говорится же в Священном писании – «жена да убоится мужа своего». Коли я приказываю – чужие люди по слову моему в огонь и в воду идут. А ты – жена моя, а волю мою исполнить не хочешь ...

– Не хочу... С какой такой стати мне себя заживо хоронить-то? Я хочу дитя наше рбстить, Алешеньку...

– Так-то? – Петр очевидно терял последнее терпение. – Так-то?!

Евдокия ясно видела, как глаза Петра зажглись желтым гневным огнем. Она трусила отчаянно. Плеть конская была у царя в руках. И все же ответила, как хотела:

– Так...

– Это – твое последнее слово? – Голос Петра уже звенел зловещими струнами.

– Последнее...

Тогда Петр встал, набрал воздуха и вдруг зашипел то, о чем думал, готовясь к этому разговору. Как бы мы сейчас сказали – озвучил домашнюю заготовку. – Так вот, что я тебе, Дунюшка, на это скажу. Коли ты не пострижешься, я всею

твою родню лопухинскую, – по миру пущу! Поняла, нет?

– Как это?

– А так это: коли мне донесут тайным делом, что родня твоя – все как один – предались султану, что ты тогда скажешь?

– Правда, что ли? – в замешательстве спросила Евдокия.

– Правда.

– Уж ли сделаешь сие?

– Сделаю и не дрогну!

– Так ведь грех...

– А не исполнять царскую и мужнину волю – разве не грех?

– Напраслина всё.

– Как знать, как знать... Может, и не напраслина. А буде и напраслина, дак у меня люди такие имеются, что любую напраслину истиной представят. Знаешь ли сие?

– Ох, знаю...

Евдокия замолчала. Долго молчала. В продолжении этого молчания жены Петр сначала тоже сидел спокойно. Но когда молчание стало явно затягиваться, он встревожился: подошел к ней, спросил почти участливо: «Что с тобой?»

– Ничего. Со мною – ничего. Только и всего, что опять ты напужал меня до смерти. Боюсь я за своих. Ведь на тебя управы по всей земле нету... Сказал – по миру пустишь – и ведь пустишь... Ведь пустишь?

– Как есть пущу... А кого-то и в тюрьму. Детишек – по

дальним монастырям разошлю. А землю и мужичков – на себя описать велю... Ну!

– То-то и оно... Выходит, спасения родни ради – не миновать мне идти в монастырь. Злодей ты...

– Ну, вот, хоть и так. Хорошо, уже, что согласилась ты. Помни, что скажу: уйдешь в монастырь, пострижешься по доброй воле – никого из твоих не трону. Волос не упадет. Будут себе жить как и жили. Вот. Ну, а коли забудешь это слово свое, заартачишься снова – пеняй на себя... Уразумела?

– Уразумела. Это-то я уразумела. Другого уразуметь не могу. Кого ради ты меня в монастырь гонишь? Ради какой-то немки бесстыжей!

– Молчать! – яростно рыкнул Петр. – Это – мое дело! Мое только, а не твое!

– И сына своо кровного, наследника престола, – от живой-то матери силком отымаешь... И это грех... А...А Бога, нашего Отца небесного, ты не боишься?

Петр от души рассмеялся. Он, когда надо было, умел быстро взять себя в руки:

– До Бога высоко...

– А до царя? – сделала попытку съязвить Евдокия.

Петр иронию понял, но продолжал от души веселиться. Дело было сделано...

– А зачем далеко ходить? Царь-то – вот он! Гляди! – и провел рукой по груди своей ласково. – Продолжил спокойно:

– Ты сама сказала, что на меня во всей земле управы не сыскать. Попала! Но нос кверху не дери. Не блаженная... Покуда обыкновенная... Да и рожать уже не сможешь мне. Эвон, сыночки-то мои младшенькие младенцами крошечными померли. А мне – здоровые детки нужны. Так-то-сь! – С этими словами Петр встал и вышел вон.

24

Самый а к т пострижение Евдокии произошел в Суздальском покровском монастыре в сентябре 1698 года. И этот факт Петр особенно прочно в тайне не хранил. Невозможно было утаить. Молва была сильнее и во всем винила Петра. Пострижение еще больше добавило энергии критикам царя «снизу». Говорили: «Что это за царь? Жену в монастырь упек насильно, а сам с немкой живет... Тьфу!».

25

Почти сразу после пострижения матери произошло и заметное изменение в положении наследника царевича Алексея Петровича. Он был отдан под опеку тетке Наталье Алексеевне и помещен на жительство в село Преображенское. В тот год царевне Наталье исполнилось только двадцать пять лет. К роли воспитательницы восьмилетнего племянника она вряд ли была пригодна. Скорее, она годилась на роль подружки, старшей сестрицы. Эту-то роль она, в общем, и играла, поскольку в большинстве поездок ребенка-царевича его фактически сопровождала в качестве очень похожего на компаньонку, с тем, чтобы мальчику не было в дороге скуч-

но. Такую поездку племянник и тетушка в марте 1700 года совершили, например, в Воронеж, где 27 апреля присутствовали на торжествах по поводу спуска на воду знаменитого корабля «Гото Предисцинация».

26

Реальный процесс обучения грамоте Алексея Петровича и его фактического воспитания держали в своих руках совсем другие люди: Вяземские – Никифор, Сергей, Лев, Петр и Андрей, и Нарышкины – Василий и Михаил Григорьевичи и Алексей и Иван Ивановичи.

В этом своеобразном кружке не могли остаться без места и лица духовные, из которых ближе всего к Алексею стояли: Верхоспасский протопоп Яков Игнатьев, ключарь Благовещенского Собора Алексей, а также священник Леонтий Мельников, который считался официальным духовником царевича.

Все эти люди вкуче исполняли некое двуединое дело. С одной стороны – поддерживали в ребенке добрую память о матери, которая, конечно, страдает невинно, а с другой стороны, – исподволь настраивали Алексея против отца.

То была тонкая, даже, если угодно, филигранная работа, растянувшаяся на долгие годы, и настолько конспиративная, что весь её масштаб и цели открылись Петру только в начале 1718 года. Хотя, правду сказать, говорить об организованной и мощной оппозиции Петру – и тогда, да и позже – не приходится. Уж больно страшен и безжалостен был Петр в

своих отместных действиях! Подумать только: ведь сам головы рубил!

Поэтому, оппозиция хотя и была, но твердой и определенной цели, авторитетных и эффективных руководителей и достаточных денег на нужные дела – не имела. Больше надеялись на случай; больше ограничивались разговорами на тему: «Что будет, если...»

27

Когда уже Великое Посольство готово было пуститься в дорогу, то есть в конце февраля или в самом начале марта 1697 года, в своем доме на Шаболовке полный стрелецкий полковник, думный дворянин и, добавим еще, давно обрусевший немец, и тайный горячий сторонник Милославских и Софьи Иван Елисеевич Циклер, будучи в предельно плохом настроении, принимал в гостях пятисотенного Стременного стрелецкого полка Лариона Елизарьева.

Плохое настроение Ивана Циклера объяснялось очень просто. Еще в ноябре прошлого года он получил царский приказ отправиться на строительство города Таганрога и далее остаться там со всем полком в качестве части гарнизона.

Иван Циклер был в отчаянии. Ему не хотелось уезжать из Москвы, но он хорошо понимал, что пересилить царя, который стремился освободить Москву от ненавистных стрельцов, отправить их подальше от столицы, невозможно, сколь ни оттягивай всеми правдами и неправдами исполнение приказа. Уезжать – не миновать.

Полковник вопрошал Елизарьева с надеждою:

– Ныне Великий Государь едет в иные земли... А ну, как с ним что случится – кто тогда Государем будет?

Ларион Елизарьев на тот вопрос отвечивал так, что не подкопаешься: «У нас есть Государь царевич...».

Тогда Иван снова сказал:

– В то время – кого Бог изберет, а тщится и Государыня в Девичьем монастыре...

По всему видно, что хозяин гостю вполне доверял. И, надо сказать, напрасно доверял. Потому что Ларион после этого разговора сделал донос куда следует и завертелось «дело Цыклера». По делу обезглавили вместе с Цыклером шестерых, но вот что интересно: в ходе розыска выяснилось, что полковник на свою голову разговаривал еще и с Алексеем Прокофьевичем Соковниным, известным боярином и упорным раскольником. И в том разговоре уже обсуждалась не надежда на случай, а действия, если Государь будет убит.

На вопрос Цыклера: если удастся убить Государя, – кто «будет на царстве»? – Соковнин ответил:

– Чаю, они возьмут по прежнему царевну, а царевна возьмет царевича, и как она выйдет, она возьмет князя Василия Васильевича Голицына и князь Василий по-прежнему станет орать».

В этой тираде для автора, пожалуй, все ясно, кроме одного слова. Что значит «орать»? Думается, что, по крайней мере, в данном случае – отнюдь не «кричать». Есть и еще у этого

слова смысл – «пахать». В понимании Соковнина, видимо, «работать», «трудиться».

28

Итак, главной фигурой во всех этих надеждах на случай оставалась опальная царица Софья Алексеевна. Вырисовывается и основная идея: если Петр будет убит, то власть берет Софья, на престол садят номинальную фигуру – царевича Алексея, а регентша назначает первым министром Государства своего доверенного В.В.Голицына, которому когда-то сама определила должность и титул: «Царственных Больших Печатей и государственных великих посольских дел оберегателя».

А теперь – давайте-ка поразмыслим.

Вопрос такой. Могли ли противники Петра думать над тем, как взять власть в свои руки в то время, когда царь находился за рубежом? Думается, что да. А если да, то тогда еще один вопрос: «Почему они не попытались сделать это дома?».

А почему не пытались... Пытались... Расчет был, например, на толпу, которая могла задавить царя, или на пожар... В Москве Петр любил бывать на пожарах, распоряжаться людьми. Предполагалось, что в это-то время и мог явиться случай в толчее, в толпе, либо выстрелить в царя, либо попытаться заколоть его ножом. И пожары были, и толчея на них была... Случая не было. Потому что князь-папа – Федор Юрьевич Ромодановский шанса не дал.

Вопрос третий. А готовилось ли реально убийство царя за рубежом?

Отрицать саму возможность подготовки такого покушения мы не можем. Почему? Потому что убийство царя за рубежом решало бы проблему даже лучше, чем аналогичное действие внутри страны. И, прежде всего, потому, что немедленный розыск там нельзя было провести с той свирепостью и в тех масштабах, которые обычно приносили успех дома. Это не могли не понимать враги Петра. Но для этого они должны были найти и подготовить убийцу, а также создать ему группу прикрытия. Думается, что даже после того, как нашли бы исполнителя и создали группу, далее все равно возникли трудности, которые очень нелегко было преодолеть. Потому что нужно было внедрить этих людей в состав Великого Посольства, а это была задача в высшей степени сложная, если вообще решаемая.

29

Дело в том, что состав Посольства, скорее всего, комплектовался только из твердых сторонников Петра. Каждая кандидатура смотрелась индивидуально, и при малейших сомнениях – отводилась. Ибо, как следует предположить с большой степенью вероятности, в Петровском окружении вполне могли допускать, что противники царя будут пытаться внедрить своих людей, способных на черное дело.

Конечно, все это не более, чем гипотеза. Если бы попытка убийства Петра в то время действительно была, то в процес-

се розыска, после возвращения царя из-за рубежа, она, эта попытка, конечно же, была бы розыскана и исследователи об этом бы знали. Стало быть, таких людей в составе Великого Посольства не было, и они специально не готовились. Так что ли?

Не будем торопиться. Потому что один человек все-таки был. Это Александр Васильевич Кикин – один из знаменитой группы волонтеров. Во всем «деле царевича Алексея» он стал одним из главных вдохновителей и организаторов, если не самым главным. Но это – позже. И если бы ему кто-либо по пути в Европу вдруг взял бы, да намекнул только хотя бы, что он, Кикин, будет в 1718 году колесован за попытку спрятать в Австрии царевича Алексея Петровича, он посчитал бы такого провидца провокатором и потащил бы его к бомбардиру Петру Михайлову – разбираться.

Но ведь этого тогда еще никто не мог знать. И потому мы можем определенно сказать, что лихих людей в составе Посольства действительно не было. Прежде всего потому, что почти все из тех, которые противостояли Петру в верхах, были очень трусливы и особенно боялись розыска.

30

Но ведь читателя, даже и в связи со всеми нашими допущениями, должен интересовать в первую голову Алексей Петрович... Действительно, а в какой мере, в каком качестве его рассчитывали реально использовать? Или еще точнее: «Можно ли, исходя из ситуации в России, сложившейся

в конце девяностых годов XVII века допустить положительные, с точки зрения противников Петра, возможности подготовки царевича?

Можно. Есть факты. Стрельцы ведь уже в 1698 году были уверены – «Царевич немцев не любит». Вот так. Отец, стало быть, любит, а сын – не любит...

31

Итак, не реализовав во время отсутствия Петра идею государственного переворота в пользу Софьи и не получив шанса убить царя за границей, эти люди не имели ничего другого из возможностей, как постепенно формировать ставку на царского сына; ставку не определенную еще ясно, трусливую и потому – тщательно скрываемую. Но что еще характерно: сам царевич в свои восемь-девять лет не понимавший ничего или почти ничего в той игре, которая начиналась вокруг него и по поводу него, на авторский взгляд, ну просто органически этой игре соответствовал? Почему?

Во-первых, потому, что всегда и очень боялся отца. Почему? Потому что не был в силах, и притом постоянно, соответствовать высоким отцовским требованиям.

Во-вторых, потому, что только в своем круге его жалели, ему сочувствовали и часто напоминали о матери. Одной из таких ближних фигур вокруг Алексея обретавшихся и которые прямо или косвенно эту миссию исполняли, был Яков Игнатьев. Прежде, чем попасть в число ближних царевича, он двадцать лет прослужил в Москве – сначала дьячком,

потом священником в Верхоспасском дворцовом Соборе в Кремле. Он возымел на Алексея такое большое влияние, что последний ему писал в 1700 году: «Не имею во всем Российском Государстве такого друга и скорби о разлучении, кроме вас, Бог свидетель»...

И, в-третьих. Царевич уж очень приохотился ханжить. Читатель уже знает, что это слово означало в словаре Петра. Хотя, смею сказать, для самого Алексея увлечение церковью не было показным излишеством.

32

Как эти очевидности в поведении сына своего воспринимал отец?

О робости царевичевой царь знал. И это ему, конечно же, не нравилось. Но он, скорее всего, считал это поправимым. Со временем.

О ханжестве Алексея отец тоже знал, и это его настораживало, потому что, как он, вероятно, полагал – не сулило ничего хорошего. Но он, скорее всего, думал, что и эти черты природы сына можно разрушить реальным европейским образованием.

Наверное, в таком отношении отца к личности своего сына были свои резоны. Но Петр тогда, в конце девяностых годов, ничего не знал о целеустремленной психологической обработке Алексея; не знал о том, что из сына уже начали готовить противника, даже более того – врага отцу, и всем, без сомнения, великим отцовским делам и планам.

Часть вторая

повествующая о том, каковы были царевичевы домашние учителя, а также о том, как и какие закладывались самые первые камни в основание сыновней ненависти

1

Решение Петра дать Алексею европейское образование было, разумеется, верным. Потому что новой России нужны были и новые правители, правители нового типа. Для того, чтобы такого правителя сделать из Алексея, его нужно было отправить учиться за границу. Его нужно было вырвать из российской, вернее, старой московской среды, которая и самому Петру в то время уже стойко не нравилась.

Для того же, чтобы отправить Алексей «за море», нужно было раньше найти человека, необходимого для сопровождения и надзора за сыном – образованного, умного и доверенного иноземца. И такого человека Петр нашел. Это был генерал Иосиф Карлович. Он был генерал-майором, посланником Саксонии в Москве и доверенным лицом Августа II Сильного – саксонского курфюрста и по совместительству – польского короля.

С Карловичем Петр решил вопрос и куда поедет Алексей постигать иноземную науку: он поедет в Дрезден. Выбор, конечно, не случаен. Дрезден ведь столица Саксонии – союзницы России в войне против Швеции. Но с началом войны

грянуло несчастье: при штурме саксонскими войсками Риги в марте 1700 года генерал Карлович погиб. Но ведь самый процесс освоения Алексеем иноземной науки откладывать никак было нельзя. Требовалось сыскивать учителей и иноземцев в российских, домашних условиях. Стали сыскивать. И сыскали – некоего Мартина Нойгебауэра; причем, некоторые считают, что сей Нойгебауэр был рекомендован Петру.... Карловичем.

Мартин был личность своеобразная и о нем надо бы поведать подробнее, подключив, там, где необходимо, для полноты картины авторский вымысел.

Лет этому немцу было тогда, может быть, несколько больше тридцати. Он был заметно выше среднего роста, сутулый и костлявый, с большой шишкастой головой и длинными руками, которыми он был постоянно занят, ибо не знал, куда их деть. Ничего красивого в его лице не было: желтоватые волосы, большие водянистые глаза, которые только с некоторою натяжкой следовало бы признать голубыми, и голос – глухой и бесцветный. В общем, типичный померанский немец.

По-русски Нойгебауэр разговаривал совсем даже неплохо: медленно, конечно, но слов наших немало знал. Правда, он, как все немцы из германских земель сильно оглушал звонкие согласные. У него выходило карашо, вместо «хорошо» или терево вместо «дерево». Но все это были, согласитесь, несущественные мелочи. Для нас важнее вопрос о том, что собою представляло его образование, был ли он обра-

зованным человеком? Вряд ли на это вопрос можно ответить удовлетворительно. Потому что – хотя он и называл себя «философом, историком и латинистом», но бумаг его – дипломов и патентов – никто не видел, поэтому, скорее всего, было так: он, по всей вероятности, все же учился в каком-то немецком университете, но курса не кончил. А поскольку он нигде, кроме как у русских не мог пускать пыль в глаза своею ученостью, то к нам и приехал.

2

Получивши себе в подопечные наследника русского престола, он – и без того человек спесивый, голову задрал кверху – не достать!

Более того. В подтверждение своей высокой педагогической квалификации он немедленно разругался со всеми русскими наставниками Алексея Петровича. Что там говорить!.. Основание для недовольства у Нойгебауэра в отношении обучения мальчика были. Ведь даже в его недоучившейся немецкой голове сложился бесспорный вывод: в обучении Алексея уже упущено немало времени. Ссоры между педагогами начались с лета 1702 года.

Немца особенно возмутило то обстоятельство, что бывший главным надзирателем за обучением Алексея «Данилыч» – Меншиков, тогда еще и сам, считай, не умел толком ни читать, ни писать.

Опасаясь открыто критиковать Меншикова, Нойгебауэр сосредоточился на других учителях. Он жаловался: «Они

меня царскому величеству оклеветали, будто я по две недели сидя, пью и весьма к царевичу не хожу». И злился: «Собаки, собаки! Я вам сделаю, как Бог мой жив, так я вам отомщу!».

Критика должна помогать делу. Так думал немец, но немец не знал, что критиковать Меншикова, даже и косвенно, нельзя было не в коем случае.

Граф Меншиков, задетый за живое, в отместку, немедленно распорядился «за многие его (Нойгебауэра – Ю.В.) неистовства» ему «от службы отказать и ехать без отпуска куда хочет». Однако, Нойгебауэр не поторопился собирать пожитки, а еще целых два года из русских пределов ехать не хотел, добиваясь какой-нибудь службы. И даже предлагал свои услуги в качестве... главы российского Посольства в далекий Китай.

Но – не талан! Не получив ничего, он, все-таки был вынужден уехать на Родину. Но на Родине, то есть в Померании с ним произошла разительная перемена. Считая себя русскими несправедливо обиженным, (а надо заметить, что Померания к тому времени была – по крайней мере, частично – оккупирована шведами), он предложил свои услуги оккупантам. И, разумеется, не в качестве философа, историка и латиниста, потому что пускать пыль в глаза шведам по поводу своей образованности – этот номер уже не проходил. Он стал предлагать свои услуги как специалист по России. И преуспел в этом: благодаря некоторому реальному знанию Московии, он стал сначала одним из секретарей Карла XII, а

позже достиг должности канцлера шведской Померании. Но и это – не всё. Мы еще столкнемся с Мартином Нойгебауэром, по крайней мере однажды. Точнее, не с ним самим, а с результатом его литературной деятельности. Но несколько ниже.

3

Нойгебауэра выгнали. Ему на смену довольно скоро был сыскан новый иноземный наставник Алексею – барон Генрих фон Гюйссен, которого имевшие с ним дело русские быстро «переименовали» в более удобного в произношении Гизена. Доктор права Генрих фон Гюйссен выгодно отличался от Нойгебауэра и был, по-видимому, по-настоящему образованным и неглупым человеком. Наверное, и внешний вид его был вполне европейским – парик, камзол, обувь и манеры были вполне и постоянно на высоте.

Но Гюйссен не получил Алексея сразу. Вернее, получил, но обстановки, благоприятной молодому человеку для занятий обеспечить не мог. По причинам, как говорится «от него не зависевшим». Дело в том, что Петр решил взять сына с собою в армию. «В поход», как тогда говаривали. И Гюйсен должен был отправиться с Алексеем.

Здесь, в армии, среди русских военных, Гюйссен сумел вполне расположить к себе Петра; так что отец с бароном был вполне откровенен и проникся к тому доверием, причем настолько, что однажды сказал этому иностранцу: «Самое лучшее, что я мог сделать для себя и для своего госу-

дарства – это воспитать своего наследника. Сам я не могу наблюдать за ним, поручаю его Вам». Фраза эта звучит как правильный перевод, скажем, с немецкого. Не русская это фраза, не из уст Петра. Скорее всего, её содержание предано иностранным свидетелем разговора. Может быть, даже самим Гюйссеном. Произошел этот разговор летом 1764 года, во всяком случае – не позже.

Из тирады Петра вытекают два вывода:

- отец сознавал важность европейского образования сына;
- отец также понимал, что сам он не может заниматься Алексеем в силу занятости, а может быть и в силу недостаточности собственного образования.

Более того.

Вероятно, вследствие уже упоминавшегося расположения, которым воспылал к Гюйссену Петр, последний поручил ему в это время еще два дела, причем, по крайней мере одно – в высшей степени тайное и ответственное: найти для царевича Алексея Петровича невесту.

4

«Не рано ли?» – скорее всего спросит сию минуту читатель. Отвечаем: нет, не рано. Потому что речь идет о династическом браке, а у него есть свои особенности. Любовь и прочие нежности тем, кто находится в династическом браке могут оказаться и ни к чему. На первое место в таком браке выдвигается

Политическая целесообразность.

Петр твердо решил невесту для сына искать не дома, а в Европе.

То есть, занял позицию прямо противоположную той, которую в вопросе о браке в начале своего правления имел Иван Грозный. Тот сказал прямо, что не желает жениться на иностранке, так как опасается отсутствия взаимопонимания с женой. В конце жизни Грозный эту точку зрения изменил. Но для нас крайне важно, что уже начиная с Бориса Годунова, московские государи целеустремленно пытались породниться с августейшими семействами западной Европы.

Достаточно вспомнить хотя бы попытку Михаила Федоровича, деда Петра, отдать дочь Ирину за графа Голштинского Волмера-Вальдемара. Но она и все иные попытки такого рода до поры оставались безуспешными. Казалось, что великие времена Ярослава Мудрого в брачном смысле воротить невозможно.

Но Петр уже не просто совершал очередную попытку, которая была обречена. Он рассчитывал, что у него попытки есть шансы на успех. И, как оказалось, совершенно резонно рассчитывал. Потому что русская земля не была уже той ужасной Московией, которую за рубежами не знали, которую побаивались, и над которой, как только могли, потешались. Русская земля становилась нолвым государством, – с набирающей силу армией, с крепнущим флотом, а с этими факторами иностранцам надобно было уже считаться. Вот почему у устремлений Петра найти сыну невесту на западе

были шансы на успех. Были! Петр это чувствовал и понимал. Иначе не ставил бы эту задачу. Иначе не стал бы Петром Великим и императором.

5

Но отдавая сына иноземцам для учения, генеральную линию, линию воспитания у сына монаршего мировоззрения, отец стремился держать в собственных руках. Доказательством этого мы вполне можем считать яркое

Общее наставление, которое сделал отец сыну сразу же после взятия Нарвы – либо уже в самом городе, либо в русском осадном лагере 9 августа 1704 года. Петр тогда сказал Алексею следующее: «Сын мой! Мы благодарим Бога за одержанную над неприятелем победу. Победы – от Господа, но мы не должны быть нерадивы и все силы должны употреблять, чтобы их приобрести. Для этого я взял тебя в поход, чтобы ты видел, что я не боюсь ни трудов, ни опасностей. Поскольку я, как смертный человек, сегодня или завтра могу умереть, то ты должен убедиться, что мало радости получишь, если не будешь следовать моему примеру.

Ты должен, при твоих летах любить все, что содействует благу и чести Отечества, верных советников и слуг, будут ли они чужие или свои, и не щадить никаких трудов для блага общего. Так как мне невозможно всегда быть с тобою, то я приставил к тебе человека (Гюйссена – Ю.В.), который будет вести тебя ко всему доброму и хорошему. Если ты, как я надеюсь, будешь следовать моему отеческому совету и при-

мешь правилом жизни страх Божий, справедливость и добродетель – над тобой всегда будет благословение Божие, но если мои советы разнесет ветер и ты не захочешь делать то, что я желаю, то не признаю тебя своим сыном и буду молить Бога, что бы он наказал тебя в этой и будущей жизни».

И снова автор обращает внимание на то, что язык этого наставления таков, что принадлежит будто и не Петру. Текст значительно приближен к современному русскому языку, из чего мы можем сделать вывод, что это – запись иностранца и, может быть, самого Гюйсена. Содержание этой речи Петра мы полагаем очень важной; она требует комментария.

6

Во-первых, – вдумаясь – в ней весьма ясно звучит угроза: «...я не признаю тебя наследником» И определяются условия, при которых это может произойти: «...если мои советы разнесет ветер»... и т.д. Но угроза звучит здесь не реалистически, а как бы профилактически. Ибо реальных данных об участии сына в действиях против отца нет, потому что нет самого участия. Наоборот. Реакция Алексея на речь Петра была совершенно адекватной: сын бросился целовать отцу руки и клясться, что будет делать все как говорит отец, во всем следовать и подражать ему. И, думается, что в те минуты сын был совершенно искренен. Тогда, в августе 1704 года царевич чистосердечно хотел стать продолжателем великого отцовского дела.

Но царь Петр – политик реалистический. Он уже избавил-

ся от угрозы – и не одной – заговора против себя. И понимал, что по мере того, как Алексей растет и зреет, растет и зреет вероятность подключения сына к неизбежным будущим заговорам. Он еще не знает, что и как в этом смысле произойдет, и поэтому впрям пугает сына. Так, на всякий случай. Однако напомним: до реальной реанимации ненависти сына к отцу осталось каких-нибудь три года: в 1707 году Алексея тайно повезут в Суздаль и устроят ему свидание с матерью. Не из соображений человеколюбия повезут, а истинно для того, чтобы сильно ослабевшая, даже, возможно, практически исчезнувшая ненависть к отцу вспыхнула в сыне с новой силой; чтобы сделать сына уже реальным противником, даже врагом отца и всех его великих и славных дел.

7

После взятия Нарвы Петр отправил Алексея домой – вместе с Гюйссеном – продолжать обучение.

Для отца стало ясно, что чем более «западным» станет образование сына, тем больше у отца шансов впоследствии заполучить Алексея в союзники.

Гюйссен непосредственно занимался с Алексеем до самого начала 1705 года – когда барон выехал за границу. У нас будет еще далее случай подробно рассказать о том, почему и зачем он покинул пределы России. А пока обратим внимание на то, какого мнения Гюйссен был о знаниях и способностях к учебе своего подопечного.

В письме к царю барон пишет, что царевич шесть раз про-

читал Библию: пять раз по-славянски и один – по-немецки. Если верить Гюйссену, юноша прочел всех греческих отцов церкви и «все духовные и светские книги, которые когда либо были переведены на славянский язык». По-славянски и по-немецки царевич говорил и писал хорошо. Резюме просвещенного наставника: «Царевич разумен, далеко выше возраста своего, тих, кроток и благочестив».

Автору представляется, что в части количества прочитанного Алексеем немало преувеличений. Но оставим их на совести ментора: он явно дает понять, что сделал для обеспечения сих успехов немало. Хотя согласитесь, что можно достичь за полгода, в действительности, как с улыбкой замечает С.М.Соловьев, ограничиваясь «одним преподаванием слегка»?

Иное дело – перспективная программа обучения, составленная Гюйссеном. Составитель отлично знал, какие знания нужны будущему монарху. Согласно этой программе, царевич должен был владеть французским и немецким языками, основательно изучить географию и математику. Далее, кроме «слога» – то есть ораторских навыков и умения ясно излагать свои мысли на письме, программа предусматривала «изучение предметов о всех политических делах в свете и об истинной пользе государств Европы, в особенности, пограничных».

Мы уже упоминали о том, что с этого времени, т.е. 1704 года контакт наставника и ученика на время был потерян.

Потому что барон Генрих Гюйссен выехал по государевой воле за границу.

8

За рубежом Гюйссен свершил два важных дела. О поисках невесты для царевича речь пойдет несколько далее. А сначала – вот о чём. Читатель, верно, помнит померанца Нойгебауэра?

Так вот.

Ставши одним из секретарей шведского короля, тот, скорее всего, по поручению Карла XII (впрочем, не исключается инициатива самого Нойгебауэра), написал и выпустил в свет печатное сочинение об удивлении и порицании достойных чертах русской жизни, коим Нойгебауэр был свидетелем, когда жил в России.

Брошюра Нойгебауэра увидела свет в 1704 году. Называлась она так: «Письмо знатного немецкого офицера к тайному советнику одного высокого владетеля о дурном обращении с иностранными офицерами, которых москвитяне привлекают к себе на службу». Pamфлет был с избытком нагружен русофобией.

В 1706 году, по поручению или с согласия царя, Гюйссен напечатал контрпамфлет, который тоже весьма длинно назывался: «Пространное обличение преступного и клеветами наполненного пасквиля, который за несколько времени перед сим был издан в свет под титулом «Искреннее письмо знатного немецкого офицера»...

Гюйссен именует автора этого письма архишельмой, а уверения последнего, что в России дурно обходятся с иностранными специалистами опровергает тем, что если бы такое дурное обращение было, то о нём Европа узнала бы не из пасквиля, а из газет и публичных актов и «государя отплатили бы за оскорбление своих представителей». Таким образом, Гюйссен опровергает факт за фактом и даже утверждение Нойгебауэра о дурном отношении к царевичу Алексею со стороны Меншикова. Барон пишет уверенно: «С царевичем Алексеем Меншиков и министры обходятся чрезвычайно почтительно, но сам царь приказывает, чтоб сына его в молодости не баловали чрезвычайным ласкательством». Это – по всей видимости, чистая правда и вполне в духе Петра.

Подобные открытия России иностранцами, предназначенные для тех, кто никогда в Московии не был и не будет, в Европе случались. Достаточно вспомнить памфлет Григория Катошихина о временах Ивана Грозного, в котором тоже было, мягко говоря... не всё верно.

9

Слухи о том, что Петр хочет отправить сына учиться за границу, вышли в Европу и немедленно стали обсуждаться ещё в самом начале XVIII века, когда Пётр думал сделать это еще под надзором Карловича. И толки об этом были различные.

Иерусалимский патриарх Досифей в 1702 году писал Петру: «Еще доносили и сие, что пришли сюды (то есть в Иеру-

салим – Ю.В.) письма из Вены и пишут, что пошлет Ваше Царствие сына своего Алексея Петровича туды обыкновения ради и учения; внемли не высылать из Москвы сына вашего, да не пойдет в чужие места и научится не обыкновению, но иностранным нравам». Церковь явно чувствовала угрозу.

Что касается Австрии, то она действительно, еще в 1702 году хотела бы заполучить царского сына к себе. Князь Петр Голицын писал царю в феврале 1702 года из Вены: «Граф Кауниц говорил мне, чтобы вы сына своего прислали в Вену для науки, и что до цесаря дошел слух, что вы обещали послать королевича к королю Прусскому и в другие места, что очень огорчило цесаря. И Кауниц также сказал, что если бы царевичу понравилась какая-нибудь эрцгерцогиня, то цесарь с радостью выдал бы её за него, только была б ваша воля».

Воистину, другой стала Московия!

10

Теперь уже и европейские монархи намекают, что и сами не прочь породниться с царем московским. О богатствах московских сокровищниц на Западе ходят легенды. Однако, на практике Гюйссену решить проблему царевича было нелегко. Немалое время он зондировал почву то там, то здесь – и безрезультатно. Пока ему реально не помог датский дипломат барон Урбих. Датский король Фридрих, незадачливый союзник России в войне против Швеции, стремясь показать свою, потаенную от Карла приязнь к Петру, распорядился помочь в поисках невесты для царевича. Вариант на-

шли. И вариант, который находился довольно близко. Кандидаткой в невесты стала старшая из двух герцогинь Брауншвейг-Люнебургских, кронпринцесса Брауншвейгшвейская и герцогиня Вольфенбюттельская София Шарлотта. В 1706 году ей было только 13 лет и жила она воспитанницей при дворе жены саксонского курфюрста Августа II Сильного, тоже, как известно, союзника Петра и тоже – незадачливого.

Предварительный брачный договор о браке был подписан 27 января 1707 года.

11

Здесь имеет смысл сделать небольшое отступление – дабы попытаться ответить на вопрос о том, стала уже или еще не стала проявляться двойственность в поведении царевича, который должен был сторонникам старины симпатии показывать и отцовские поручения со тщанием исполнять. По крайней мере, в 1707 году и даже попозже это у него получалось в целом неплохо.

Но в народе появляются стойкие слухи о том, что царевич с отцом своим «не за одно». Говорили: «Царевич на Москве гуляет с донскими казаками и как увидит которого боярина, и мигнет казакам, и казаки, ухватя того боярина за руки и за ноги, бросят в ров. У нас государя нет; это не государь, что ныне владеет, да и царевич говорит, что мне не батюшка и не царь».

Что это? Это не что иное, как народные слухи, в которых всегда звучала не только, и даже не столько реальность,

сколько желаемое, которое выдавалось за действительное. Хотя, может быть, и неполная выдумка. Наверняка от реальности что-то было.

Сам же Петр в это время относился к сыну очень хорошо. Когда в начале 1707 года царевич заболел, Петр писал А.Д.Меншикову: «Я бы вчера в Ахтырку поехал, но остался для болезни сына моего, которому сегодня мало лучшее».

В то время и сын тоже был добросовестен по отношению к отцу, и, по крайней мере, открыто – со рвением исполнял возложенные на него отцом функции соправителя. Когда в Москве было получено сообщение «о неслыханной виктории» под Полтавой, царевич Алексей Петрович «созвал к себе на банкет всех иностранных и русских министров и знатных офицеров и трактировал их великолепно в Преображенском в апартаментах своих и в шатрах».

12

Хотя брачный договор, о котором шла речь выше, был делом тайным, московские ненавистники Петра узнали о нем практически сразу. Скорее всего потому, что среди близких к Петру людей у них имелся осведомитель, быть может, даже не один. Кто? Сию минуту у автора есть только одно предположение – Долгорукие. Один из них Василий Владимирович был сторонником царевича и его окружения; а получить сведения о договоре он мог от Василия Лукича Долгорукого. Они были в разных политических лагерях, но родственных отношений не рвали.

Получивши сведения о сделке, оппозиционеры совершенно ясно поняли, что женитьба уведет сына к отцу навсегда. И контрмера была сыскана. Решено было свозить Алексея к матери, в Суздальский Покровский монастырь, полагая, что этой акцией удастся обновить любовь Алексея к матери и ожесточить сына по отношению к отцу. Тем более, еще раз повторяем, что для противников Петра тогда было совершенно очевидно: если не удастся ожесточить сына по отношению к отцу, то все надежды и расчеты на возрождение в России любезнейшей старины придется окончательно и бесповоротно похоронить.

И потому – прежде всего – Суздаль!

Наступил Сочельник 1707 года – или, говоря по-русски – Святки. Дни эти у православных по традиции – время веселое, праздничное. Съедалось и выпивалось на Святки помногу.

13

Вечер. Тихо и покойно в комнатах царевича. Хотя, полной темноты все же нет – из-за киота со многими иконами у него в спальне: перед каждой лампадочка светится красноватым своим огоньком. Только-только отстоял Алексей в ночной своей рубашечке, вышитой тетушкой Софьей давным-давно – перед киотом, отстоял добросовестно, прочитавши – четко, вслух, не торопясь, все положенные православному вечерние молитвы.

И вдруг – стук в дверь! Боже ты мой! Только что подошел

Алексей ко кровати своей чистенькой, как снова надобно идти и отворять. А ведь он уже и на засов дверь закрыл.

Вообще-то – открывать да закрывать двери дело сенного паренька – ночного, особого. Но нынче царевич в спальне один. Ведь Святки! Вот сенной паренек, и, как Алексею известно, из дальних Нарышкиных (родственник, значит) отпросился в семью. Объяснил, что у них нынче молодежь гадать будет. Ну и пусть себе позабавится. Алексей не маленький. Ничего с сыном царевым не станется. Во дворце в Преображенском всегда полно стражи. Прибегут, если что... Тем более, что стук-то был свой – три скорых и два в растяжечку. Стало быть, без опаски можно отворять. Он и отворил. Ах, батюшки-светы, радость-то, какая! Отец Яков пришел-пожаловал. Три целых денька где-то пропадал, и вот, наконец, объявился!

– Где пропадал?

– Болел я, болел, сударь мой Алексей Петрович... Не хотел тебе праздники портить своею болезнью... Зато теперь – попразднуем! Святки – время веселое! Хочешь, съездим на охоту. А? Зайчишек погоняем... А хочешь – в Троицу... Там нас с тобою всякий день ждут... Архимандрит, вон, письмо вчера прислал, спрашивает, пошто, мол, не едешь... Хочешь?

– Хочу! отвечает Алешенька. – Он живо представляет уже себе, как резвые кони скоро несут его по зимней дороге и как летит плотную тучей снежная пыль за санями; как лихо

гикают и свистят, подгоняя лошадей, ямщики.

– Хочу. – повторяет Алексей.

– А как прикатим в Троицу сведут тебя, милостивого, в вифлиофику и дадут честь Пятикнижие Моисеева на пергаменте писанное во времена Великого князя Дмитрия Ивановича... Хочешь?

– Хочу. А когда?

– Скоро...отвечает отец Яков, старательно показывая Алексею помрачение лица своего. – Вот только у смотрителей наших позволения получим – и в путь отправимся...

– А каких-таких смотрителей спрашивать? – почти шепчет Алексей, а сам-то ведь знает, знает о каких смотрительных речь идет. Но он также знает и для чего надобно тихо и тревожно спрашивать. Надобно почаще вызывать умиление у тех, кто его, Алексея, жалеет. Надо показывать наивность, показывать себя не дорослым, а отроком малым еще... Вот и отец Яков ловится в сети Алексеевы намертво:

– Каких? – тихо переспрашивает Яков, и на глаза его наворачиваются слезы:

– А таких, которые смотрят во все глаза, боятся как бы ты без их воли куда не уехал, и без ведома их кого не увидал...

– А кого?

– Ну мало ли... А все одно смотрят. Вовсю мочь поди-ко зенки-то дерут. Будто ты и не наследник трона отцовского, а затбчник опасный какой...

– А ну, как не получим позволения? – спрашивает Алек-

сей с рассчитанным страхом в голосе. Тогда что?

– Получим-получим, не изволь беспокоиться...

– А когда?

– А сего дня и получим. А завтра с утрачка, с Божьей-то помощью и в путь двинем, не замедлим нисколечки...

14

Все случилось так, как и обещал отец Яков. Позволение на поездку получили. А почему? Скорей всего, потому, что и в Преображенском, в самой прочной Петровской цитадели, у противников царя были нужные люди. И не из последних.

К поездке надо было вставать затемно. А Алексею этого очень не хотелось. Любил понежиться в постели, что там говорить... Но и ласковый, и уступчивый, и предобрый обыкновенно, отец Яков был на сей раз весьма тверд. И на хныканья Алексея (а ведь отроку шел семнадцатый год!) – не грубил, не досадовал даже; просто показал, что может быть и настойчивым, даже непреклонным. Потому и смогли выехать еще затемно.

Помчали сначала на Мытищи. А от Мытищ – на Троицу. Ехали чрезвычайно скоро. До того скоро, что Алексей Петрович отметил про себя в Троице, что лошади их были в мыле.

В Лавре остановились на очень короткое время – не более часу. Пока Алексей и отец Яков прикладывались к мощам Преподобного, и малость закусывали, – лошадей переменили. И уж на что из Преображенских-то конюшен царские ло-

шади хороши были, – Алексей ревниво опять-таки про себя определил (а он в лошадях понимал), что монастырские-то лошадки лучше были.

– Куда едем? – весело спросил Алексей. От отца Якова, человека ближайшего, он ни в каком случае подвоха не ожидал. Но отец Яков на вопрос царевича не ответил, а перевел разговор на другое: стал со смехом рассказывать о том, как веселился он в молодости на Святках, как старший брат напоил его однажды брагой допьяна и что потом было.

А лошадей-то почти гнали вскачь, а как они начинали уставать, в нужном месте ждала подстава со свежими. И меняли скоро, не мешкали.

Тут только до царевича самого дошло, что поездка готовилась задолго и тщательно, и что, скорее всего, и болезнь свою Яков придумал, а занимался этим Алексеевым путешествием

Досужий царевич выждал еще некоторое время и снова спросил, постаравшись, чтобы тревога в его вопросе не прозвучала:

– Куда же мы едем?

Отец Яков ответил, но ответил не сразу:

– В Александровскую слободу

Алексей в свои годы уже неплохо знал русскую историю. Он знал, что слобода тесно связана с Иваном Грозным. Но они-то зачем туда едут?

И вдруг, он вспомнил. Ведь в слободе, под надзором еще

не так давно жила царица Марфа, тетка самому Алексею и сводная сестра отцу.

Обе тетушки – и Марфа, и Софья очень хотели стрельцов на отца поднять. Известно, чем все это закончилось... Софью отец в Девице запер, а Марфу в слободу сослал. Правда, там же и еще одна их сестрица на кладбище монастырском покоится – Феодора, – кровная, между прочим, ему Алексею. Вспомнил, понял все это Алексей и успокоился. Понял, куда везут: тетушкам на поклон.

Но опять все пошло как-то неясно. В слободе остановились, лошадей сменили, однако на поклон к Марфе и Феодоре не пошли, хотя и назад не повернули. Всю ночь опять лошадей гнали с факелами и даже в темноте, в поле чистом сызнава меняли лошадей. Промчали лихо и Кольчугино, и Небылое. Тут только отец Яков и открыл все царевичу:

– Ты, Свет-Алешенька, спрашивал давеча – куды едем. Отвечу теперя. Теперя – можно... Мы к матери твоей едем, в Суздаль... Не забыл ты её?

15

– Не забыл. – тихо ответил Алексей. Хотя всего-то у него и осталось в памяти – кроме самого факта, что мать в монастыре (об этом ему, хотя и изредка, но напоминали), только что-то невообразимо хорошее и горькое одновременно.

– Вот и хорошо! Вот и славно! – забирая в голос сколько возможно радости и даже восторга, ответил отец Яков. – Мать свою надоть помнить завсегда, даже почившую. А ведь

твоя-то матушка Евдокия – не мертвая, а живая. И постриг приняла не по своей воле.

– А по чьей?

Ответ Якова был такой:

– Не надо бы сказывать. Запрет на сие имеется... Но ведь и не сказать правды – тоже грех, и грех великий...

– Скажи!

– Ин, ладно. Только уговор: рот на замок. А коли откроешь – мне худо будет.

– Не скажу... Святой истинный крест – не скажу! – И царевич истово перекрестился.

– Ну ладно. Так и быть. Скажу. Слушаешь, ай нет?

– Слушаю...

Отец Яков перешёл почти на шепот – будто боялся, что кто подслушает. Кучер однако, того о чем говорили в возке слышать никак не мог. Проверяли и не раз.

– Матери постричься отец твой велел.

– А чего ради – ведаешь ли доподлинно?

– Ведаю.

– Ну?!

– Из-за бабы. Немки одной. Влюбился он в нее, видишь ли... Чары она на него немецкие напустила. И стала матушка твоя отцу ненавистна. И стал отец её изводить. И извел до того, что она против воли приняла постриг.

– Как это?

– Заставил. Он любого заставит. Царь.

В возке наступила тишина. Молчал Яков. Молчал и Алексей. Потом Алексей сказал тихо:

– Он сердиться будет...

– Кто?

– Батюшка. Как узнает, что в Суздаль меня возили.

– Не узнает. И никто не узнает. Мы ведь не скажем никому? Не скажем, верно?

– Не скажем. А коли тебя стращать начнут, скажешь. – спросил в голосе с дрожью царевич.

– Нет.

– А коли пытаться станут, розыск откроют?

– Нет.

– И я тоже... никому не скажу... – тихо сказал царевич.

– Славно! Славно... – ответил отец Яков и приобнял Алексея за плечи.

Снова помолчали. После чего отец Яков спросил озабоченно:

– Что ты носом-то все дергаешь?

– Прохудился. – ответил Алексей.

– Простыл нито?

– Навить...

– Эхма! И лечить-то тебя в дороге нечем. И давно?

– С утра не было.

– Простыл. Должно, сквозняк поймал. Терпи. В Суздаль прикатим – придумаем что-нибудь.

– Течет, сил нет.

– Терпи. – повторил Яков. – И продолжил деловито: инструкцию выдавал:

– Теперь, значит, так... Скоро Суздаль. Как в город въедем – сиди как мышь тихо. В окошко не гляди. Нам надобно, чтоб тебя никто не увидал. Как въедем во двор монастырский – я тебя покрывалом покрою и сведу, куда надобно. Лица не кажи. Молчи, как рыбка. Я тебя за руку поведу, словно девицу. А ты переступай почаще, дабы аще кто увидит – подумал – девку новую привезли на послушание. Все уразумел?

– Уразумел. – ответил Алексей и взял отца Якова за руку и не выпустил уже руки его – пока тот не сказал тихо: «Пришли». И снял с Алексея покрывало.

16

Комната, в которую отец Яков привел царевича Алексея, была невелика, но чисто выбелена, а деревянный пол в ней был свеженатерт воском и просто как огонь горел, отражая, к тому же, свет от четырех новеньких свечей, стоявших в массивном бронзовом канделябре, хотя на улице было еще не темно.

Вышеназванный канделябр стоял на круглом столике, а столик был покрыт чистой парчовой скатертью. У столика друг против друга стояли два мягких удобных креслица: мебель ну никак не подходящая для монастыря.

Оглядевшись, Алексей тотчас же очень-очень хотел в креслице сесть – потому что все тело его, до последней ко-

сточки – ныло от усталости, причиненной долгой ездой.

Он оглянулся было на дверь, но Якова Игнатьевича в комнате уже не увидел и вдруг дверь открылась и вошла... ну явно, это была она – вошла его, Алексея, матушка – Евдокия, вот кто.

17

Со времени пострижения её в 1698 году прошло более восьми лет. В тот год сыночку было восемь. Нынче ему идет семнадцатый. Времени утекло много.

В первое мгновение встречи оба явно смешались, потому что сравнивая то, что в памяти обоих осталось от того (или той), кого они любили больше всего на свете, они сходства не находили. Поэтому на лицах у обоих на смену напряженному вниманию пришло почти одновременно недоумение и даже испуг.

Первой опомнилась и взяла себя в руки мать.

– Алешенька, ... сыночек мой... – сказала она нежно и протянула к нему руки. Смешавшийся, было, сын тоже пришел в себя. Однако, даже поняв, что перед ним – действительно его мать, продолжал стоять в нерешительности. Перед ним стояла его мать. Это было ясно как день. Но почему тогда она не в черной монашеской одежде? Почему она – в синем шелковом сарафане? Почему на ней душегрейка с оторочкой соболями? Почему у ней на шее крупные янтарные бусы?

До матери, наконец, дошло, почему сын стоит в нерешительности.

тельности. Уж больно он её рассматривал сверху вниз – смятенно, заметив, что она даже глаза сурьюмою подвела...

– Ты же постриглась! – почти, что в ужасе и шепотом из-за мгновенно севшего голоса, спросил Алексей. – А будто на праздник собралась...

Мать показалась растерянной только какое-то мгновение – и тут же лицо её осветилось улыбкою...

– Как есть на праздник! – негромко воскликнула она. – Сына своего вижу живым-здоровым – чем не праздник? Еще какой праздник, Алешенька! Знай и ты теперь, что я тоже жива и здорова, что терплю смиренно и часа своего жду и дождусь...

– Ка... какого часу? – с явным удивлением спросил сын.

– Не всегда мне в монастыре-то сидеть... даст Бог – выйду на волю.

– А обет – как же? – бледнея, спросил сын.

– Меня сюды насильно привезли. Собака Языков привез. И постригли тоже насильно. Я – молчала, ни словечка не сказала. Языков за меня все слова сказывал... Отольются ему слезки мои... Еленой нарекли... Сказали, что, мол, Евдокии больше нет, забудь-де про неё... Как же! – с вызовом продолжила она, адресуясь к двери. – Забыла!... Никого я не забыла! – Ни мужа своего, Богом данного, Великого Государя, ни сына – ангела подлинного! Так что – реку тебе, Алешенька мой, все, всё еще воротится на старое. Мне ведь видение было. Да и монастырские глаголят тако же. Наш час еще про-

бьет! – Мать даже руку в пафосе вверх подняла, но вдруг заговорила быстро-быстро и, вроде как бы, даже испуганно:

– Ахти, сыночек, деточка моя ненаглядная... не надо бы нам с тобою ляды-то точить. Ехать вам надобно во весь дух в Москву, чтоб никто не дознался, что ты у меня был... Молчи, молчи, как под страхом гнева Божия, молчи, никому, слышишь, никому, что видел меня – не сказывай!

И спросила вдруг будним голосом, хотя и с тревогою, но и с любопытством тоже явным...

– Что это ты носом все швыркаешь?

– Должно, простудился...

– Сильно льёт?

– Изрядно...

– Ах, незадача какая, ведь лечить-то тебя – времени нет, ехать надобно. А у нас бы вылечили скоро. У нас есть старушка-травница – золото, а не старушка... Ты – провожато-му-то скажи. Как вернетесь – пусть лекаря позовет... Негоже царевичу носом швыркать...

Поцеловав сына торопливо, несколько раз, для чего пришлось встать на цыпочки и наклонить несколько вниз голову сына, (он уже пугающе потянулся вверх, повторяя отца), мать перекрестила его и исчезла.

Почти потрясенный увиденным и услышанным, Алексей с минуту стоял, как потерянный. А потом...

Потом открылась дверь, в комнату вошел отец Яков; ни слова не говоря, он опять накинул на голову царевича уже

знакомое покрывало, взял его за руку, быстро вывел к лошадям, посадил в возок и четверня тут же с места полетела назад в Москву, не останавливаясь нигде более, чем на полчаса, то есть на время, которого хватало только для того, чтобы переменить лошадей. Так, что разговор с матушкой стал отдаляться, а приехав уже домой, сын действительно думал о поездке в Суздаль, как о кратком и ярком видении, которое вряд ли было, а скорее всего, привиделось ему во сне.

18

А насморк царевича стали лечить немедленно. По пути болезнь несколько осложнилась и предстала уже в виде известного нам ОРЗ, а чуть раньше называлась воспалением верхних дыхательных путей. Немедленно были доставлены и заморская корица, и шиповник сушеный, и липа, и калина (в цветах и ягодах высушенных), и бузина, и брусника, и земляника, и малина, и лук с медом, и даже паутинка. Распорядилась всем лечением тетюшка Наталья Алексеевна – энергично и без паники. А немецких врачей не звали.

Налитый питьем и намазанный, да еще с устатку, царевич хорошо выспался, а утром следующего дня проснулся почти здоровым.

19

Свидание в Суздале было организовано с точки зрения тайных дел, практически безупречно. В Москве очень долгое время никто ни сном ни духом о нем не ведал. Но не на-

прасно же существует поговорка «все тайное становится явным». Вот и Петр тоже узнал о свидании сына с матерью.

От кого? Сказать трудно. Скорее всего это была ему разовая информация. Потому что если бы в Покровском монастыре сидел постоянный человек Петра, то царь значительно раньше узнал бы, что инокиня Елена ведет совсем не монашеский образ жизни: мирскую одежду носит, часто больной сказывается и посты не соблюдает.

Кто мог предоставить Петру информацию о свидании царевича с матерью?

Кто-то из монастыря?

Вряд ли.

А у автора версия есть.

Читатель же знает, что в Суздале, на монастырском кладбище была похоронена единственная единокровная сестрица царевны Натальи Алексеевны – Феодора, прожившая всего четыре года. Могла ли её помнить Наталья? Вряд ли, конечно... Хотя возможно. Потому что когда Феодора умерла, Наталье было пять лет. Но Наталья – царевна, естественно, по рассказам старших, знала о своей сестрице-подружке.

Отсюда следует, что Наталья Алексеевна очень даже могла уже после свидания племянника с матерью – приехать в Суздаль на могилку своей сестрицы, скорей всего, к четвертому сентября – ко дню рождения и именинам Феодоры. Допустивши это, мы вполне могли бы допустить и возможное дальнейшее развитие событий, а именно то, что Евдокия и

Наталья в монастыре увиделись...

Кто из них двоих мог быть инициатором встречи, если она была? Думается – Евдокия. Уж больно ей хотелось узнать хоть что-нибудь о сыне. Как встреча возможно произошла и о чем тогда было говорено – неизвестно. Но думается, что тема Алексея уж точно затрагивалась. Не могла не затрагиваться. Причем она, видно, была затронута так, что царевне Наталье не составило большого труда понять, что мать и сын виделись и виделись недавно.

Попробуем восстановить, или, правильнее сказать – представить версию их разговора. Каким он был? Кратким или пространным? На ходу, на ногах или под крышей, сидя за закрытыми дверями?

Давайте предположим, что встреча не была случайной, произошла за закрытыми дверями, а значит, никак не могла иметь место без содействия монастырского начальства – и прежде всего – матери-игуменьи.

20

Царевна Наталья сидела в креслице за круглым столиком – в той самой светёлочке, в которой зимою повидались Евдокия и Алексей. Сидела покуда в одиночестве. Пять минут назад ее сюда привела сама мать игуменья – высокая, худая, с ясно выделяющимися на лице морщинами, располагавшимися у неё на лице вертикально. Игуменья была из молодых. Не в смысле молодых по возрасту; по возрасту она как раз была немолода. А в том смысле, что недавно пришла в мо-

настырь – каких-то может быть, три года назад тому.

Она была из Нащокиных – из очень богатого и знатного рода. Самый знаменитый – боярин Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин приходился ей дядею. Он умер в 1618 году монахом. Племянница пошла по его стопам. Сделала карьеру. Грамотна и учена была немало. По-латыни знала и по-польски. Игуменьей стала. Именовала царскую сестру «Высочеством».

Какое-то время прошло в ожидании. Вдруг открывается дверь и появляется монахиня с немалою корзинкою в руках, покрытою беленькою чистою холстинкой. Монахиня поклонилась царевне в пояс и стала вынимать снедь, да расставлять на столике, причем Наталья Алексеевна успела заметить, что вся еда была, хотя и постная, но приготовлена великолепно. Яркий, чистый аромат жареного лука, дух ржаного свежего хлеба, узнаваемый по чесночку аромат соленых грибочков – были до того хороши, что Наталье Алексеевне сразу как-то расхотелось скоро уезжать, а захотелось – наоборот – покойно и вкусно поесть, отдохнуть за трапезою и поговорить с каким-нито хорошим человеком.

Монахиня не старалась лицо свое, сразу как явилась с корзинкою, особенно показывать. И правильно, наверное, это... Но царевна заметила и то, что уж очень неловко монахиня снедь на столике выставляла. А как выставила все, и надо было уходить, – не уходила, а будто ждала чего-то. Или, как бы с силами собиралась. И, видимо, собравшись, разом

повернулась к царице лицом. И глаза немигачие свои – не долу опустила, а смотрела на царицу, словно ждала чего-то. Или требовала. Наталье Алексеевне не по себе даже как-то стало. Она и спроси:

– Что ты так-то, на меня, сестричка, смотришь? Будто спросить чего хочешь, а языка лишилась...

И – узнала. Дошло до неё.

– Евдокия Федоровна, ты ли это?

– Я... Только не Евдокия, а Елена...

– Знаю-знаю... Ну, как ты живешь?

– Как? Как в монастыре-то живут...

– А как в монастыре?

– Тоска...

– Ну – тоска... Здесь ты к Богу ближе...

– Ничего не ближе...

– Или – со всеми сестрами не кормишься?

– Да нет... Окормляют меня со всеми вместе. А все одно – тоска...

– Ты – есть хочешь? Садись за стол, поедим.

– Нет. С тобою мать игуменья трапезу делить будет. Сейчас явится. А мне – нельзя. Да и сыта я.

– Ну, хоть присядь, отдохни... ведь настоялась уже поди?

– Нет. Я уже привыкла. Постоим.

– А я вот посижу. Дорога больно тяжела была. Устала. –

И оправила платье привычно, улыбнулась вдруг и спросила весело...

– Поговорим?

– Да о чем говорить-то... Ваша воля.

– Чья это наша? – спокойно, отнюдь не сердясь, спросила

Наталья Алексеевна.

– Нарышкиных, вот чья. – Сказала эти слова Евдокия коротко и явно злобно.

– Ну не сердись... Нехорошо сердитовать. На все воля Божья...

– Да! Божья... Знаю я, чья это воля...

– Ну-ну... Будет... – Наталья продолжала улыбаться. – Ты лучше скажи: об Алешеньке – думаешь ли?

– Думаю. День и ночь думаю – как он там...

– Ему хорошо. Не тревожься... Ну, а о Государе Петре Алексеевиче думаешь ли?

Пауза.

– И об нём думаю. И ещё много о чем думаю...

– О чем же?

– Думаю, Бог правду знает. И глаза откроет...

– Кому?

– Государю, мужу моему.

– На что?

– Не виновата я вовсе ни в чем. Вовсе.

– А он и знает сие. И знал...

– Ух, немка проклятая...

– А он и немку ныне тоже в дому запер и не велит выходить. Осерчал больно.

– На что?

– Не ведаю.

– Буду Бога денно и ночью молить, чтобы снова оборотил глаза его царские на меня, да на Алешеньку и чтобы от страху сыночка моего избавил...

– От какого еще страху? – подозрительно спросила Наталья, суживая глаза. Приятная беседа кончилась. Начался, в сущности, допрос. И повела его царевна жестко и напористо:

– От какого еще страху? – повторила царевна. Ну-ко, ну-ко...

Евдокия от этих слов заметно смутилась. Но, как могла, взяла себя в руки и ответила, правда едва слышно:

– Я сон видала...

– Давно?

– С месяц, должно...

– Что за сон?

– Будто, кто меня среди ночи будит...

– Ну!

– Открыла глаза – а рядом Алешенька стоит вроде как в саване. Стоит и слезы льет.

– Дальше!

– Слезы льет и говорит: «Добро тебе, матушка, в Суздале за стенками, покойно; а меня батюшка – как не встретит – все ругает ругмя.

– А ты?

– А я и спрашиваю, а за что, мол, батюшка ругает-то?

– А он? – нетерпеливо подгоняла Наталья.

– А за то, что учусь, говорит, плохо. Оттого и гневается, а я де, батюшкиного гнева зело боюсь. Батюшка, мол, может за ленность мою наследства меня лишить...

– А ты что же? – снова нетерпеливо спросила царевна.

– А я ему и говорю: «Учись, Алешенька, хорошенько – вот батюшка милостив к тебе и будет непременно».

– Ну?

– А он – махнул рукою, заплакал опять и... пропал.

– А больше во сне не показывался, нет?

Евдокия замолчала, долу уставя глаза свои. – и ответила снова тихонько:

– Показывался...

– Как показывался?! Речи! Говорил чего, нет?

– Нет, не говорил... Только плакал. И носом все-время дергал. И нос рукавом утирал. – И она заплакала.

Наталья всегда плачущих баб не выносила. Допрос кончился. Мгновенно повеселев, царевна заторопилась:

– Ты прости-прощай, матушка Елена, спешить, спешить тебе надобно; а то скоро мать-игуменья явится, недовольна будет, что родственницы свиделись. А то еще не ровен час братцу отпишет, как я тогда оправдываться стану?

Царевна пыталась шутить.

21

Когда Евдокия (или Елена – как кому угодно будет) вышла бесшумно за дверь, Наталья Алексеевна некоторое вре-

мя просто сидела и думала. О чем думала? Ну уж во всяком случае, не о том, как бывшая царица мало изменилась и все еще хороша собой. Мина на лице у неё была серьезнейшая. Дело в том, что еще при прощании с Еленою-Евдокиею – царевну словно по затылку хряснули: яркая и ясная догадка сама собою явилась: «А ведь насморк-то у Алешеньки совсем недавно был!..».

Теперь, сидя в кресле, она сосредоточенно развивала догадку:

– Откуда мать о насморке знает? Может, сказал кто? Нет, сказать никто не мог. Из Москвы здесь давно уже никто не бывал... Я бы знала. А если кто и был, значит тайно был... И чего это мать Игуменья Евдокию направила ко мне с корзинкою... Сама Евдокия не могла бы... Надо эту мать пощупать и попугать... Она что-то знает». – И Наталья Алексеевна, почти успокоившись, принялась ждать мать-игуменью.

22

Ждать пришлось недолго. Та стремительно вошла, шумя шелковой сутаной, села напротив, и сделала приглашающий жест:

– Прошу, Ваше Высочество, отведать, что Бог послал.

Стали есть да похваливать – как водится. И вот, среди трапезы, во вполне в бестревожный момент, когда мать игуменья для себя ничего опасного не ожидала, Наталья Алексеевна вытерла ротик свой полотенчиком особым и спросила, по возможности – весело и безмятежно:

– А скажи мне, матушка, что – царевич Алексей Петрович у вас в гостях, часом, не был?

От неожиданного этого вопроса кусок рыбы у игуменьи из руки на скатерку выпал. Началось длительное молчание. И чем больше оно затягивалось, тем больше Наталья-царевна наполнилась уверенностью: тут что-то нечисто. И она решила атаковать в лоб:

– Что затихла, матушка? Отвечай как на духу: был или не был? Ну?

И снова молчание было ей в ответ.

– Не хочешь говорить по доброй воле мне – я вернусь домой и отпишу брату. Сюда приедут люди, которые умеют развязывать любые языки. Любые!

– Я ничего об этом не знаю... – ответила мать-игуменья. И тут же густо покраснела.

Царевна ту красноту немедленно заметила и громко расхохоталась:

– У тебя, матушка, щечки словно огнем запылали. Что сие значит – и думать много нечего. Рассказывай! Рассказывай, пока я добрая!

– Я ничего этого не ведаю. А врать мне... Непривычна я врать, Ваше Высочество! Нащочкины всегда верой и правдой Отечеству служили, служат и будут служить. А уж, чтобы в заговоры какие влезать – такого николи вовсе не было...

– А зачем же ты Елену ко мне с корзинкою подослала? Уж ли без умысла?

– Был умысел, – тихо ответила игуменья со вздохом. – Думала... Думала я, что снохе и золовке приятно будет увидаться. Вот. А царевича – может и привозили, да только без моего ведома. Я ничего про то – ни сном, ни духом...

– И я не ведаю. – тоже со вздохом сказала царевна. Не ведаю, но проведаю. И ежели что... Ежели ясно станет, что свидание не токмо было, но и мать игуменья ко свиданию тому касательство имела...то пускай она на себя и пеняет – зачем не донесла? А коли полагаешь, что в свидании сына с матерью никакого греха нет... То, я чаю, в Преображенском-то приказе не так думают... Чего молчишь?

– Мне кривить душой-то... не пристало, понеже сан духовный ношу. Сроду не... врала... вот как перед Богом... – негромко, но внятно, чтобы царевна эти слова надолго запомнила, отвечала игуменья и перекрестилась, глядя в передний угол, где висели иконы и теплилась лампадка. И слова эти, как видно, для царевны прозвучали правдоподобно, потому что Наталья даже немного смутилась: «А кто его знает, ведала она или нет... Может и не ведала. Ишь ты, как обиделась... Напрасно я так-то грубо... Отец её, или дядя... как бишь его... Афанасий Лаврентьевич – в самом деле, не за страх, а за совесть ... хотя... кто его ведал по истине-то... Кровь ведь татарская.

Царевна не сразу как узнала о суздальском свидании отписала брату. Не поторопилась. Сделала это только ближе к

концу 1708 года. Почему? Она объясняла это тем, что «не хотела позорить Нарышкиных»... Что имелось ввиду? Ввиду имелось следующее: Всем было известно, что в ближайшем круге царевича было немало дальних Нарышкиных. Если бы по письму сестры брат Петр начал бы розыск, то неизбежно выяснилось, что по крайней мере некоторые из этих Нарышкиных знали о свидании и даже не во всем были горячими сторонниками своего августейшего родича – царя Петра. Все это неизбежно подорвало авторитет рода. И Петр это понимал. Поэтому и не открыл тогда розыск по суздальскому свиданию. Но само известие о том, что свидание с матерью было, возвело Петра в последнюю степень озлобления. Озлобление царя против сына было тем более значительным, что до доноса сестры Петра активно убеждали, что с царевичем все обстоит совершенно благополучно. Никифор Вяземский в подробностях описывал царю, что Алексей прилежно учит немецкий язык и географию, после чего (выделена нами – Ю.В.) станет учить французский и арифметику. Сообщал, что царевич и делами государственными занимается тоже – «В канцелярию ездит и по пунктам городовые и прочие дела управляет». Казалось, что все действительно благополучно и отец может быть совершенно спокоен. И вдруг такое письмо от сестры!

24

Петр немедленно вызывает сына к себе. «К себе – это значит в далекую и неведомую Алексею Желкву. Там, в конце

1708 – начале 1709 года была ставка Петра; это – чуть севернее Львова.

Автор не знает, каким был разговор отца с сыном в Желкве. Скорее всего, очень жестким, но наказание за свидание Алексей не получил, а получил множество ответственных поручений и первым делом, поехал в Смоленск – контролировать заготовку провианта и набирать рекрутов для армии.

Сын принимается за дело. Он ясно понимает, что отцовские поручения – это своеобразное испытание; их надо исполнять как можно лучше, чтобы вернуть отцовское благоволение. И еще одно он понимает. Что отец за ним внимательно смотрит. Царевич мотается по подмосковным и северным уездам, собирает рекрут; следит за тем, как свозится в Смоленск провиант для армии. Он тратит в этой работе немалую долю своих сил. Считает, что уже имеет право получить отцовское одобрение, но пути Господни воистину неисповедимы, ибо получает вдруг отцовское недовольное письмо, в котором без обиняков пишется, что сын работает плохо. Упрек звучит ясно:

– Оставляя дело, ходишь за безделием...

25

Сын письмом сражен. «Рука отцова... – в отчаянье размышляет Алексей. «Оставляя дело, ходишь за безделием»... Что сие значит? Ведь я, все, что о н приказывает, исполняю в точности. Это на меня кто-то напраслину возвел – по злобе... А может он что еще про Суздаль прознал? Так я ему

все, как на духу – тогда в Желкве выложил... Как я ему доложил по провианту – через гонца – хвалил и благодарил; а как ему нашептали в уши – всё хорошее забыл. «Ходишь за безделием»... Эх-ма, да ведь у меня редкий час проходит – чтобы без дела. С петухами встаю».

От видимой отцовской неправды Алексея в полбн взяла гнетущая обида и держала не один день. А когда полбн ослабел, Алексей стал думать обо всем прошедшем поспокойней. И даже обсуждать кое-что с тем, с кем в Суздаль гонял – с Яковым Игнатьевым. Для всех не было ничего удивительного. Набожность царского сына всем известна, что с того, что вечерами царевич зовет к себе близкого человека, и тем паще, священника? Да и сам Яков Игнатьев ходил к нему едва ли не всякий день, вовсе без тревоги. Может, Алешеньке, опять трудно спится... надобно успокоить. Он, Яков, это умел...

26

В тесноватой опочивальне Алексеевой (сын – также, как и отец, побаивался больших помещений) было уже почти темно. В сумерках царевич не велел огня зажигать. Лежал под одеялом, натянув его до подбородка. Когда Яков зашел к нему, ни слова не говоря, без суеты, уселся рядом с кроватью на скамеечку, оправил бороду свою – и спросил:

– Не спится тебе, я чаю, свет мой Алешенька?

Царевич всхлипнул. Яков знал, что такое с ним – признак растущей досады и злобы:

– Зажги огонь! – Яков моментально приказание исполнил и вернулся на скамеечку: он ясно понял, что у Алексея были новости. Не торопя событий, Яков тихо спросил:

– Что, сон нейдет?

– Заснёшь тут...

А вот тут и наступило времечко спросить прямее. И Яков не замедлил:

– Случилось что, душа моя?

– Случилось. Отец письмо прислал.

– Хорошая весть. А что пишет?

Тут Алексей выпростал правую свою руку из-под одеяла. В руке была бумага – отцовское письмо.

– Прочти!

– Позволяешь?

– Позволяю. Чти.

Яков подвинулся к огню и стал про себя честь. Читал внимательно. Закончил. Положил лист на постель рядом с длинной и бледной рукой царевича.

– Что скажешь? – спросил Алексей.

– Трудно сразу...

– Кабы легко было я бы тебя не спрашивал. Продолжил:

– У меня об одном ноне головка болит – спать не могу; знаешь?

– Ох, знаю...

– Вот-вот.. Станет батюшка розыск открывать по свиданию с матушкой или нет... Ты-то – что думаешь?

– Не ведаю...

– Ах, не ведаешь? А кто будет ведать, как не ты? Думай и проведывай! Это тебе надо – в первую голову! Ведь коли отец до чего дознается – то мне беда, а тебе, я чаю, что и похуже будет – кандалы и дыба... Так что думай, проведывай и не ошибись! Ведь это ты меня в Суздаль-то свез и до полудороги не открывал, куда везешь, все врал! А теперь что?

У Алексея хватило ума слова эти не кричать, а говорить, даже, скорее, шипеть – мерно и скушно, но в голосе его было столько тоски и страха, что Якову стало не по себе. И он спросил, изо всех сил стараясь сохранять спокойствие:

– Ты боишься батюшку?

–Боюсь, Яков... Так боюсь, что и сказать не могу. Как увижу его, так ноги – словно в землю врастают. Двинуть не могу. Во рту сразу сушит и язык к небу прикипает. Слова из головы все летят, ничего сквозь сказать не могу.

– Плохо дело. – ответил Яков. – И по обыкновению своему для значительности сделал паузу и лишь помолчав, как водится, стал поучать – не громко, но четко проговаривая слова, зная, что так-то, вот, куда скорее до Алексея доходит:

– Бояться тебе на виду у батюшки никак нельзя. Никак. Он ведь опаслив без меры; как увидит, что трусишь, станет доискиваться до причины, ругать да страшать. Упаси тебя Бог, хоть кого-то назвать. Хоть даже меня. Палачи в Преображенском, сам знаешь, какие – любой заговорит. А ниточка потянется, всех вытащат. Худо будет. Ты помни: покуда царь

ничего знать не будет, он тебя в наследниках, как сына своего держать станет по-прежнему. А как узнает... Как узнает, не видать тебе престола, как ушей своих. И еще хорошо, как в живых оставит. А то ведь загонит куда-нибудь... в Пелым, даст на прокорм полтину на неделю – будешь Бога благодарить день и ночь, что в живых оставили. А о нас-то уже и речи не станет.

– А ты... ты, разве не по своей воле в Суздаль-то меня возил? Спросил Алексей и еще подогнал через миг. Ну!

– Как же... по своей. Есть люди... И посильнее и повыше меня, которые о тебе день и ночь пекутся, думают, как тебя оборонить надежно от отцовского гнева.

– И зачем же меня к матушке возили?

– А что б ты мать свою родную не забыл. А то ведь, поди, забывать стал?

– Да нет...

– А лукавить не след... Сколько лет прошло... Начал, начал забывать. Точно. Вот тебе память-то и обновили!

– А для чего.

– Что для чего?

– Я говорю – для чего обновили?

– Чтобы ты не забыл мать свою родную...

– Врешь ты все отец Яков. Мне – мать свою помнить сегодня – всё одно, что во сне медовые пряники кушать. Ведь она много лет, как монахиня. Её из монастыря воротить – как с того света. Врешь ты все, пес шелудивый. Не в матушке

тут дело!

– А в ком?

– В батюшке, я чаю...

– Ну-ко, ну-ко... скажи дробненько, Алешенька...

– А!.. Семь бед – один ответ. Уж ты-то точно с доносом не побежишь... Не побежишь?

– Что ты, Алешенька... Да я, коли час придет, на дыбе смерть приму лютую, а тебя, голубчик мой, не выдам. Так почему в отце дело-то?

– В нем дело-то все только и есть. Для престола меня берегут? Вестимо, для престола, так? Так! А чтобы мне его предоставить, коли час придет, надо либо дождаться пока батюшка... почиет в Бозе, либо...

– Никакого другого либа нету. Нету и нету.

– Есть! Сказать?

– Не надо, Алешенька... Не гневи Бога.

– Стало быть, смерти ждем?

– И об этом тоже ни говорить громко, ни даже думать сей-час много нельзя...

– Неужли, и ты, отец Яков, боишься?

– Боюсь... И ведь только человек, Алешенька. Кости и кожа у меня не железные. Посему надобно ждать. Затаимся так, что шевелиться вовсе не будем Но ведать надобно все. А нынче – более всего надобно ведать. Знает ли батюшка про Суздаль что новое или нет, а коли знает, то как узнал?

– А как проведать?

– Есть у меня мыслишка...

– Какая?

– Отпиши письмецо...

– Кому?

– А вот тут – подумать надо. Я чаю – лучше всего – те-тушке своей Екатерине Алексеевне. Пожалься, что, вот, мол, батюшка в письме на меня гневается сильно, а за что – понять не могу, а дознаться – не у кого. «Явите, – напиши, – божескую милость, если ведаете, отпишите мне, за что, мол, батюшка на меня сердится, а вины за собой я не знаю». Раз-жалобишь старушку – может, и проговорится. Остальное мы додумаем.

– Мало. – сказал Алексей.

– Чего мало?

– Мало одного письма. Надобно писать и бабушке, Анисье Кирилловне.

– Вот-вот. А она тебя любит, сказывают. Пиши обоим. И слезу, слезу дави, не скупись.

27

И Алексей написал. Одно письмо обоим. Поскольку жили обе старушки в Кремле любезными соседками.

Написал, что, мол, батюшка на меня гневается, а за что – не ведомо. «Прошу вас, пожалуйста, осведомясь отпишите, за что на меня есть государя-батюшки гнев, понеже изволит писать, что я, оставя дело, хожу за безделием, отчего я в великом сумлении и печали».

Но тетушка и бабушка – смолчали, как в рот воды набравши. И ясно, почему. Они тоже – как огня – боялись брата и племянника.

28

Безуспешно прождавши два месяца, Алексей написал еще одно письмо – новой жене Петра, которую велено было именовать Екатериною Алексеевною, но про которую многим было известно, что никакая она не Екатерина, а Марта; и роду была чуть ли не подлого.

Подробности ее жизни кого угодно могли повергнуть в изумление, и повергали. Прачка в доме лютеранского пастора, она была «взята на штык» русским солдатом во время штурма Мариенбурга в качестве трофея. Говорили, что она уже была замужем за неким шведским драгуном, но где этот ее муж-драгун, она сказать не могла или вовсе не хотела. Как видно, своим новым положением пленница русского солдата удручена особенно не была, тем более, что у солдата ее выкупил офицер. У офицера – еще один офицер, а уже у т о г о, как говорили, – сам Борис Петрович Шереметев. От Шереметева она и попала к Петру.

К ней-то и написал еще одно свое письмо Алексей-царевич. Известно, что новая жена отца обладала заметным влиянием на царя. Но царь – царем, а ей нужно было еще как-то выстраивать отношения с семьей Петра, и прежде всего – с его детьми – Алексеем и Натальей. И вот – судьба подарила ей возможность – помочь сыну мужа, у которого как видно

случились с отцом какие-то размолвки.

29

Екатерина в то время находилась с Петром, Петр же, с армией – на Украине. До Полтавской баталии тогда, в начале 1709 года, оставалось чуть более полугода. Так что поскольку основной театр военных действий определенно переместился в Украину, то и война как бы уже и потеряла право именоваться у потомков «северной».

А на Украине... ну что на Украине?

Несмотря на многие призывы Петра к Мазепе явиться, наконец, со своими казаками к царю, тот один за другим придумывал правдоподобные и неправдоподобные поводы для того, чтобы затянуть свое явление к Петру с запорожцами. А Петр, понятное дело, ни о какой гетмановой измене пока не подозревал. Для него было совершенно ясно, что несколько тысяч хорошей, даже превосходной легкой конницы главной силой против шведов не станут; главную боевую роль выполнит армия, а участие казаков в войне на территории Украины – это... почти символическое участие! Ну как же запорожских казаков оставить в стороне от боев за родную землю? Вот так. И не более того!

Армия же находилась в то время поблизости от Сум. Стояла большим лагерем. Оттуда, из-под Сум и полетела под Смоленск к сыну строжайшая отцовская депеша, чтобы сын самым скорым образом гнал бы под Сумы всех рекрут, которых к тому часу успел собрать. И сын во главе этой почти

толпы, из которой немало число норовило удрать и удира-
ло при первой же возможности, пошел на Сумы. Поход был
нелегким. И люди бежали, и провианту не хватало – кормить
новиков. И от воды гнилой многие маялись животами, хотя
из больных немало было и тех, которые говорились больны-
ми, изо всех сил желая походить на лихорадочных и слабых.

Когда же после изнурительнейшего похода, потеряв нема-
лое число людей беглыми и отставшими, царевич явился под
Сумы, отца там уже не было.

30

Отца уже не было, а настоящая лихорадка у Алексея – уже
началась. Он лежал в Сумах в домике о пяти окон, в котором
жительствовал престарелый одинокий священник, который
давно уже перестал служить и жил что называется, на покое.

Тому, что заболевшего русского положили в горнице его
дома, он был немало обрадован. Теперь, слава Богу, он не
один; в доме постоянно люди. Они не шумят. Говорят впол-
голоса. И его, старого, кормят досыта и даже лечат. Словом,
хозяин дома был доволен донельзя.

Юноша заболел тяжело. Жар держался долго. Алексей ча-
сто впадал в забытье. Но вот, что удивительно: едва ему чуть
полегчало, его увезли. Говорили, что царь приказал вернуть
в Москву. Ну, что же... На то его, Царская воля и есть, чтобы
ее исполняли без промедления. Возок с Алексеем на смен-
ных лошадях – быстро донес его до Смоленска. А оттуда до
Москвы – это все знают – рукой подать. Так, вместо того,

чтобы повоевать, показать личную храбрость, на что Алексей втайне рассчитывал, он оказался в Москве – где были хорошие доктора, хотя и немцы, где были родственники и близкие, но главное – где не было войны.

31

И опять рядом Яков сидит у постели и тихонечко втолковывает:

– Батюшка велел привести тебя, голубчика, в Москву... Жалеешь? Тебе, я чаю, хотелось бы на глазах отца шпагу обнажить, да на коне скакать, да свист пуль слышать?... Бог с ней с войною. Там, слыш-ко, стреляют и убивают. Там и до несчастья близко. А тут у нас тихо и покойно. Выздоровлявай. Ты не для ратного дела рожден, а для царского. Пусть другие воюют. Пусть Меншиков шпагой машет да Шереметев. Пусть и... государь, если хочет, под пули скачет... – и, наклоняясь к самому уху царевича, зашептал: Авось какая пулька и его достанет... и тогда на Москве новый царь сядет – Алексей Петрович... шутка ли, а? – И засмеялся громко.

– Грех это... – сказал Алексей и закрылся с головой одеялом.

– Где – грех? – спокойно переспросил отец Яков. – Это я так... пошутил. Не бойся. Еще ни один русский царь, али великий князь от пули, али от сабли на поле брани не погиб. От яду, да удавки – да, бывало, а чтобы в битве – нет. Лежи спокойно.

И, потушив свечу, на цыпочках вышел.

А через день-два от отца пришло новое письмо. Петр написал его собственноручно, как всегда торопливо, и, не забываясь особо о красивости стилия и грамоте:

«Зоон! Спешу тебе на великих радостях доложить, что мы здеся ломим зверя на все стороны, и Карлус получил у Полтавы такую конфузию, от которой, ей, николи не оправится. У Переволочны шведы сдалися все. Обоз наш. И пушечки тоже. Я чаю, что ты уже обо всем слышал и радуешься не меньше нашего. А я за тебя тоже рад, понеже донесли мне, что лихоманка тебя отпускает и ты уже встаешь. Солонинка твоя зело вкусна и солдатики наши едят ее и похваляют. И я отведал и едва язык не проглотил. И рекруты твои – смоляне да тверичи – тоже в аккурат поспели. Мы их развели мелочью по батальонам, где убыль в людях была более. А што зол я на тебя за тех рекрут был, што-де не токмо в гвардию, а и в обозы не годны вовсе по слабости телесной, то прости отца за горячность. И я тебя прощаю – по радости нашей общей великой». И далее отец приписал еще: «Я чаю, ты скучаешь без дела. Читай: все дело, наперед пригодится. А то – отпиши мне, какую тебе книжку прислать для переводу, дабы немецкий али французский укрепить твой. Засим желаю тебе помощи Божией и здравия и остаюсь отец твой навек».

Автор должен признаться, что большая часть письма – вымышлена, кроме того места, где речь идет о книжке для пере-

вода. Но такое письмо царь-отец действительно мог прислать сыну. Я даже думаю, что по письму судя – отец действительно подобрел к сыну: о книжке спросил. Хотя суздальский эпизод должен был насторожить отца. И насторожил. И, наверное, имел бы для Алексея ужасные последствия, но к тому времени у отца вполне созрел план заграничного обучения и женитьбы сына. И то и другое, как наверняка, полагал Петр, смогут оторвать Алексея от старых его симпатий и ханжества. И из сына удастся еще сделать не только наследника, но и продолжателя гигантского отцовского дела.

Петр на это очень надеялся.

33

Такое письмо не могло не обрадовать сына. Но на письмо надобно отвечать. Однако, как только сын берет перо и бумагу – уверенность и радость покидают его. Ибо сам собою, без зова и спроса является батюшка – высокий круглоглазый, с властным горящим и быстрым взглядом, и уже никакого покою нет. Рука начинает дрожать, мысли спутываются в клубок и распутывать его у сына нет никаких сил. И из-под пера появляются нечто путанное, дрожащее и боязливое, чем определенно отец будет недоволен: «Любезный батюшка, получивши письмо твое, где ты пишешь про переводы, спешу отписать тебе, что учиться фортификации по указу твоему начал, также и лечиться. (А лечение – это явно на тот случай, если батюшка будет чем-то очень недоволен. – Ю.В.). И далее: «А что изволишь писать о книжке, какую

мне прислать, то я прошу об истории какой, а иной не чаю себе перевести».

Какую книгу для перевода прислал отец сыну, и прислал ли вообще – автору неизвестно. Да и вряд ли все это в тот момент имело значение. Ибо с конца лета 1709 года для Алексея начинается иная жизнь. Совершенно непохожая на ту, которую сын Петра вел до сих пор.

34

А раз так, то самое время подвести некоторые итоги. Итак.

К лету 1709 года царевичу удалось полностью восстановить хорошие отношения с отцом. Туча, взошедшая на их общее небо в связи с поездкой сына в Суздаль, разошлась. Но некая особая позиция царевича уже определяется. Алексей в первой половине 1709 года конфиденциально пишет Якову Игнатьеву: «Король шведский намерен идти к Москве и от батюшки послан к вам Иван Мусин, чтоб город крепить для неприятеля, и буде, войска наши при Батюшке сущия, его не удержат, нам нечем его удержать; сие изволь при себе держать и иным не объявлять до времени и изволь смотреть места, куда выехать, когда сие будет».

Читатель может думать по поводу этого письма, что хочет, а автор думает вот что: это письмо – не что иное как поручение, данное по своей, царевичевой воле и независимо, и даже в тайне от отца. Царевич строил свою линию спасения на случай поражения, которого он, судя по тону и содержанию

письма, совсем не исключал.

Хотя внешне все было отлично. На вполне безоблачные отношения отца и сына указывает красноречиво описание триумфальных ворот, воздвигнутых на купеческие деньги в Москве для встречи полтавских победителей. В числе прочих изображений на воротах имелось изображение царевича Алексея Петровича «на орле, царском знамени взлетающего... в большое мужество, имущего же молния на убиваемого льва, знаменующи, яко пресветлый государь-царевич в Отечестве своем быв, уготовлял воинство в чуждую ограду... льва шведского к побеждению посылаше». Тон описания, как мы замечаем, весьма льстивый, который только и может иметь место в отношении почитаемого наследника престола.

Так что, пока все было хорошо.

Часть третья

в ней повествуется о первой поездке царевича Алексея Петровича в Европу, его учебе и женитьбе

1

Гром грянул. Летом 1709 года. Громыкнул страшными раскатами из письма, которое отец прислал сыну. В письме значилось следующее: «Зоон! Объявляем вам, что по прибытии к вам князя Меншикова ехать в Дрезден. Меншиков вас туда отправит, и кому с вами ехать – прикажет. Между тем приказываем вам тако же, чтобы вы, будучи там, честно жили и прилежали более к учению, а именно, языкам, которые уже учились – немецкому и французскому, так и геометрии и фортификации, а также отчасти и политическим делам. А когда геометрию и фортификацию скончишь, отпиши нам. Засим управи Бог путь ваш. Vater Peter».

Такое вот письмо. Настоящий гром с молнией. Хотя и невозможно представить дело так, будто Алексей Петрович ничегошеньки о предстоящих переменах не знал. Но уж что совершенно точно – так это то, что он этих перемен не хотел, страшился их, не готовился к ним и потому-то они его так напугали, хотя виду испуганного он, конечно, на людях старался не показывать. На людях надобно было собираться в дорогу и ожидать Меншикова. Только в кругу «своих» Алексей давал себе волю: плакал, даже рыдал, хватал себя

за голову, и, не скрывая ужаса своего перед неизбежной уже теперь крутой переменой в жизни, спрашивал – то ли себя, то ли других... «Что же делать? Что же делать? Боже милостивый, что же делать?».

Но вразумительного совета поначалу никто из своих дать не мог. Все дружно вздыхали только. Выхода, казалось, не было.

И вдруг...

В то время, когда приказ отца был получен, но Меншиков еще не явился, – и мелькнула эта идея. Кем она была впервые высказана, Алексей Петрович сказать не мог. Не помнил. Помнил только когда она появилась: аккуратно, когда ждали Данилыча. Но раз появившись, она уже никогда, до самого действия из головы царевичевой не уходила, а только силилась, росла и крепла, пока, наконец, не разрослась и не укрепилась настолько, что уже не о чем другом, кроме неё царевич думать не мог.

Он помнил, что сидели в сумерках и огня не зажигали... Кто? Может, Яков Игнатьич был... Не мог не быть, поелику рядом был всегда; Вяземский был, Кикин... А может Кикина еще и не было... Он хорошенько не помнил.

Так, значит, сидели у царевича. Он все вскакивал да садился. Или, вскочивши бегал вокруг стола: «Что делать, да что делать?»...

И вдруг – кто-то, а кто, повторяем, царевич не упомянул, – возьми да и скажи:

– Что делать, что делать?.. А ты – как выучишься – не возвращайся вовсе!

– Как это? – не понял сначала Алексей Петрович.

– А так... Спрячься. Народу там, слава Богу, много... Уезжай куда подале. И всё. И сиди там тихонько. И жди. А как батюшка во Бозе почиет, так ты и объявишься: «Вот, мол, я!».

Наступила тишина. Довольно долгая. И только после неё Алексей тихо ответил:

– Этого не можно. Этого не можно. Это измена. Этого нельзя.

Вот что было сказано. Больше вслух этот вариант еще долго не обговаривался. Но можно с очень большой вероятностью предположить, что вариант этот, повторим, в голове у Алексея Петровича угнездился. Не мог не угнездиться. И не только в его голове. Но и у других в головах угнездился тоже.

2

Петр был постоянно и плотно занят. Так что поговорить с сыном наедине, да еще душевно, – это надо было исхитриться. Да и то – не каждый день выходило. На что уже на это Марта была мастерица – бывали и у неё неуспехи.

Придет, бывало, хотя и в сумерках уже, а царская палатка – светла, как днем. И народу в ней, и накурено – ужас как. Сунется, бывало, а он досадливо ей: «Пошла, пошла прочь, дела у меня, не видишь, что ли?». Не зло, шутивно, но отказывал. И твердо. Бывало, что и за полночь далеко ожидать

приходилось, и холод ночной до костей добирался.

Хотя в этот-то раз по-другому вышло. Повезло ей. Петру показали пленного шведского офицера. Допросили при нем. И он, Петр, как видно было, немало хорошего для себя узнал, потому как развеселился, велел принести вина, выпил и шведа пленного попотчевал. К нему-то, к веселому Петру и подластилась Екатерина:

– Можно к тебе, мин херц?

– Можно, можно. Нынче все можно! Входи! Вчера, скажем, было нельзя, а сегодня – можно... Что у тебя, сказывай?

– За перстенечек хочу спасибо сказать...

– За какой перстенечек? А, этот... Полюбился он тебе?

– Еще как полюбился...

– Ну и носи на радость...

– Я не могу так...

– Как «так»?

– Балуешь ты меня. А тебе... чем я тебе, Великому Государю сподобилась, всего только пасторская прачка и... и драгуниха?

– Ну... И ты меня щедро одариваешь...

– Вы все шутите, Ваше Величество! Радую я вас не часто. Я знаю. Но нынче добрую весть все же принесла. Будете рады.

– Да ну? И чему же?

– Я письмо получила.

– А от кого? От родичей твоих? Так они читать-писать,

поди, не умеют... Или как?

– Не от родичей...

– А от кого?

– От сына Вашего...

– От... от кого? – чистосердечно изумился Петр.

– Вот Вы удивляетесь... А не надо бы. Он ведь мой крестный. Вот и написал... крестнице.

– И что написал?

– Вот. – И Екатерина протянула Петру листок.

Петр взял его, и, наклонившись к сильно горевшей свече, стал читать. Потом, наверное, еще раз прочел. Подумал. И сказал, вернее, спросил:

– Просит, значит, осведомиться?

– Вы на него гневаетесь?

– Еще бы!

– За что?

– Э, да что там говорить... Не такого я себе наследника желал бы...

– Чем он-то плох?

– Мамкин сыночек...

– Да ведь он, как есть, еще малый недоросль...

– Все одно плох...

– Время есть еще. Можно поправить.

– Как?

– Навали на него дел всяких-разных поболе.

– Уж наваливал.

– И как?

– Знаешь, ведь. Везти – везет, но без охоты рьяной.

– Мал еще. Слабенький. Ты сам и сказал – мамакин сыночек... А ведь мать-то его, я знаю – в монастыре.

– В монастыре. В Суздале. В Покровской обители. Уже одиннадцать лет там...

– А сколько Алексею было, когда ее постригли?

– Сколько? Пять, что ли. Не помню уже...

– А ведь он её помнит...

– Вестимо, помнит. А теперь, вот, будет помнить еще крепше. Его не так давно в Суздаль к ней возили, говорил я тебе?

– Говорил.

– Тайно от меня, отца. Оттого и гневаюсь на него, что не сказал.

– А он, я чаю, и не ведал, куда его везут.

– Не ведал. В дороге только сказали.

– Значитца, и вины на нем нету.

– Нету? А почему мне тотчас не отписал? А запирался отчего?

– А кто возил, знаешь?

– Возил-то знаю кто... Да он-то так – трус и только. Сказал, что сам по своей только воле и повез.

– Врал?

– Врал. Вестимо, врал. Да и не он мне нужен. Другие. Которые ему приказали.

– Ну и вели его свезти в Преображенское. Пусть его там тряхнут как следует.

– Вот спасибо! Надоумила... А ведь как я его возьму, другие попрячутся так, что днем с огнем не сыщешь. Нет. Надобно потихоньку. Всех прознать, а потом уже разом и брать. Однако, не беда. Возьмем, дай срок. Беда в другом.

– В чем же?

– Другого наследника у меня нет. То и горе. Кабы был у меня на замену еще сынок, по-другому все было бы. Хоть какой. Хоть даже и младенец... Тогда, может, и Алешка был бы другим. Эх!

И столько тоски было в этом царском «Эх», что Марта-Екатерина даже вздрогнула. Но скоро взяла себя в руки и, подсевши к Петру, стала гладить ему голову, перебирать волосы, успокаивать. И успокоила. Повелитель уснул. Тогда она выглянула из палатки и показала часовому-преображенцу знак: приложила указательный палец к губам – тихо, мол, царь почивает и, воротившись к Петру, легла, свернувшись калачиком на денщицком месте – у Петра в ногах. И уснула. И не стала спрашивать – куда девался денщик государев. «Коли нужно станет – разбудит, да и все»... , решила она, засыпая.

3

Между тем – Александр Данилович Меншиков находился уже совсем недалеко от Москвы. Поручений царских у него было немало. Наиглавнейшим делом считалось доставление

в Москву в целости огромного обоза шведских трофеев, взятых частью под Полтавой, а большею частью – под Переволочной.

В обозе том было много всего: пушки, масса строевых и обозных лошадей, много зарядных ящиков, большое число грузовых повозок и фур, а в них: и обмундировка солдатская, и ружья, и шпаги, и пистолеты, и штандарты армейские шведские, и хоругви мазепинские... Все это тянулось нескончаемой чередой. Так что бывший в голове обоза Александр Данилович, к радости своей, как ни силился – хвоста обозного не видел. А ведь немалая часть трофеев была оставлена в наших частях и стала русским военным имуществом – к примеру – солдатская обувь или свинец оружейный.

4

Александр Данилович повсему-поэтому не просто был доволен. Его буквально, распирало от радости. Оттого-то, когда наутро, по прибытии в Москву, он завтракал вместе с Алексеем в своем московском доме, – завтракал вполне по-европейски, с салфетками и лакеями за спиной, улыбку он и за столом не унимал: она красовалась на его лице, как явное свидетельство полной и не проходящей радости. Однако, в конце уже обеда радость на лице его вдруг вспыхнула так, словно и без того яркие угли в костре полыхнули ярким пламенем.

– Имею царское для сына повеление! – сказал он громко

и значительно.

– Какое? – не скрывая страха, спросил Алексей.

– Готовься, Алешенька, в дорогу!.. Да не бойся ты... Новую жизнь начинаешь, понимаешь? Надлежит тебе в скорости ехать в саксонский город Дрезден. Царь-батюшка велит тебе учиться в этом... как его... в уни... в универси... в университете – вот! Грамотеем станешь! Чего дрожишь... Радоваться надо! Ведь сие для тебя – не новость? Ведь он – тебе об сем писал? Писал, нет?

– Ну писал...

– Стало, ты об сем ведаешь?

– Ну ведаю...

– А коли ведаешь, и все это для тебя – не новость, давай тогда по-военному. Три дни тебе на сборы даю. Люди поедут с тобой – самые лучшие! Чего нюни распустил? Ты – самого-самого еще не ведаешь. – И Меншиков сделал нужную паузу. – Как узнаешь – слезы сразу высохнут... Держи нос кверху!.. Женишься ты, понял, нет? Батюшка тебе невесту сыскал! Да ты не рад, что ли? Не рад? В жизни не поверю! Чё молчишь?

– У меня своей воли нету. – Как батюшка скажет. – тихо ответил Алексей.

– Истинно так и есть! – сказал Меншиков. – Все мы суть рабы Его Величества; что он велит, то мы исполняем. Посему – ехать тебе, Алексей Петрович в Дрезден немедля. И поедешь ты не один. С тобою ближними будут двое: князь

Юрий Юрьевич Трубецкой и молодой граф Александр Гаврилович Головкин. Ясно тебе? Ты, может, спросить захочешь – почему этих, а не иных господ с тобою посылают? Так отвечу. Персон сих батюшка твой одобрил вполне. Ибо считаются оне за честных и обученных и благородных, способных хранить и исполнять все то, что отношение к славе государственной и к особенному интересу его Величества имеет. Далее. Они будут с тобою неотлучно. И спать будут в одной комнате с тобою, и есть, и пить. И на учении сидеть станут, и гулять с тобою – охранять тебя. Буде же захочется тебе вина али пива выпить – выпьют с тобою и вина и пива. Но допьяна тебе набираться зельем не дадут. На то им строгий приказ даден. Внемли также: волю твою сполнять будут прилежно, но от негодных действий удерживать также всесильно, и на благую стезю направлять тебя с тщанием, елико возможным. И писать от себя им указано – хорош ты али плох там будешь...

Меншиков засмеялся вдруг весело и хлопнул Алексея по плечу легонько – меру знал...

– Чего загрустил? Печалиться тебе не след. Каждый час должен ты помнить и не забывать николи, что батюшка тебя в преемники готовит. Посему и должен ты волю отцовскую исполнять в точности. И чем прилежней ты станешь учиться, и тем самым ко венцу царскому себя готовить, тем больше от батюшки милостей иметь будешь. А ныне батюшкина к тебе милость да любовь воистину безмерны. Ведь вот он

и невесту тебе сыскал высокой крови, герцогиню немецкую. Она – девица образованная, языки знает, политесу в тонкости обучена. А хорош ли ты будешь, коли на пальцах с ней объясняться станешь, да за столом сопеть, да в танцах ей на ножки наступать? Нехорошо... нехорошо будет...

– Да что ты, Александр Данилыч – все одно и то же мне долдонишь: нехорошо, да нехорошо... Я и сам знаю, что мне делать надобно! – с резкою досадой сказал Меншикову царевич. – У меня и в мыслях нет, чтобы батюшку послушаться. Приказал он мне учиться в этот... Дрезден ехать – поеду и стану учиться. А прикажет: «женись, на ком скажу» – женюсь, на ком скажет, безропотно. Будь она хоть даже страшилище морское.

– Но вот и славно, вот и хорошо! – воскликнул Меншиков и продолжил уже беспяфосно:

– Я, Алешенька, всегда помню – кто ты есть, и пугать тебя не пугаю вовсе, а токмо волю царскую исполняю в точности.

– И посему, – ухмыльнулся Алексей, – соглядатаев за мной посылаешь. Да?

– Не соглядатаев вовсе, а хранителей.

– Неужто у короля Августа не хватит мочи меня от опасностей оборонить? Хватит!

– Давай, Твое Высочество, разговор сей прекращать. Ты волю царскую знаешь? Знаешь. Исполни. А у меня своя царская воля имеется. Мне ее исполнять надобно. И я ее ис-

полню.

Слова эти Александр Данилыч без улыбки произнес, даже холодно.

5

Должно был явиться в университет к началу сентября по немецкому счету. Но поскольку гнали не шибко, то, конечно же, опоздали.

Здесь, в эту паузу действия, пока основная персона наша – Алексей Петрович добирался до Дрездена имеет смысл поведать читателю подробнее о конвоирах.

Они заметно различались по возрасту. Если Александру Гавриловичу Головкину было около двадцати – почти что ровесник царевичу – то князь Юрий Юрьевич Трубецкой был вполне зрелым мужчиной и в 1710 году имел более сорока лет отроду. По чину по старому, или, по старине, как тогда говорили, – он был комнатный царский стольник. И образован весьма. И не раз исполнял царские поручения.

Десять лет тому назад, когда Петр только еще думал начать войну против Карлуса свейского, расторопный Юрий Юрьевич Трубецкой был послан с особой миссией в Берлин. Миссия его состояла в том, чтобы попытаться уговорить курфюрста, но пока еще не короля, а только герцога Прусского – Фридриха-Вильгельма выступить в союзе с Петром против Карла XII. Сделать это Трубецкому не удалось. Курфюрст струсил. Но милости царской по этой причине Юрий Юрьевич не лишился. И вот – десять лет спустя заполучил но-

вую ответственную от Петра задачу: сопровождать наследника московского престола Алексея Петровича в саксонский город Дрезден ума набираться.

Что касается Александра Гавриловича Головкина, то он, хотя и сын канцлера, но в то время никакой заметной роли не играл, а был просто помощником Трубецкого. Но уже через несколько лет он стал врагом царевичу, поскольку имел отношения к составлению брачного контракта Алексея Петровича и Софии Шарлотты. Но это – позже. А пока о нем особенно много говорить не придется. Так, разве только по мелочам каким.

6

В тот год осень в Саксонии была поздняя. В сентябре царило еще прекрасное немецкое лето. То есть было вполне тепло, деревья стояли без признаков желтизны, рынки в городах и городках были полны плодами полей, садов и огородов, а каждый саксонец в эту пору уверен, что жизнь хороша и даже очень.

В это-то время и въехали в Дрезден – прочная, просторная, хотя и немецкая, уже немодная карета четверней и еще две коляски попроще. В них и появились прибывшие из далекой Московии более десятка людей с кучерами – царевич Алексей Петрович, его спутники и слуги.

Первую неделю приезжие русские прожили в гостинице «У Якоба» на Ратушной площади. А спустя неделю наняли небольшой двухэтажный домик буквально в шаге от универ-

ситета. Причем, уже через день после приезда царевич должен был явиться на занятия.

7

Порядок дня для царевича в Дрездене был установлен такой. В семь часов утра его поднимали. Алексей, вообще говоря, поспать любил, и получал от этого немалое для себя удовольствие. Поэтому, когда его все-таки будили в семь, он, еще толком не проснувшись, начинал хныкать, упираться, ругаться, не стесняясь совершенно словами и прочее. Быстро привыкнув к такому началу дня, Трубецкой и Головин были непреклонны. И поэтому в восемь утра Алексей был всегда уже умыт, одет, и садился за стол завтракать.

За завтраком наследник русского престола энергично требовал пива. При этом он снова громко ругался, топал ногами, размахивал руками, норовя задеть кулаком Александра Головкина, поскольку Ю.Ю.Трубецкого побаивался. Он также почти каждый день грозился отписать отцу «как его морят здесь голодом» (к слову сказать, не написал ни разу), но князь и граф не уступали ни на йоту, и за завтраком Алешенька не получал спиртного ни капли, как не старался.

В девять часов утра царевич Алексей Петрович вступал, наконец, под своды главного Саксонского храма науки. Его сопровождал при этом Головкин. Оба прилежно пребывали под упомянутыми сводами иногда и до пятого часу пополудни. При этом царевич чувствовал за своей спиной постоянное дыхание своего стражника, так что, хотя и очень хотел

– ничего из заведенного порядка изменить не мог. Приходилось и отсиживать, и выслушивать, и даже записывать положенное.

Способности к учению у Алексея Петровича были. Как мы понимаем сегодня – выше среднего уровня, хотя и без особого блеска; но энтузиазм в учении отсутствовал начисто. То есть можно сказать так: если можно было бы не учиться, царевич не учился бы. Но не учиться было нельзя. Оба титулованных царевичевых соглядатая эту черточку в отношении наследника к учебе заметили очень скоро. Заметили и пришли к общему мнению, что Алешенька научится всему, что надо без особого напряжения, но...

Но следить за ним надобно во всякое время, – и очень внимательно. Практика показывала – достаточно проморгать даже полчаса, он и на полчаса отвяжется. Как-то проморгали – и царевич уже в пивную – нырь! И кружечку, а то и две точно навернул. А пивных погребков в Дрездене и тогда было великое множество. А не будь рядом пива – так он с успехом мог и стаканчик прозрачного мозельского винца глотнуть. Очень даже. Этого добра в городе тоже было в изобилии.

8

Информация из Дрездена к царю-батюшке Петру Алексеевичу отправлялась регулярная и... правдивая. Царевич это знал, и горькая досада от бессилия что-либо изменить сполна выплескивалась на сожителей.

– Что, кляuzu готовишь? – раздраженно спрашивал Алек-

сей вечерами, иногда уже из постели, Юрия Юрьевича, заметив, что тот вот-вот сядет за стол с бумагами, пером и чернилами. – Донос батюшке строчить станешь? – И продолжал сварливо:

– Пиши, пиши, обо всем пиши, ничего не забывай... Напиши, наприклад, что я нынче с утра посрать хорошо сходил – и это батюшке будет радостно... Негодяи, как есть, негодяи – оба! И старый, и младый! Воздуху свежего лишили меня вовсе! Хоть бы гулять вечерами выпускали... А то ведь от книжного духу у меня чахотка, может, скоро откроется. Заболею и умру в муках; а коли умру – что вы тогда батюшке отпишите, чем оправдываться станете?

Читатель сам уже почувствовал: в этих царевичевых тирадах ощущалось немало смешного. Алексей юмора не гнушался и хорошо его понимал. Нередко и титулованные соглядатаи тон его подхватывали и получалось очень весело:

– Так ведь мы Твое Высочество отпускали уже гулять. И не раз. Пока не зареклись. Потому как наследник престолу сразу пиво бежал пить, либо вино. Вон как немцы-то гуляют – чинно-благородно, цветочки дамам дарят... А ты? Не так давно не мы ли тебя, Алексей свет-Петрович силою из веселого дома фрау Кёллер едва вытащили? Что ты при том, пьяным будучи, кричал – вспомнить ныне и то стыдно...

– А я не помню! – громко смеялся в ответ Алексей. – Неправда ваша! А коли и правда, так озаботьтесь тем, чтобы я мог нужду свою мужскую справить... Озаботились? Нет.

Так озаботьтесь – бабу сюда мне приведите! Я – заплачу! У меня денег много!..

Царевич весело смеялся, и его караульщики смеялись тоже.

9

... Так вот и шли для них в красивом городе Дрездене – день за днем. По саксонской станице же ходило немало слухов. Вот, скажем, слух о том, что герцог, наконец, решил достроить дворец. «Деньги, что ли появились! – рассуждал обыватель. – Наверное. Откуда? А царь снова дал. Везет герцогу... А интересно, что бывает на небесах изменникам? Все-таки царь излишне добрый человек. О его жестокости много пустого болтают. Ведь он непременно должен был нашего толстого Августа ныне с порога метлой приказать прогнать. А он – снова взял герцога в союзники... Чудеса! Нет, все-таки этих русских понять очень трудно»...

Эти и подобные им слухи достали и русских ушей. Александр Головкин, поскольку отец его долгое время занимался иноземными делами, а сам Александр с отрочества с большим вниманием слушал отцовские суждения – теперь и сам комментировал ситуацию – активно и занимал слушателей полным знанием существа дела:

– Почему Государь наш сызнова к Августу лицом повернулся? – Отвечу легко. Нынче войны без союзников не ведутся. И хотя цена нынче Августу – грош и не более, но все может помочь – хотя знакомствами. Ведь кто нам благоскло-

ние цесаря Карла дал? Август. Он в европейские дворы вхож и всюду свой: через него и нашенское местечко в Европе махонькое найдем.

На что Трубецкой резонно возражал... «Нам теперь Август – что? Пустое место. Русские пушки и батальоны в Померании ноне сто крат полезнее Августа будут».

А заканчивались эти вечерние беседы, как правило, снова на пивную тему, ибо по вечерам царевич снова начинал клянуть выпивку. Но, понятное дело, – ничего не получал. Хотя, вообще-то, интересно: а когда, все-таки, царевич имел возможность выпить пиво в Дрездене? Был такой день? Отвечаем: был. Воскресение.

10

Надо, однако, заметить, что весьма скоро – через каких-то три месяца столь строгий и изнурительный для наследника режим был значительно смягчен. Почему? Да потому, что две задуманные первоначально как параллельные и независимые задачи – учеба и женитьба, показали свою зависимость друг от друга. Точнее говоря – женитьба не могла ждать окончания учебы. И тогда...

И тогда сначала была значительно разбавлена уроками музыки и танцев процедура основного обучения. А потом и вовсе – и Алексею и его людям было велено переехать в Краков. Дрезденский академический период закончился. В Кракове надлежало и геометрию, и математику изучать практически – в приложении к фортификации. Это, скорее всего,

решил батюшка. Традиционный университетский курс оказался ему длинным и ненужным для наследника московского трона.

11

Университет в Кракове в начале 18 века был не очень большой, но известный. Уже ясно, почему царевичу не пришлось тянуть истинно-студенческую ляжку, слушая только что-то вроде спецкурсов – лишь для него или почти лишь для него. Повторимся: такая организация обучения была устроена с полного отцовского одобрения. Однако причина такого одобрения не только в том состояла, что торопились с женитьбой. Отец, скорее всего, полагал, что неизбежную нехватку знаний сын восполнит потом, самостоятельным образованием, так как это делал сам Петр. На это отец рассчитывал. Но расчет его – не оправдался. Сын был не то, что отец. Совсем не то. Яблоко в данном случае упало далеко. Если Петр, что общеизвестно, был в высшей степени энергичен, целеустремлен и обладал мощной волей, то – мы уже понимаем это – сын энергию кругом не источал вовсе, целеустремленностью характерен не был, а что касается воли, то её, надо полагать, у Алексея вовсе не было. Такой был человек.

Более того. Как мы выяснили, в Кракове вообще никаких занятий, как таковых, – организовать не особенно стремились. Потому что уже в феврале царевич Алексей получил приглашение польского короля погостить в Варшаве. Алек-

сей приехал и погостил. Из Варшавы, правда на краткое время, он приехал снова в Дрезден. Но, как видно, регулярная учеба до того утомила царевича, что он стал жаловаться на слабость здоровья. Его посмотрели дрезденские врачи и заподозрили то, что мы сегодня называем туберкулезом. Переполошились все изрядно. И немедленно устроили Алексею Петровичу поездку в Карлсбад для поправки здоровья.

Его повезли из Дрездена в Карлсбад, минуя немалое число городов и городков. И в одном таком городке была сделана остановка, вынужденная, по причине легкой поломки кареты. Городок назывался Шлакенверт. И во время остановки случается происшествие, далеко превосходящее поломку кареты: он видит здесь свою суженую.

Можно, конечно, было бы сказать, что свидание произошло совершенно случайно. Однако согласитесь: будущие августейший жених и невеста не могут встретиться случайно; даже когда их встреча и выглядит как случайная, она, конечно же, бывает устроена.

Как устроена? Давайте попробуем это вообразить.

Итак – ехали из Дрездена в Карлсбад...

12

Карета – очень поместительная, но тяжеловатая, в какой разъезжали по Европе наши русские, доехала до поломки, конечно, из дому, но изготовлена была с надлежащей немецкой тщательностью настоящим немцем в Риге. Но давненько. Поэтому, хотя она и довольно резво еще катила, с ней

уже начали случаться происшествия. Вот и на пути из Дрездена, когда проезжали помянутый Шлакенверт, на самой его главной, Церковной площади, прямо против ратуши – маленького полутораэтажного зданища с непременной башенкой и часами, у русской рижской кареты треснула вдруг задняя ось. О чем и возвестил громко кучер.

Поскольку шел небольшой дождь, господа и слуги резво побежали в открытые двери трактира. В трактире было довольно много народу: не только посетители, но, видимо, и прохожие, которых согнал с улицы дождь. Так, по крайней мере, думал Алексей Петрович. Будь он в тот момент повнимательнее, он, наверняка заметил бы, что в маленьком трактире многовато людей в чистой, даже в роскошной господской одежде. Но царевич этого не заметил. Потому что сильно раздосадован был остановкой. Он побледнел, глаза его уже холодно загорелись: это верный знак надвигающегося гнева – настоящего, августейшего, безудержного.

– Успокойтесь, успокойтесь ради Бога, Ваше Высочество, – зашептал, изо всех сил сжимая царевичево запястье Юрий Юрьевич Трубецкой. – Не извольте гневаться. Люди кругом. И некоторым Ваша особа известна.

– Ну и что с того? – довольно мрачно ответил Алексей Петрович. Гнев его все не проходил.

И вдруг – совершенно неожиданно, разодетый в роскошный камзол, в свеженапудренном парике и туфлях с начищенными серебряными пряжками – появился ...Гюйсенс.

Со всею возможною учтивостью, поклонившись Алексею, блиставшему измятым дорожным костюмом и грязными башмаками, он взял царевича под руку и отвел несколько в сторону.

– Вы откуда? – удивленно спросил Алексей.

Гюйсенс отвечал по-немецки, вынуждая этим наследника перейти на немецкий язык тоже:

– У меня здесь важное дело. Встреча. Между прочим... Эта встреча прямо касается Вашего Высочества... Извольте посмотреть туда, к окну... Видите, сидит в кресле молодая особа в дорожном плаще... Видите?

– Ну, вижу. – все еще мрачновато ответил Алексей. И спросил, выказывая совсем незначительный интерес:

– А кто она? Вы знаете?

– Знаю. Это... Сохраняйте спокойствие, Ваше Высочество... Это – определенно Ваша будущая невеста и жена – София Шарлотта, принцесса Вольфенбюттельская.

– Да? А вы не ошиблись?

– Нет, Ваше Высочество, не ошибся. Не далее, как час назад, я сам сопровождал её Высочество в этот убогий трактир. Немцы почему-то решили, что первое знакомство должно выгладеть как истинно случайное.

– Но почему?

– Честно отвечу Вам – не знаю. Это решили немцы.

– Какие немцы?

– Ну... сторона герцогини.

– Почему? – снова чистосердечно удивился Алексей Петрович.

– Не знаю определенно. Могу только догадываться, – ответил Гюйсенс, пожав красноречиво плечами.

– И о чем же Вы догадываетесь, барон?

– Догадываюсь, что это – не больше, чем каприз герцогини. Она, видите ли, хотела на Вас просто посмотреть...

– Как на прохожего, что ли?

– Если Вам угодно, именно, как на прохожего. Вернее, как на проезжего.

– Но ведь батюшка все уже решил.

– Девичий каприз, не более.

– И что же – ей меня уже показали?

– Да.

– Кто?

– Я, Ваше Высочество. Я показал Вас в окно, когда Вы выходили из кареты.

– Вы плут, Гюйсенс.

– Ни в коем случае. Я – слуга его Величеству – Вашему отцу и Вашему Высочеству. И смею думать, честный и благородный.

– Я знаю. Это только шутка. А скажите, я ей понравился?

– Несомненно. Держите себя в руках. Сейчас мы к ней подойдем...

– Я – спокоен. А вот Вы, похоже, разволновались... Так?

– Так, Ваше Высочество.

– Отчего?

– Боюсь, Вы разочаруетесь. – Барон вздохнул. – Немцы говорят: «Wer “a” sagt, muß auch “b” sagen». Да? “А” уже сказано. Принцесса Вас увидела. Придется теперь говорить “В”. Пойдемте.

И они пошли к окну, где сидела в кресле София Шарлотта. Немедленно вся, скопившаяся в ожидании того, когда закончится дождь, публика, расступилась, и все учтиво поклонились. И Алексею стало ясно, что все они – неслучайные прохожие, а придворные.

Алексей сделал несколько несмелых шагов по направлению к окну и поднял глаза.

И едва не вскрикнул.

И было отчего.

13

Принцесса была рябая.

То есть, конечно же, следы оспы были тщательно, даже мастерски спрятаны под кремом и пудрой. И все же следы оставались весьма заметны.

А в следующие мгновения Алексей вдруг почувствовал железные, в полном смысле слова, пальцы барона Гюйсена на своей руке выше кисти. Это был понятный сигнал – держать себя в руках. Послышался его журчащий голос. Барон перешел на французский.

– Позвольте, Ваше Высочество, принцесса, представить Вам Московского царского престола наследника, Его Высо-

чество царевича Алексея Петровича.

Собственного знания французского Алексею Петровичу хватило, чтобы понять сказанное бароном. И Алексей, снявши шляпу, со всею возможною учтивостью поклонился принцессе в три темпа, как учил его Гюйсенс. Мельком бросив взгляд вправо и назад, туда где стоял наставник, Алексей успел уловить на лице учителя своего быструю улыбку: тот был доволен и сказал, теперь уже обращаясь к Алексею, по-немецки:

– Ваше Высочество, я имею прекрасное удовольствие представить Вам Её Высочество принцессу Вонфельбюттельскую Софию Шарлотту.

В ответ на глубокий реверанс будущей невесты, Алексей снова учтиво поклонившись, сказал фразу вполне подходящую случаю по форме, но крайне лживую по содержанию:

– Я слышал о Вас, Ваше Высочество, много хорошего. Надеюсь, что в качестве представленного Вам кавалера и благородного человека я никогда не доставлю Вам причин для неудовольствия...

Все. Больше царевичу не дали сказать ни слова. Слова были более не нужны.

Знакомство состоялось.

Когда барон Гюйсен, буквально лопавшийся от радости, оказался в царевичевой карете сидящим против Алексея Петровича, то, заметим определенно, что наследник свида-

нием вследствие его неожиданности, был буквально ошарашен . Поэтому и вопрос который сводник услышал, был вполне, что называется, не к месту:

– Что Вы здесь делали?

– Ваше Высочество, смогли наверное, уже и догадаться...

Я устраивал Ваше знакомство с будущей невестой, и, как совершенно уверен – с женой.

– Устроили?

– Да, Ваше Высочество, и как нельзя лучше. А теперь у меня вопрос к Вашему Высочеству. Вы позволите?

– Какой?

– Надеюсь, Вам понравилась невеста?

– Нет.

– Отчего же?

– Она рябая, господин барон. Вы видели?

– Видел, и не раз.

– Как же она может мне понравиться?

– Но Вы даже не дрогнули. Вели себя – выше всех похвал.

– Выучен добре. Хороший учитель был. Барон Гюйссен.

Может слышали?

– Слышал... Вы мне льстите, Ваше Высочество!..

– Итак, можете меня поздравить: у меня рябая невеста.

Ура!

– Ваше Высочество, я Вас хорошо понимаю, но наберитесь терпения меня выслушать.

– Полагаете разубедить? Валяйте, слушаю...

– Ваше Высочество должны понять: Вы ведь не крестьянин какой-нибудь... И Вам известно, что такое августейший брак . В нем на лицо не смотрят. В нем действуют куда более значительные силы, чем любовь... или красота жениха и невесты. В таком браке, прежде всего, действует целесообразность.

–И только?

– И только!

– Ответьте мне, барон Гизен...

– Гюйссен, Ваше Высочество, меня зовут Гюйссен, осмелюсь напомнить.

– Нет, Гизен! По-русски будет – Гизен. Ведь Вы служите русскому царю и его сыну?

–Так, Ваше Высочество.

–Ну и скажите мне, барон, какая целесообразность – заключать брак наследника русского престола и рябой девицы?

– Какая?

– Да, какая?

– А такая...

Разговор пошел почти без субординации. У обоих было, что сказать.

–Русским царям давно пора уже прекратить жениться на своих боярынях и княжнах. Все Ваши высокорожденные бояре и князья за тысячу лет перероднились множество раз. Срочно нужна свежая кровь Европы.

– Вот спасибо! – громко ответил, даже почти закричал

Алексей. – Наследник престола огромной державы – и женится... на ком он женится, я забыл?

– Вы, Ваше Высочество, женитесь на носительнице двух титулов: на принцессе Вонфельбюттельской и герцогине Бланкенбургской.

– Ого! И что же это за принцесса такая? У неё – что, огромные земли, да? У неё – огромные богатства, да?

– Нет, Ваше Высочество. Принцесса небогата. И по поводу приданного я пока ничего определенно сказать не могу. Его даже и приблизительно еще не объявили. И брачный контракт тоже еще не обсуждался пунктуально...

– Вот, видите?!

– Вижу. Да, брак неравный. Почти мезальянс. Но он Вашему государю и отцу Петру Алексеевичу – очень нужен.

– Зачем?

– Затем, что сестра Софии Шарлотты замужем за наследником цесарского трона. Ваш брак будет означать очень хорошие отношения между странами на очень долгое время. А, может быть, и навсегда. В Хофбурге к бракам высококровным всегда стремились. Это надо понимать. Наследник русского престола обязан это понимать. Он это понимает?

Царевич молчал. Но не торопился отвечать. Не торопился соглашаться. Однако, выдержав паузу, все же ответил, со вздохом, криво усмехнувшись:

– Понять-то немудрено. – И опять, после паузы короткой: продолжил:

– Что же, буду жить с рябою женою. Дети ведь, рябыми не будут? Нет? Ну и слава Богу! Буду жить, коли батюшка прикажет...

– Вот и хорошо будет! – заулыбался Гюйссен. – Ибо, сколько я знаю, у герцогини – ангельский нрав, она образована, обучена всем деликатным манерам, и чести Вашего Высочества не уронит. Напротив, она будет делать все, чтобы Вы, Ваше Высочество, ни с какой стороны не пострадали.

– Батюшка мне как-то смеялся, рассказывал (настроение Алексея немного поднялось), что на моих крестинах патриарх отказался сесть за один стол с католиком... Теперь – другие времена. Теперь, вот, немку истинную за московского наследника выдают. И ничего!

– Да, Ваше Высочество, времена другие, хотя и лютеранка – не католичка... Но и сейчас – кроме Вашей батюшки никто ничего не решает. Так что Вам остается только одно – ждать.

15

Между прочим – в карете принцессы после всего – тоже не молчали: перебивая друг друга, крича и смеясь, тоже обсуждали это удивительное свидание в трактире. И присутствие принцессы никого особенно не смущало. Ибо она сама весело смеялась и тараторила – едва ли не громче всех.

Статс-дама Софии Шарлотты – баронесса Каролина фон Тилле цу Брандерхоф – полнотелая живая блондинка, сыпала на принцессу множество вопросов, причем, очевидно, изо

всех сил старалась, чтобы её, Каролины, мнение блистало ясно и недвусмысленно:

– Не правда ли, Ваше Высочество, мальчик очень хорош? Высок, строен и учтив – как и следует быть особе августейшей крови?

А камеристка принцессы, совсем еще юная девочка маленького росточка, которую по причине ее роста по имени никто не звал, а звали просто «Курци», что значит, «коро-тьшечка», вставила важно:

– И не подумаешь, что в Москве вырос.

– Наоборот, подумаешь. – поправила малышку Каролина. – Но, видно, Москва сегодня – совсем-совсем другая, если в ней выращивают наследников престола, знающих языки и выучивает их учтиво кланяться не хуже, чем в Версале.

– Я заметила, – опять засмеялась принцесса, – по-немецки он говорит не очень хорошо. Можно услышать ошибки. Но и понять тоже можно.

Принцесса вздохнула и продолжила без улыбки:

– Он не красавец, конечно. Но и не дурной. Обыкновенное лицо. Он на немца очень похож. И не подумаешь, что славянин. Но... Мне выбирать не приходится. Начнешь отказываться, да так и не выйдешь замуж. Спасибо барону Гюйссенсу – нашел для меня жениха. – И добавила тихонько, как бы для себя, так что услышала только «Курци». – Кто же возьмет по своей воле рябую...

– Не печальтесь, Ваше Высочество... Я уверена, что Вы будете счастливы. – так же тихо ответила ей служанка.

16

Здесь надо заметить, что жених и невеста находились – в смысле осведомленности о будущем – не в равных обстоятельствах. Шарлотте, например, родители сказали о возможном браке сразу, как только было подписано самое первое и самое предварительное соглашение – помните – то, к которому причастны оказались датчане в лице барона Урбиха? И дочь тоже сразу высказала потенциальному замужеству свое отношение. Она это сделала в письме матери своей осенью или зимой 1709 года, – отношение, которое только и могла, и должна была высказать некрасивая дочь незначительных немецких государей, самим своим рождением предназначенная для расчетливого и целесообразного брака. Она написала матери, еще не видя жениха: «Московское дело будет успешно завершено». И даже позже, в другом письме опять-таки к матери, летом 1710 года, и опять-таки – еще не видя жениха в глаза, она сообщает об Алексее сведения в форме, которая очень напоминает агентурное донесение: «Он (Алексей – Ю.В.) берет уроки танцев у Потти, а его французский учитель тот же, кто преподает принцу и мне. Он изучает географию, и говорят, что он весьма приятен».

Очевиден вопрос.

Как принцесса могла писать матери первого августа 1710 года «Говорят, что он весьма приятен», если свидание в

Шлакенверте уже состоялось – весной 1710 года? Значит, следует предположить, что свидание произошло в тайне от родителей. Но почему?

Потому что принцессе очень хотелось увидеть Алексея. И это свидание до официального знакомства могло быть только таким, якобы случайным, и втайне от родителей.

И еще одна туманность требует прояснения:

Автор допускает, что именно после шлакенбергского свидания Алексей решает жениться на Софии Шарлотте и просит у отца позволения на брак. Поскольку все давно решил отец, позволение на брак, разумеется, дается. Но почему такой большой промежуток времени прошел от Шлакенверта до отцовского позволения – почти полгода? Ведь даже Алексею Петровичу, который был информирован значительно скуднее Шарлотты – и то с самого начала было совершенно ясно, что отцовскую волю надобно не обсуждать, а исполнять.

У нас имеется на этот счет версия, очень похожая на то, чтобы быть правдой.

Вот она.

«Виновник» паузы – царевич. А пауза нужна была ему для того, чтобы известить о перспективе своей женитьбы друзей в Москве. Вот, что он пишет Якову Игнатьеву после «свидания в Шлакенверте»:

Я «вышеназванную княжну (т.е. описанную мною же теперь уже якобы с чужих слов и скорее всего без упоминания

о том, что она рябая, ибо как мы показали выше, царевич вообще до свидания о рябости ее не знал; порок невесты от жениха скрывали – Ю.В.) уже видел, и мне показалось, что она человек добрый и лучше мне здесь не сыскать».

Что эти слова значат?

Только одно, что Алексей согласен.

Но ведь он и не мог быть несогласен. У него не было ни выбора, ни выхода.

17

Действительно, до чего же медленно развивалось действие! Ведь только более чем полгода спустя Алексей получает, наконец, от отца указания – ехать в Вонфельбюттель знакомиться с родителями невесты.

Это был в полном смысле слова нешуточный шаг – тогда, в восемнадцатом веке. Для того, чтобы его сделать, нужно было много всего. Нужны были деньги. Нужен был дорогой портной. Нужны были опять деньги – чтобы купить хороших лошадей и приличную карету, в которой было бы наследнику русского престола разъезжать по Европе не стыдно.

Деньги по повелению отца сыну были доставлены. Хороший портной тоже был найден и ему хорошо заплачено. В Лейпциге была куплена и пара отличных рысистых мадыарских серых в яблоко лошадей, при одном только взгляде на которых, у Алексея сладко зануло сердце от восторга, ибо в лошадях он понимал. И карета куплена была в том же Лейпциге – небольшая на крепких больших колесах, обитая из-

нутри красивой темно-красной кожей.

В новом дорогом одеянии, в новой дорогой карете, на этой превосходной паре тянувшей указанную карету легко, словно она была невесомой, – нет, честное слово, так появиться в глубине Европы никому не было бы стыдно!

Хотя операция эта – августейший брак – готовилась как дело, безусловно, тайное, но в кругу тех, кто об этой тайне были вполне осведомлены – не скупилась на шутки по поводу молодого московского медведя, который на виду у всех оказался без шерсти и когтей и вполне сносно говорил по-немецки.

18

В Вольфенбюттель въехали второго мая.

Алексей волнуется. Понятное дело, почему: едет в дом невесты. Это – вполне понятно. Но у него есть и еще поводы для волнений. Совсем недавно он получил известие, что 25 февраля сего, тысяча семьсот десятого года в московском Успенском Соборе объявлено было о начале новой войны против султана. Но хотя это известие взволновало Алексея, но было, отчего ему волноваться и более того. Шестого марта отец венчался с этой Мартой-прачкой. Теперь она именовалась Екатериною Алексеевной, но это ничего не меняло: прачка оставалась прачкою, хотя и стала женой отца.

И в связи с этою женитьбою Алексея обуревало еще более значительное волнение: оттого, что у отца в новом браке могут быть еще дети, а, значит, может быть, и мальчик. А ко-

ли так, то батюшка его, Алексея, вполне может и отставить. Отставить. И тогда – прощайте, все надежды на престол. Так что было, отчего волноваться Алексею. Было, было отчего!

Волноваться можно было. Волноваться никто не запрещал. Но надо было и дело делать. Надо было ехать в Вонфельбюттель; надо было показаться там наилучшим образом. Барон об этом все уши прожужжал уже.

Но ведь Алексей сам все понимает. Не маленький. Двадцать лет прожил. Надо, надо показаться наилучшим образом. Здесь все имеет значение: и камзол, и парик, и манеры, и карета, и лошади... и много чего еще. Даже умение красиво есть. Алексей, как мог, все эти хитрости иноземного происхождения превзошел. И теперь, вот, едет на экзамен, на нелегкое испытание в Вонфельбюттель. Да... Как-то его там встретят?..

19

Встречали его великолепно.

На последней станции перед Волфельбюттелем ему свидетельствовали свое уважение дядя герцогини – старейший в роде герцог Вонфельбюттелский Вильгельм – предельно старый и худой, со слабыми своими ногами и неверными, вполне по возрасту, движениями, а также обергофмаршал – весьма тучный и улыбчивый – как он представился: Карл-Вернер фон Таубе. Кроме того, начиная с этой встречи на почтовой станции русских гостей эскортировали восемь чистеньких, очень смуглых кавалеристов, как выяснилось – настоящих

кроатов. У Вонфельбюттельских герцогов не хватило бы денег на постоянно содержание под ружьем даже и полуэскадрона таких вот красавцев. На время встречи важного гостя и этих восьмерых заняли у соседей. Пока, то есть, все шло самым наилучшим образом. Честь оказывали жениху самую наипервейшую.

Алексея с первого дня визита и до самого отъезда не покидало незнакомое ему ощущение – будто все, что он видит вокруг – происходит с ним как бы во сне. И горько было сознавать, что скоро, очень уже скоро сон этот разом прекратится, и исчезнут эти чистые мостовые, приветливые мужчины – поселяне в разноцветных вязаных жилетах и без бород; исчезнут и светлокожие девушки с приветливыми улыбками; исчезнет и вино, холодное и светлое, почти как вода, подававшееся в светлом богемском бокале... Вино Алексей Петрович пил с подносов и у ворот придорожных трактиров.

Ему хотелось, чтобы все это длилось, пусть и не вечно (он понимал, что вечно это продолжаться не может), но очень долго, как можно дольше. Он многого еще не знал. А неприятности его уже ожидали.

20

Алексей ехал к своей будущей жене в Вонфельбюттель и пока еще не ведал, что его брачный контракт... уже подписан. Подписан девятнадцатого апреля. Подписан самим батюшкой и Первым министром Вонфельбюттельским, графом Штакельбергом.

Да-да! И произведено это подписание в маленьком городке Яворов, где Петр сделал короткую остановку, направляясь во главе сорокатысячной армии, которой, как Петр был видимо вполне уверен, ему с избытком хватит для того, чтобы разгромить турок и выйти к Черному морю, так же, как он уже вышел к Балтийскому.

Настроение у Петра во время движения т у д а, на Прут было отличное. И брачный контракт сына тоже представлялся ему отличным. В соответствии с контрактом будущая жена София Шарлотта получала право взять в Россию 117 слуг, причем, двадцать два – только специалисты по лошадям: конюхи, кучера, берейторы и так далее. По контракту она имела и доктора своего, и священника, и даже нескольких поваров среди которых был мастер-соусник.

Так что в Вонфельбюттеле Алексей Петрович с некоторою досадою, которую ему, в общем, скрыть не получилось, только ознакомлен был с контрактом.

В первую голову его интересовало, как отец решил религиозный вопрос, то есть, буквально: что будет делать со своим лютеранством жена в России и каким определят вероисповедание детей, буде они родятся? Решение отца было таким: жена оставалась лютеранкой, а дети должны быть крещены по православному чину.

Как раз здесь имеет смысл заметить следующее. Петр, как мы видим, отнесся к религиозному вопросу в браке право-

славного сына своего с лютеранкой очень мягко, в сущности, либерально. Нам есть с чем сравнивать. Потому что позже Романовы вопрос ставили гораздо жестче: невеста должна была принимать православие. Безусловно. И, начиная с будущей Екатерины II, с того времени, как она прибыла в Россию в качестве невесты Великого князя и наследника престола Петра Федоровича, все инославные невесты русских великих князей безропотно принимали православие. Ибо породниться с Романовыми уже считалось высокою честью. Никто уже не помнил или не вспоминал несчастного графа Голштинского Волмера, которого, в сущности, обманом завезли в Московию при Михаиле Федоровиче, несколько лет держали фактически в плену и без устали уговаривали принять православие, причем так и не уговорили.

Для царя же Петра самый факт династического брака пока был значительно важнее того, какого вероисповедания должна быть невеста сына. Посему он и согласился с тем, что сноха сохранит родительскую веру, а дети (царские внуки), крестятся по православному обряду.

Могло ли это удовлетворить будущего мужа? Отцу он возражать, конечно, не смел, но, будучи набожным православным человеком, лелеял мечту, даже был уверен и говорил об этом вслух окружающим, что со временем, и с его, Алексея, помощью, София Шарлотта обязательно перейдет в православие.

Алексей наверное знал, что поход на турок готовится. Не мог не знать, и был не прочь повоевать, чтобы обрести к репутации сносного кавалера еще и лестную репутацию храбрца. Хотя, прямо скажем, царевич не был человеком воинственным. Но отец не позволил воевать; прислал только коротенькую записочку: «Зоон! Женись, роди мне здорового внука, а потом можешь жизнь свою опасностям подвергать. Vater Peter».

Записка эта, буде она была в действительности – должна была бы больно уколоть Алексея: это что же, отец не считает уже сына в собственных преемниках, так что ли?

Он попробовал разобраться. Под большим секретом показал записку барону. Гюйссен – умный человек – немедленно покраснел, шумно задышал и, держа записку в руках, причем Алексей имел случай заметить, что листочек мелко дрожал, – (Гюйссен волновался), – надолго замолчал. И только после паузы принялся говорить – медленно и вкрадчиво:

– Отец Вас, Алексей, очень любит. Очень. Он мне много раз об этом говорил. А то, что Вы подумали – что он собирается лишить Вас наследства – то это неправда. Ведь царь много раз подвергал и ныне подвергает жизнь свою опасности и о наследстве не думает. Почему? Потому что знает: у него есть сын, который его заменит. И он пишет сыну, чтобы Вы не подвергали жизнь свою опасности. И только. Верно, он пишет и о внуке. Но кто знает, когда внук появится? Ведь отец Ваш уже не молод. И я не открою тайны сыну, если

скажу, что повелитель России очень болен. Очень. Вы знаете?

– Знаю.

– Ну, а если знаете, то думать о нем плохо не следует. Когда внук появится – надо смотреть правде в глаза – батюшка может уже отойти в мир иной,

почить в Бозе, как говорят русские. А мальчик когда родиться – кто скажет? Через год? Через два? А, может, через десять лет, а? А может мальчик и не родится. Девочки будут, а сына не будет. Посему, батюшка и приказал Вам всю жизнь сторониться и избегать боев и сражений. Так что – не извольте беспокоиться на этот счет – любит Вас батюшка или не любит. Любит, любит и трон для Вас бережет!

Алексей после этой убедительной вполне тирады барона немного успокоился. А вот Гюйссен – задумался.

И было – отчего.

23

Барон Гюйссен отлично понял опасения царевича. Он знал, что опасения эти были вполне не лишены оснований.

Дело в том, что он слышал от отца разные суждения по поводу сына. С одной стороны, Петр, конечно, был очень доволен, когда учителя хвалили Алексея. Сын был действительно способен к учению и с хорошей памятью. Но отец хорошо знал и другое: одержимым в стремлении к знаниям сын не был. Радовался открыто, например, когда кто-нибудь из учителей не являлся на урок – по болезни или еще по какой-то

причине.

Гюйссен знал и наблюдал Петра и в те минуты, а иногда и часы, когда отец, нагрузившись изрядно недовольством, а то и гневом монаршим – яростным и неудержимым – возводил на сына горы всякого: и ругани самой скверной, и угроз, и прочих гадостей. И одно дело, если сцена таковая проигрывалась в отсутствие Алексея. И совсем другое, когда в такие вот минуты, сын стоял напротив, опустил голову, плечи и руки. Надолго ему стойкости в таком случае не хватало. Не выдерживал. Молча обрушивался на колени. И слезы тогда текли по его лицу, как вода – потоком.

Вид же сына, покорно стоящего на коленях и плачущего, не успокаивал отца, а напротив, приводил в подлинное бешенство. Глаза его белели от гнева. Он бледнел, искал глазами тяжелую трость, которую кто-то из свидетелей картины предусмотрительно убирал с глаз долой, а не найдя которую – воздевал кверху руки с крепко сжатыми кулаками, кому-то словно угрожая, в сердцах плевал, и уходил, вернее, убегал прочь.

24

Пора, однако, прекратить это вольное отступление от сюжета и вновь вернуться к поездке царевича в Вонфельбюттель. Читатель, скорее всего, уже понял, что она совершалась не только ради знакомства с родителями Софии Шарлотты, но и для личной встречи, вернее, для личных встреч, из которых тоже лепился брак. Хотя, в сущности, Алексей и

София Шарлотта явились только исполнителями родительской воли. Это, конечно, так. Но и не совсем так. Ведь они, эти юноша и девушка, не были манекенами. Ведь и им было очень интересно – как оно все сложится, как начнется их жизнь, теперь уже совместная. Полагаю, что первое их взаимно-преднамеренное свидание по приезде в Вонфельбюттель произошло на втором этаже родового дворца, в овальном помещении, великоватом для обычной комнаты и тесноватым для того пространства, которое привычно было бы именовать залом.

Алексея сопровождал барон Гюйссен.

Когда они вдвоем туда вошли, раздался громкий голос мажор-дома, извещавшего, кто входит – «наследник царской власти в России его Высочество Алексис».

Все встали, но Алексей вставших и кланящихся ему – не видел. Он видел только её.

25

Она – не стояла. Она сидела в кресле с высокой спинкой. Однако, по мере того, как Алексей, сделав общий поклон, начал движение к ней, она отложила веер и спокойно встала из кресла, как раз в тот момент, когда гость приблизился.

Поклоны же друг другу – вполне удались обоим. И в этот же момент царевич почувствовал, как ему подвинули кресло – совершенно такое же, в каком уже снова сидела принцесса и поэтому ему можно было тоже сесть. Что он и сделал.

Теперь он мог вполне рассмотреть ее поближе и подоль-

ше.

Она была молода, бледна и голубоглаза. И он, конечно же, сразу увидел следы оспы. Но – странное дело: теперь, вторично увидев их, он подумал о них как бы вскользь: «Ага, вот и они, рябинки. Понятно». Потому что не они уже приковывали внимание Алексея, а ее... улыбка, которая разом и вдруг, как бы осветила бледное, даже чуть, кажется, голубоватое, лицо ее; от такой ее улыбки сердце его вострепнулось коротким восторгом.

А уж он-то, с темными, только слегла завитыми густыми шатенистыми волосами и совсем недурным ч и с т ы м лицом, показался ей прямо красавцем.

Завязался и разговор, вполне подходящий для того, чтобы быть первым.

– Вы устали в дороге, Алексис?

– Напротив. Совершенно не устал. Дорога от Дрездена была сплошным удовольствием.

– Я очень надеюсь, что здесь у нас Вам очень понравится. Я даже уверена в этом.

– И я в этом совершенно уверен. Тем более, что надеюсь видеть Ваше Высочество как можно чаще.

Она покраснела. Compliment ей понравился. И она ответила, снова наградив Алексея улыбкой:

– Да, конечно. У нас будет время поговорить и узнать друг друга получше... А вы любите танцевать?

– Да, мне это пока нравится. Но я еще далеко не искусный

танцор.

– А я – очень люблю. Хотя не всегда получается. – Она опять улыбнулась, ибо поняла, что ее улыбка ему нравится. – Что же... будем учиться вместе.

Вот такой был их первый разговор в Вонфельбюттеле. И они действительно виделись каждый день. Виделись за обеденным столом, на балах, на вечерах и раутах, на прогулках – пеших и конных. Причем, прогулки запомнились более всего, ибо поглазеть на августейших помолвленных выходило немало народу: немцы приветливо улыбались, дарили цветы, выкрикивали из толпы поздравления с будущим браком, желали благополучия и, понятное дело, детишек.

Барон же Гюйсен должен был – как свидетель почти всех их разговоров – быстро разобрался, как бы мы сейчас сказали, в соотношении сил.

Понял, что принцесса оказалась премного начитаннее Алексея и по-французски говорила – как на родном немецком. Здесь ей жених сильно уступал. Его французский был очень плохой. Но, слава Богу, что по-немецки царевич говорил сносно; так что София Шарлотта очень скоро перестала реагировать лицом на его ошибки. В танцах они были примерно равны. За столом Алексей был практически безупречен, беседу вел разумно.

Визит продлился десять дней. Покидал Алексей свою будущую жену, не скрывая грусти. Из чего в кругу принцессы был сделан радостный вывод, что будущий муж совершенно

влюблен, и что поэтому все идет наилучшим образом, так что большего и желать не стоит. Хотя все в руках Божьих и родительских.

26

Итак – они – Алексей и София Шарлотта – расстались. Ненадолго.

О чем думал он? О том, что дело фактически сделано – и без него, и не для него; о том, что у него будет рябая жена; о том, что получил он ее потому, что выйти замуж «более прилично» у нее шанса не было; что теперь у него будет жена лютеранка; что надо будет терпеть присутствие поганого пастора; о том, что теперь ему придется много говорить по-немецки, и, наверное, по-французски; о том, что невеста его худа, а ему такие женщины не по нраву; о том, как он будет уговаривать ее зайти в православный храм; о том, что она очень робка, а, учитывая то, что и он – «не храброго десятка», нужно потратить немало сил и времени, чтобы как-то притереться друг к другу...

А она? О чем думала она? О том, что Алексис не выдерживает сравнения в политесе даже с небогатыми польскими шляхтичами, и в этом нет ничего хорошего; о том, что будущий муж говорит по-немецки с ошибками, и, как говорили ей, – набожен как старуха; о том, что – об этом ей тоже сказали, – этот русский принц любит выпить, и в этом – тоже нет ничего хорошего; и о том, что она совсем ничего не знает о холодной далекой России, куда ей, рано или поздно – не

миновать ехать.

Мы видим, что в раздумьях обоих было немало различного. Но приходили они – Алексей и София Шарлотта к одному и тому же выводу: делать нечего, надобно смириться, потому что все уже решили венценосные родители.

27

А сейчас автор решает признаться читателю в том, что сделал нелегкий выбор. Раздумывая над тем, говорить ли ему о несчастном Прутском походе, или обойти его стороной, автор решил – говорить. Потому что пишем мы ведь не только об Алексее, но и о Петре. Больше того, мы решили рассказать о походе особым образом. А о том, что и как вышло из нашего решения – судить читателю.

... Не так давно, в 19... году в Рижском архиве было найдено пространное письмо, по-видимому, некоего немца-офицера, бывшего на русской службе, но, судя по содержанию и общему тону письма, не питавшего никаких особенно теплых чувств к русским.

Раздумывая над тем, каким образом это письмо оказалось в рижском архиве, автор не нашел ничего более правдоподобного, кроме как предположить, что письмо это было перехвачено русской почтовой цензурой, перлюстрировано и задержано, причем, о том, что перлюстрационная служба начала в Риге работать, автор письма совершенно не догадывался, иначе не стал бы, конечно, писать столь открыто-критически.

Автор был участником бесславного похода русской армии на Дунай, а после возвращения послал это письмо своему приятелю в Германии. О приятеле этом известно только то, что он носил имя Вильгельм и был сыном аптекаря. Автор же письма нам тоже неизвестен. Он в подписи только назвался по имени – Куртом; но мало ли было в русской армии петровского времени офицеров-немцев по имени Курт?

Письмо показалось нам интересным, и мы решились привести его целиком.

Вот оно, это письмо.

28

Мой дорогой Вилли!

Спешу сообщить тебе, что я жив и здоров. Хотя за короткое время мог быть и убит, мог даже попасть в плен туркам; и они уже посадили бы меня на галеру или продали в рабство. Но ничего этого, слава нашему лютеранскому Богу, не случилось. Но чтобы все рассказать, придется начать изда- лека – с того времени, когда страшный московский медведь, сокрушивший юного шведского короля Карла, вступивший в Европу с бесчисленными своими солдатами и смертельно напугавший европейцев, это настоящие чудовище с неисто- щимой силой и огромным количеством денег, получил, на- конец, удар, от которого, надеюсь, нескоро оправится. Боль- ше того, Господу Богу было угодно, чтобы удар этот нанес- ли ему злодеи и нехристи, магометовы души, а русские, по общему мнению, все же христиане, были сокрушены. Но я

думаю, что это общее мнение следует признать заблуждением. Потому что если Бог Саваоф отдает победу магометанам, значит побежденные – тем более не христиане. И я готов тебе, Вилли, это доказать.

Я живу среди русских не один год. И должен сказать чистосердечно: более мерзкого и богопротивного народа чем русские нет в целом мире. Это даже не народ. Это – дикая орда, и недаром татары триста лет ими повелевали. Это время не прошло бесследно. В каждом русском сегодня полведра татарской крови!

Признаюсь тебе, мой дорогой друг: когда я только еще обдумывал то, что буду писать, то дал себе слово: как можно меньше говорить о русской ругани. Ибо – благородная бумага и благородные же буквы не предназначены для сквернословия. Но русские – особые люди. В нашем старом и добром немецком языке не найдется тех слов, которые, хотя бы отдаленно играли бы роль тех ругательств, которые постоянно слышны в России. Это – ни с чем несравнимо! Русские – даже из-за одного своего ужасного языка давно уже должны были бы вызвать гнев Божий. И если Он не наказал их еще за это, то я уверен – еще накажет. Причем, скажу тебе – ругаются не только подлые, но и господа; не только мужчины, но и женщины, и даже, – ты не поверишь – даже дети!

Признаюсь тебе также, мой друг и в том, что ныне действительно проклинаяю тот день и час, когда получил, наконец, офицерский патент. Тебе известно, что я всегда был по-

слушным сыном. А сегодня я говорю тебе честные слова: черт меня смутил, когда я уступил отцу и поехал продавать свою военную душу не в Ганновер или Варшаву, а в Москву.

Отец пел мне прекрасные песни о том, что при новом молодом царе, который бреет бороду и носит короткое платье, в России жизнь совсем другая. Я поверил батюшке. Да и почему я должен был ему не верить, если он двадцать лет весьма выгодно торгует с русскими, по два раза в году бывает в Архангельске и в Москве? «Стало быть, русские – честные люди, с ними можно иметь дело» – сказал я сам себе и поехал.

Дали они мне сразу целый батальон и наобещали кучу денег серебром. Я очень обрадовался, подписал контракт на год вперед и принялся служить.

Но как же я ошибся!.

Во-первых, меня обманули с деньгами. Сказать, что совсем не платят – нельзя. Но недоплачивают всегда. И каждый раз говорят одну и ту же фразу, которую выучивают сразу все иностранцы, даже те, которые совсем не знают русского языка. По-русски она звучит так: «Denek net!», а в переводе на немецкий означает: «Wir haben keine Geld:» Не больше-не меньше. Скажу тебе, Вилли, что мне и сейчас должны много денег за прошлый год!

Однако, я отвлекся. Ведь я решил написать тебе о своем походе в Молдавию, или, вернее сказать, к Дунаю. Но даже перед походом я уже чувствовал, что будет неудача. Ты

веришь мне, Вилли? С первого дня у меня имелось немало трудностей по службе. Они меня настораживали. Русское солдатское стадо никак не может понять, что значит повернуться направо или налево. Ты не можешь себе представить: путают!

Однако, к делу.

Все началось по русскому календарю двадцать пятого февраля 1711 года. Календарь у них действует юлианский. И отстает от того, что распространен в Европе на одиннадцать дней. В этот день в главном православном соборе Кремля в Москве был объявлен манифест царя Петра об объявлении войны Султану.

Известие это было встречено немалым народным ликованием. Я первый раз в жизни наблюдал, чтобы такие громкие вопли радости по поводу войны издавало простонародие. Однако, позже кое что понял. Нельзя сказать, что русские радуются любой войне. Но в данном случае дело объясняется тем, что они – православные фанатики. И их отношение к магометанам ужасное. Поэтому они и радовались.

В тот же день вечером мне было сказано, что мой полк назначен к походу, а раз так, то со следующего утра я ревностно принялся готовить свой батальон к войне. По рассказам более знающих людей, до мест, где должны были начаться военные действия, предстояло пройти немалое расстояние – никак не менее полутора тысяч миль, на что было потрачено почти сто дней похода.

На Пруте наша армия оказалась только в июле. И само продвижение в Молдавию и Валахию сопровождалось немалыми сложностями. Весь поход стояла сильная жара. Этот длинный путь наши солдаты сделали пешком. Пища была плохая. Воды не хватало.

Кроме того, по-моему и не только по-моему, – в поход были отправлены очень слабые силы – менее сорока тысяч. Их было явно недостаточно для того, чтобы сокрушить огромные силы турок, которые, как выяснилось позже, они успели собрать в Валахии. Так что для многих опытных командиров (себя я к опытным военным еще не готов отнести) было ясно, что весь поход – авантюра.

Ты, наверное, дорогой Вилли, уже готов упрекнуть меня за хвастовство: ведь я начал уже судить о вещах, которые батальонному начальнику не должны быть посильны. Увы, что же делать, если любой грамотный немец в душе своей либо философ, либо фельдмаршал. Это – общая слабость нас, немцев. Но я нам эту слабость прощаю. Она куда прощительнее того, чтобы быть в душе своей комедиантом.

Итак, почему авантюра? Потому что она – следствие самонадеянности – в данном случае – самонадеянности одного, хотя и очень значительного человека, а именно, русского царя.

Почему? Потому, что после побед над шведами царь был уверен, что в Европе теперь нет той военной силы, которая могла бы ему помешать достигнуть любую цель. Это – во-

первых.

Во-вторых, царь, конечно, недооценил турок. Он и теперь полагал, что турки – те же, которых он победил, когда взял Азов. Но прошло много времени. В течение которого русские создали сильную армию. Однако и султан тоже времени не терял. У нас здесь говорят, что туркам против русских сильно помогли французы. Тогда же у Азова, русские имели дело с толпой дураков, которые умели только кричать «Алла!» и ничего больше. Да и сами русские тогда были не лучше.

Сегодня же, окруженный толпою льстецов, победитель шведов посчитал, что сорока тысяч ему будет достаточно, чтобы легко победить турок и поднести эту победу в качестве подарка своему новому другу и союзнику – молдавскому владетельному князю Кантемиру. Этого-то Кантемира я и считаю главным виновником. Это он убедил царя, что и малых сил будет довольно для полной победы. Он говорил царю, что русские чудо-солдаты добудут эту победу легко и без больших потерь.

Кантемиру очень хотелось наказать турок. Этого, конечно, хотел и царь. Но оба оказались истинными глупцами, потому что совершили множество глупостей. И главную их глупость я тебе, дорогой Вилли, намерен показать. Хотя тебе, как невоенному, мой рассказ может показаться скучным.

Молдавия и Валахия в политике почти всегда употребляются вместе. И хотя действительно, у них много общего, и

даже язык (сильно изгаженная латынь), вели себя оба правителя по-разному. Если Кантемир крепко держался за русского царя, то валашский правитель, (который титуловал себя, как и Кантемир – *gospodar*) по имени Бранкован от Петра был дальше, к туркам ближе и потому имел душу превосходного труса.

К своему стыду я до сих пор не могу понять, зачем царю понадобилось переправляться через Прут. И никто ясного ответа не дает. Я даже думаю, что сегодня и сам русский царь ответить на этот вопрос не сможет. Ведь обогнать турок в движении к Дунаю не удалось. У нас здесь ходят неясные слухи, что об этой войне с султаном царя очень просили балканские христиане.

Но главный вопрос не только в этом. Какая сила заставила битого русскими султана не стараться на сей раз избежать новой войны с Петром? Кто стоял за спиной султана и толкал его на войну? Поляки? Это очень похоже, чтобы быть правдой. Август Саксонский, хотя и союзник царя в войне против шведов, не мог не бояться усиления царя. Но чтобы уверенно тайно наускивать султана на Петра, Август должен был сам иметь сильную руку в Европе. Имел ли он её? Да, имел. А что это была за рука? Это – французская рука. Именно в Версале не хотели, не хотят, и не будут хотеть никогда ни значительного ослабления Турции, также как и значительного усиления русских. Так я думаю. Хотя я и не дипломат, а только офицер. Впрочем, я иногда также не думаю, что мои

соображения кому-то могут быть интересны. Хотя один человек есть. Это я сам.

Но более всего я опять поражаюсь самонадеянности Петра. Как это он рискнул отправиться на турок с сорока тысячами? Но, кажется, что на этот вопрос сегодня имеется ответ: Петр, собираясь в поход, не мог знать о предательстве Бранкована!

Видит Бог, я не люблю русских. И много смеюсь над их пьянством и невежеством. Но я помню, что ныне служу России и царю. И поэтому предательство Бранкована вызывает у меня чувство мести. Я очень хочу, чтобы этот негодяй закончил свою жизнь как злодей: без славы, без памяти и проклятым. Он оказался предателем. Как он предал русских? Просто. Он не пришел на помощь. Решил выждать. Выждал. Убедился, что крах похода русских неизбежен. И даже пальцем не пошевелил, чтобы помочь единоверцам. Почему? Потому что турок он боялся больше, чем осознавал грех неисполнения договора. Потому и закончил жизнь свою во вполне турецком духе: явился к нему во дворец Могошоайя палач из Стамбула и удавил его, используя большую физическую силу, прочным шелковым шнуром. Так что справедливость восторжествовала, хотя для царя это не было утешением. Утешился султан Ахмед III. Наказал мерзавца. И в данном случае я султана полностью поддерживаю. Хотя он и почитает Магомеда. Изменник получил должное. И слава Богу, нашему христианскому Саваофу.

Однако я увлекся и опередил события.

Земля Молдавии полностью находится между Днестром и Прутом. Я всю жизнь буду помнить это злосчастное поселение Новые Станилешты. Что значит это название по-немецки, я не знаю. Кроме того, что это что -то новое. Я видел его. Это гадкое и грязное место. И можно только вообразить – насколько гаже и грязнее Новых были старые Станилешты. Кстати, эти названия следует понимать во множественном числе! До сих пор не могу понять, почему грязная валашская деревня должна именоваться и пониматься во множественном числе, подобно, к примеру, Дельфам или Афинам. Но с военной позиции совершенно неважно – гадки или не очень были эти Станилешты. С военной точки зрения главный вопрос для Петра заключался в том, где должен находиться Прут по отношению к русской армии: перед фронтом или в тылу.

Даже дурак может понять, что оставлять крупную реку за спиной – сверх опасно. Я могу только вообразить, как обрадовались турки, получив известие о том, что русские на правом берегу и уже даже отошли от реки. Они без труда разобрались в том, что надо делать: надо окружать русских, прижав их к реке. Окружение состоялось вполне, причем, почти совершенно без нашего противодействия. Настолько больше было турок. Все сорок тысяч наших попали в окружение. Почти сразу же начались атаки янычар. Их было две – страшных, ужасных атаки. Но мы отбились. За эти две ата-

ки янычары потеряли так много своих людей, что, как я слышал, в третью атаку идти отказались, и дело дошло до бунта в янычарском лагере.

Что такое янычарская атака, я испытал на себе. Убыль в людях в моем батальоне была больше половины. А в одном капральстве в строю осталось пять человек, причем капрал был ранен дважды, но остался в строю. Я – тоже получил резаную рану плеча, но, по-счастью, собака-турок достал меня только кончиком своего страшного ятагана.

Наступила ночь.

Как мне позже сказали знакомые немцы, бывшие тогда поближе к царю, он к этому времени совершенно потерял уверенность в себе и даже плакал, когда понял, что силы слишком неравны и прорыв невозможен. Свидетели поведения царя тою ночью говорили мне, что с ним была несомненная истерика. Его Величество то отчаянно порывался покончить с жизнью, чтобы избежать позора пленения, то громогласно плача благодарил Бога за то, что Бог надоумил его запретить сыну-наследнику участвовать в походе вместе с ним, отцом и поэтому Россия останется в управлении и получит шанс благодаря уму царевича Алексея избежать хаоса.... А то наоборот, ругался последними словами и большая часть ругани царской доставалась опять сыну. Отец кричал, что неспособный сын загубит все его отцовское дело... Но нашелся человек, который все спас. Это – новая жена царя, которую зовут Екатерина. Эта простолюдинка непонятно какого про-

исхождения, то ли литвинка, то ли финка, или как говорят русские, чухонка, сумела успокоить царя, прекратить истерику и добилась того, чтобы царь хотя бы три часа поспал. И пока Петр спал, к турецким аванпостам были высланы наши парламентареры. Как я слышал, они декларировали туркам, что война эта не нужна ни русским, ни туркам, и что за прекращение войны царь может заплатить какие угодно деньги – за то, чтобы турки сняли окружение, а русские – благополучно ушли домой. И договор посулили мирный самый выгодный султану.

И представь себе, Вилли, – это удалось! И скажу еще: но не для кого из тех, кто истинно знает турок, такой исход не удивителен. Ибо они, как и почти все азиаты – чрезвычайно алчны.

Как мне сказал на ухо один из близких к царю немцев, которого ты, Вилли, знаешь, так как он с родителями в своем детстве жил в нашем городе в доме у реки против мельницы, жена царя собрала все свои драгоценности кроме обручального кольца, стоимость которых составляла умопомрачительную сумму, сложила их в кожаный мешок и велела отдать все паше. И паша деньги взял!

Я пишу все это тебе, когда опасность уже миновала. В настоящее время я получил отпуск для лечения своей раны и нахожусь недалеко от города Нижний Новгород (по-немецки это Niderneustadt) на большой русской реке Волга (Wolga), которая намного шире и глубже, чем Эльба, Рейн, или даже

Дунай.

Меня пригласил отдохнуть и полечиться мой товарищ по службе русский поручик, очень храбрый офицер Теодор Салтыков. Здесь я каждый день ем много мяса, сплю как свинья до полудня, потолстел, и, кажется, по уши влюбился в кухню моего русского друга, прелестную девушку по имени Элен. Она говорит по-немецки и по-французски очень хорошо и красива; но поскольку, как я точно узнал, отец её небогат, то на приличное приданное рассчитывать не приходится. Я ведь тоже беден. Так что речи о женитьбе быть не может.

Вслед за письмом тебе я непременно напишу отцу. Если же письмо тебе дойдет быстрее, передай моим, будь добр, что я жив и почти здоров, но приехать домой погостить, как об этом давно просит отец, не могу, потому что война еще не кончена; шведы, хотя и терпят поражения, но просить у русских мира сами пока не хотят; хотя, скорей всего, не отказались бы закончить войну, если бы это им на почетных условиях это предложили.

Я теперь должен прекратить тебе писать. Зовут обедать.

Обед прошел – веселый и сытный, а мне не терпится написать тебе нечто важное. Потому что хотя после печального исхода войны на Пруте прошло уже более полугода, и появилась, наконец, возможность, как кажется, писать спокойно и думать спокойно, но каждый раз, когда я вспоминаю о несчастье на Пруте, в голову лезут самые неожиданные мыс-

ли – как например сейчас, о том, что все дело было в искусно задуманной и искусно проведенной кем-то провокации.

Посуди сам. После Полтавской победы стали громко говорить о русском повелителе как о великом правителе и полководце. И это был настоящий хор словословия. И, конечно, у царя закружилась голова. И я задаю самому себе вопрос: а, может царь Петр именно в результате этого головокружения остро захотел войны с турками? Но я думаю, нет. Потому что был в это время в Европе человек, который хотел войны России и Турции еще сильнее, чем царь. Это шведский король Карл. Он хотел войны, чтобы отомстить русским. Но ни одного своего солдата у Карла не было. Говорят, что он долго уговаривал визиря пойти войной на Москву, имея во главе турецкой армии его, Карла! Заманчиво, не правда ли? Наверное, туркам очень хотелось вернуть Азов... Но и начинать войну, разрывать договор о мире с москвитями им не хотелось. Однако война все-таки случилась и требуется найти ответ на вопрос: кто же эту войну сделал? Я полагаю, что это некий весьма хитрый человек сделал так, что царь Петр сам объявил войну туркам. Мне думается, что это даже не один человек. Их было несколько. И все они на разные голоса принялись уговаривать царя. И говорили, скорее всего, так: «Вот и наступил этот великий момент, когда русский царь Петр может совершить очень многое в одной войне: уничтожить навсегда крымскую опасность для своей страны; твердою ногой встать на Дунае; выйти в Черное мо-

ре и построить где-нибудь на ее берегу третий большой морской порт – вместе с Архангельском и Санкт-Петербургом; помочь христианам на Балканах; а также сделать еще очень много пользы для своей великой страны и даже всей Европы. Такие слова говорились чаще всего и скорее всего людьми из Англии, Австрии и Франции. Что это были за люди – я не знаю. Я думаю только, что они должны были пользоваться полным царским доверием. И не обязательно, чтобы они были иностранцами. Могли быть и свои – подкупленные. Я не знаю, что это за люди, но главная гадость идет от шведского Карла и от французов. Карлу поражение Петра нужно было как воздух. Я слышал, что когда шведский король сидел в Бендерах, окруженный турецкими ятаганами, царь Петр не один раз просил турок выдать ему Карла за деньги. Говорили о гигантской сумме в 300 тысяч серебром. Но турки Карла не выдали. Говорят, что король больше своей смерти боялся выдачи русским. Болтали, что Карл даже плакал и говорил, что позора не вынесет, что царь прикажет посадить его в железную клетку и станет возить по Европе и по своим варварским землям, а звери-подданные будут платить деньги, чтобы поглазеть на гордого Карла в клетке.

Но я думаю, что шведский король не только плакал; он еще изо всех сил старался убедить султана и великого визиря, что война против России при участии его, Карла, может дать туркам не только победу, но и множество выгодных для них последствий. И французы также много говорили султа-

ну в пользу войны против Петра. И вот – результат: Порта разрывает дипломатические отношения с Москвой. Царь немедленно увидел в этом враждебный шаг, а ненависти к туркам у русских всегда было и есть сколько угодно. И главный ее источник – Крым. Селим-Гирей, как и все его предки, постоянно угрожал русским землям.

Так была приготовлена последняя русско-турецкая война. Приготовлена не в Москве и не в Стамбуле, а в Бендерах и в Париже. Не знаю, так ли все, но, похоже, что так.

Война началась. Стратегически (я все-таки думаю, что имею право рассуждать над картами не как поручик, а, по крайней мере, как полковник – даже если и рискую показаться тебе, Вилли, самонадеянным балваном) все началось, когда обе армии принялись с двух сторон бежать к Дунаю.

Но туркам бежать к Дунаю было намного ближе; они добежали раньше и взяли переправы. А далее все пошло совсем не так, как хотелось бы царю. Через Прут мы переправились и даже уже начали походное движение от правого берега, как вдруг впереди по фронту и на флангах показались турки в огромном количестве. Русская армия и молдаванские «воины» господаря Кантимира – это было в целом едва ли намного больше сорока тысяч. Турок было в пять раз больше. Нынче в России можно услышать о том, что турок было в десять раз больше. Это – невозможно. Но и двести тысяч против сорока – это очень много. И даже если бы русские солдаты до того трижды победили шведов под Полта-

вой, разгромить такую массу турок даже этим русским героям было не под силу.

Несколько позже после возвращения знакомые офицеры рассказывали мне, и я, зная их как честных служак, не могу им не поверить, что отправляя наших парламентаров с предложением мира к визирю, царь Петр был готов отдать султану очень многое: и Азов, и часть южного побережья Балтийского моря, и даже – Псков! Только свой обожаемый Петербург и побережье Финского залива царь отдавать не хотел. Но слава Всевышнему, счастливые победой турки удовольствовались совершенно намного меньшим: Азовом и русским обязательством не вмешиваться в польские дела. Конечно, царя разбирала немалая досада: ведь поляки злили Петра своею изменчивостью и были для него источником постоянной головной боли. Быть может, он не прочь был бы совсем убрать Польшу с карты, вовсе съесть её в содружестве с другими любителями такого рода еды. Едоков на польский пирог было достаточно: и сама Россия, и Австрия, и Пруссия, и Саксония и кое-кто еще. Отсутствием аппетита никто из едоков не страдал.

Однако, автор письма, начал уже повторяться. Автор устал, а раз так – то пора и заканчивать, хотя можно было бы написать еще кое о чем.

До свидания, мой дорогой и превосходный друг Вилли! Желаю тебе найти богатую невесту и много прекрасных успехов во врачевании с помощью великолепных лекарств,

которые вы, господин аптекарь, готовите.

Обнимаю тебя. Твой друг Курт.

29

Итак, мир с Турцией был подписан 12 июля 1711 года. Настроение у царя было ужасным. Единственным светлым пятнышком в сплошной черноте его монарших размышлений тогда была предстоящая свадьба сына Алексея. Она должна была иметь место в середине октября 1711 года в небольшом городке Торгау на Эльбе.

Любой, кто хоть немного знает новейшую историю Европы, может легко ответить на вопрос, чем известен город Торгау. Совсем рядом с ним, на берегах Эльбы в конце военных действий в Европе во время Второй мировой войны встретились американские и советские войска.

Даже в 1977 году в Торгау было 22 тысячи жителей. Сколько их было в 1711 – автор точно не знает, но, наверняка, раза в два меньше. Однако кустари-стекольщики здесь уже жили и работали и доставляли городку некоторую известность.

Но для не весьма громкого торжества – свадьбы почти безызвестной немецкой девчонки-герцогини и наследника российского престола это было самое подходящее место. Почему он был избран для свадьбы?

Прежде всего, потому, что здесь находился дворец польской королевы и жены Курфюрста Саксонского Августа II Сильного; при ее дворе София Шарлотта воспитывалась.

Король польский потерпел фиаско. Мы уже несколько раз об этом говорили, но как бы, между прочим. А дело, собственно, вот в чем.

Вступая в союз с Петром против Карла XII, Август никак не предполагал, что на первых порах успехи шведов будут столь велики, а поражения русских – столь ужасны. Сам же он со своими саксонцами никакой значительной силы не имел и был дважды разгромлен Карлом – при Клиссове в 1702 году и при Пултуске в 1703-м. Польский сейм лишил его польского трона; чтобы оставить за собой Саксонию, Август должен был заключить с Карлом мир в Альтранштедте в 1706 году, в сущности, сепаратный, чем реально предал своего союзника Петра. Но после победы русской армии под Полтавой, Август, опираясь на Саксонию снова выступил против Швеции, был прощен Петром, а в 1719 году снова получил польский трон.

Но в 1711 году надобно было активно задабривать и делать разные услуги Петру I. Дворец в Торгау, да отчасти и сама невеста для царевича – и были услугами Августа Петру...

Впрочем, Дворец – это сказано весьма сильно. Он находился недалеко от площади с ратушей, но находился он там потому, что его еще нужно было найти. Ибо среди окружающих строений почти не выделялся. Обыкновенный двухэтажный состоятельный дом. Побольше соседних. И окон, правда, побольше, чем в других домах. И крытый фасадик, очень, впрочем, скромный. Дом несколько выделяла и же-

лезная кованая ограда, и совсем небольшая зеленая лужайка.

30

14 октября здесь и сыграли свадьбу Софии Шарлотты и Алексея. Свадьба – это всегда гости, шум, вино, музыка... Веселье, одним словом. Но на этой свадьбе веселья было совсем немного; и лошадей и экипажей – тоже. И музыку с улицы почти совсем не было слышно: все окна и двери приказано было плотно закрыть.

Немного было и гостей. Немного, но были. Например, знаменитый философ и математик Готфрид Вильгельм Лейбниц. Он ездил в Торгау, но не для того, чтобы поглазеть на молодых, а «для того, чтобы видеть замечательного русского царя». И немало других гостей явились в Торгау для того же. Но – как объект для восторженного любопытства Петр на свадьбе сына интереса не представлял, ибо был предельно мрачен. Вероятно, сказывалась еще полученная на Пруте встряска.

Поднять настроение Петру на свадьбе пытались многие, но безуспешно. 17 октября царь уже покинул Торгау. И сыну приказал у новой родни не засиживаться, а немедленно ехать в Торн – контролировать заготовки провианта и фуража для русского военного контингента в Померании. Поэтому и многих дней веселья не получилось. Торжество, фактически, свернули.

31

Нам было бы интересно понять и то, как изменилась

жизнь жениха и невесты с женитьбою и замужеством. И мы еще будем подробно об этом говорить. Пока же заметим, что жених и невеста первоначально были преисполнены самых радужных ожиданий. Но уже почти сразу после торжества Алексей Петрович отзывался о молодой жене так: «Жену мне на шею чертовку навязали; как к ней не приеду, все сердитует и не хочет со мной говорить». Разочарование постигло и невесту.

Характерно, однако, что упомянутую «чертовку» берет под защиту Казимир Валишевский, для которого все было ясно, как день, но по-своему: «Некрасивая, с лицом изрытым оспой, длинной и плоской талией, Шарлотта была прелестной женщиной, несмотря на такие физические несовершенства, но совершенно не такой женой, о какой мечтал для Алексея его отец. (Заметим, что здесь К.Валишевского совершенно не занимает вопрос о том, о какой же жене мечтал сам Алексей Петрович. – Ю.В.). «Бледное, слабое, грациозное создание, на которое жалко было смотреть, как оно запуталось, словно птица в западне, охваченная мрачной подготавливающейся драмой, неспособная защищаться и даже понять, что случилось. Шарлотта умела лишь страдать и умереть».

Казимир Валишевский, почти всегда явный или тайный ненавистник русских, этой отличной яркой тирадой дает нам понять, что невеста была обречена стадать и умереть страшною смертью.

Но автор не будет торопиться поддерживать здесь Кази-мира Валишевского. Автор только скажет, что брак случился, был заключен. И ничего более.

Часть четвертая

повествующая о том, как прошел супружеский период в жизни царевича Алексея Петровича – отца семейства и пока еще наследника престола – от свадьбы осенью 1711, до смерти жены осенью 1715года.

1

Первый супружеский год жизни царевича Алексея Петровича и его молодой жены Софии Шарлотты оказался очень важным для них: в продолжение его молодые муж и жена избавились от большей части первоначальных иллюзий в отношении друг друга.

А интересно, какие иллюзии были у царевича Алексея Петровича по поводу жены, и были ли?

Были, были! Первое время Алексей Петрович не терял еще надежду – превратить жену в православную. Вопросами на эту тему царевича одолевали уже гости, приехавшие Торгау, а, может быть, кто-то – еще и раньше. Он отвечал; и уверенности у него тогда было много, даже слишком: «Я ее теперь не принуждаю к нашей православной вере; но когда мы приедем с нею в Москву и она увидит нашу святую соборную и апостольскую церковь и церковные святым иконам украшения, архерейское, архемандричье и иерейское ризное облачение и украшение и всякое церковное благолепие и благочиние, тогда, думаю, и сама без принуждения возжелает со-

единиться с православной Христовой церковью». Автор должен признаться, что надеждам этим сбыться было не суждено.

С другой стороны – и у Софии Шарлотты, смеем заметить, тоже были по поводу мужа иллюзии. Ей первоначально очень хотелось сделать из него образцового кавалера. Но – не получилось. И главным тормозом процесса стало то, что Алексей очень любил выпить. О том, что он «почти всегда пьян», дочь с горечью и не раз сообщала матери.

Появилось и безденежье. Причем, сколь удивительное, столь и жестокое. Приходилось занимать. В апреле 1712 года Шарлотта, например, заняла пять тысяч у А.Д. Меншикова. У Меншикова! У того, с которым у Алексея уже началась тяжелая, без шансов к примирению вражда, которая оказала влияние и на историю России.

Сначала были – что-то вроде сплетен. Болтали что на свадьбе царевича, за столом, глядя прямо в глаза невесте (причем, жених сидел рядом), Меншиков говорил, сладко улыбаясь, Шарлотте, и Алексей все слышал:

– Царицей стать норовишь? Ну, ну, а ведь у нас рябых-то цариц, поди-ко, николи не бывало... Вот, ужо погоди, Наталья Алексеевна тебя в ежовые рукавички возьмет, тогда поохаеть»...

Алексей немедленно, сошел, что называется, с лица, побледнел. Шарлотта же, будучи девушкой проницательной, сразу догадалась что этот Menschikoff говорит ей обидное...

А муж сидит рядом, краснеет и молчит.

– Что он сказал? – прошипела она Алексею на ухо, покрывшись пунцовыми пятнами и с силою тербя веер. – Он меня оскорбил? Так? Почему Вы молчите? Ведь он меня оскорбил, да?

Алексей ничего на это не ответил.

Но это, как мы уже сказали, почти сплетня. Может, этого эпизода и не было.

А вот что было.

Современный исследователь Михаил Рыжиков приводит скандальную перепалку Алексея Петровича и Меншикова, имевшую, так сказать, место, скорее всего в Эльблонге, в ставке Светлейшего, куда наследник должен был часто приезжать по делам снабжения русских войск. М. Рыжиков заметил, что перепалку эту опубликовал впервые «старейший российский историк Петровской эпохи Николай Иванович Павленко». Приводим этот эпизод целиком: «Однажды, во время устроенного Меншиковым обеда, на котором присутствовали офицеры дислоцированной в Померании армии, в том числе и царевич Алексей Петрович, зашел разговор о дворе Шарлотты. Меншиков отозвался о нем самым нелестным образом: по его мнению, двор был укомплектован грубыми, невежественными и неприятными людьми. Князь выразил удивление, как может царевич терпеть таких людей. Царевич встал на защиту супруги: раз она держит своих слуг, значит, довольна ими, а это дает основание быть довольным

ими и ему. Завязалась перепалка. Меншиков возразил: «Ты слеп к своей жене, она тщеславна». Царевич воскликнул в ответ: «Знаешь ли ты, кто моя жена, и помнишь ли разницу между мной и тобой?!» Меншиков: «Я это хорошо знаю, но помнишь ли ты, кто я?» Царевич: «Конечно, ты был ничем, и по милости моего отца ты стал тем, что ты есть» (Подчеркнуто нами – ЮВ). Меншиков: «Я твой попечитель, и тебе не следует со мною так говорить». Царевич: «Ты был моим попечителем, теперь уже ты не мой попечитель, я сам умею позаботиться о себе, но скажи, что у тебя против моей жены?» Меншиков: «Что у меня против нее: она высокомерная немка, и все оттого, что она в родстве с императором, но от этого родства ей впрочем, будет мало проку, а во-вторых, она тебя не любит, и она права в том, ибо ты обращаешься с ней очень дурно; кроме того, ты своим видом не можешь возбудить любви.» Царевич: «Кто сказал, что она меня не любит? Я очень хорошо знаю, что это неправда, я ею очень доволен и убежден, что и она мною довольна. Да сохранит Господь ей жизнь, я буду с нею очень счастлив». Меншиков: «Я своими глазами убедился в противном, она тебя не любит. Плакала она, когда ты уезжал от досады, видя, что ты ее не любишь, а нисколько не от любви к тебе». Царевич: «Не стоил ты того, чтобы на нее смотреть; ее нрав очень кроток, и хотя она не моей веры, должен однако, сознаться, что она очень благочестива; что она меня любит в этом я уверен, ибо она ради меня все покинула и в том тоже я уверен, что она

честна; Впрочем не удивительно, что ты так говоришь, ибо ты судишь об имперских княжнах по тем, которые у нас, и особенно по твоей родне, которая никуда не годится, так же, как и твоя Варвара (свояченица Меншикова – НП). У тебя змеиный язык и поведение твое беспардонно. Я надеюсь, что ты скоро попадешь с Сибирь за твои клеветы; моя жена честна, и кто впредь мне станет говорить что-нибудь против нее, того я буду считать отъявленным своим врагом». Царевич велел наполнить бокалы, выпить за здоровье кронпринцессы, и все офицеры бросились к ногам царевича»

Скорее всего, и Меншиков тоже понял: раздувать пожар конфликта ему было не с руки. Но позиции сторон определились довольно четко и позиции эти были враждебными. Правда автор, вместе с Михаилом Рыженковым сетует, что Н.И. Павленко молчит об источнике, откуда взята эта история – скорее всего, потому молчит, что источник ненадежный. Но факт есть то, что жестокая ненависть между Меншиковым и царевичем разгоралась, и началось это в 1712 году. Не раньше. До 1712 года своего отношения у Меншикова к Алексею не было, а было только исполнение воли Петра. Когда и почему у Меншикова появилось собственное отношение к наследнику – об этом мы скажем. Но позже.

2

Так прошел почти год. Царевич гонял туда-сюда по Европе. Заезжал даже в Россию, занимаясь по воле отца лесозаготовками для флота, достигая даже Финляндии. А София

Шарлотта изнывала без денег – чаще всего в Эльблонге, на глазах у Меншикова.

Был и выход – уехать в Россию, где жену наследника очень ждали. Но ехать туда ей не хотелось. И не потому, что это было и далеко и страшно, хотя и поэтому тоже. А большей частью потому, что от первоначальных восторгов молодым мужем и ничего не осталось. Ведь что она писала матери вначале? – «Царевич окружил меня своею дружбой». Так вот: чуть спустя времени никакой дружбы уже не было. 26 ноября 1712 года – спустя менее года после свадьбы, дочь писала матери уже совсем другое: «Мое положение гораздо печальнее и ужаснее, чем может представить себе чье-либо воображение. Я замужем за человеком, который меня не любил, и теперь любит меня меньше чем когда-либо». Она в горести продолжала жить в маленьком портовом городке Эльблонге в Данцингской бухте, совсем рядом от оскорбителя Меншикова. И в добавок Алексей опять уехал Бог знает на сколько времени в эту страшную Финляндию, а когда вернется – неясно...

И она, наконец, приняла решение. Уехала. Почти совершенно без денег, спасая себя отъездом, в сущности, от голода и злейшего несчастья одиночества. Но не в Петербург. Потому что Петербурга она боялась еще больше чем Эльблонга с Меншиковым.

Она уехала домой к родителям в Вольфонбюттель, в милый ее сердцу с детства родной дом – замок «Зальцзаум», не

предполагая, что будет потом.

3

Дочь приехала домой!

Но когда первые, самые горячие радости по поводу приезда обожаемой Шарлоточки миновали, и она рассказала, вся в слезах, почему приехала, радость родительская исчезла немедленно. Отец Шарлотты – Людвиг-Рудольф, Великий герцог Брауншвейгский, человек и образованный, и умный, и опытный, сразу понял, что «отъезд» его дочери от мужа может обозлить царя. А это – уже скандал. И перерыв в поступлении столь необходимых субсидий из Петербурга. И поэтому, хотя и после некоторых раздумий, но он сказал определенно, что ей нужно ехать в Россию.

Ослушаться отца дочь не посмела, но стала откровенно тянуть время, оттягивая отъезд под всякими предлогами: то ей неможется, то не все платья готовы, то нужных денег еще нет, то заболела любимая служанка, а без нее, здоровой, она ехать не хочет; то придумывалось еще что-нибудь, неважно что, лишь бы потянуть, остаться дома еще на месяц, на неделю, еще на два дня и т.д.

Таким вот образом Софии Шарлотте удалось протянуть с отъездом в сущности до весны. И, она, скорее всего, продолжала бы тянуть и далее, как вдруг...

4

Как вдруг в «Зальцзаум» приехал... сам царь Петр – тесть, сват и благодетель. Он приехал только с несколькими

людьми; он изо всех сил показывал что заехал по пути, без причины, по-родственному. Но, думается, все же, что царь приехал по – тревоге, по письму. По чьему письму? Ответ на этот вопрос есть: скорее всего, по письму Меншикова. Потому что написать такое письмо – была прямая обязанность Александра Даниловича. Если бы Меншиков письмо не прислал, ему грозили бы не малые неприятности.

Но вот вопрос – что он в том письме написал? Автор не знает. Но догадывается. В письме Светлейший постарался изобразить негативно обоих: и Алексея, и Шарлотту. Но особенно досталось Алексею Петровичу, ибо Александр Данилович уже начинал реализовать собственную политику в отношении престола. Об этой политике у нас еще будет время поговорить позже.

А пока вернемся к визиту Петра к новым родственникам. Несмотря на неожиданность визита, его приняли очень хорошо. С этой стороны у свекра и свата никаких претензий не было и быть не могло. Претензии были к снохе, но их Петр ни в коем случае не должен был показывать. Показывать надо было совсем другое. Показывать надо было то, что за обеденным столом в Большой столовой Залыцаума восседал не страшный и дикий властелин неведомой Московии, а приятный, сильный и веселый мужчина, от которого не исходило никакой опасности.

– Боже мой, как у вас здесь хорошо! – говорил царь, оглядывая стены и потолок Большой столовой. – Тихо, покойно.

Никакого шума. Из под родительского крыла выбираться не хочется... Так, да? А ведь надобно. Алексей мой – мальчик не плохой... Денег, правда, держать не умеет еще. Но молодые – все не умеют. А как денег нет – вот она и туча на небе. Ведь так? Я это понимаю.

Петр продолжал говорить что-то успокоительное на своем полу голландском – полунемецком языке, который, хотя и с напряжением, можно было понять. И София Шарлотта глядела на гостя чуточку со стороны (впрочем, он и к ней поворачивался довольно часто) и думала, что, пожалуй, что и врет отец, рисуя Алексея мягким, легко уговариваемым человеком, который и гневаться как следует не умеет, и поэтому очень часто молчит. Все – неправда. Умеет Алексей и громко кричать, и ногами топать в гневе, и тарелки дорогие об пол колотить... Все умеет.

Но Бог мой, как же хорош был царь в тот раз в Вольфонбюттене! Он смеялся и шутил не переставая, называл ее Софию Шарлотту «милой доченькой», рассказывал о том, как бурно строится Петербург, и что непременно наступит то время, когда в новую русскую столицу будут приезжать с великим удовольствием, и жить в ней будет не хуже чем в Амстердаме или даже в Париже.

Шарлотта глядела на него во все глаза и улыбалась против воли: настолько невозможным ей представлялось все то, что она слышала от русского царя и своего свекра. Конечно, можно было сразу погасить все царское благодушие, расска-

жи она тут же за столом, как Алексис однажды запустил в нее, будучи пьяным, башмаком, снятым с ноги своей, и захохотал мерзко, поскольку удачно попал.

Но, как хорошо воспитанная женщина, она этого делать не стала, наоборот подумала, правда, несколько удрученно. ехать ей в Россию не миновать, и, как видно, скоро.

«Поеду, – решила она. – Поеду, хотя и не знаю, что там со мною будет. Видно, так и Бог хочет. А Бога гневить нельзя».

5

Царь уехал из Вольфенбютелля, может быть, дня через два-три, совершенно обаяв хозяев – своих новых родственников и щедро одарив всех деньгами. Причем о том, сколько он дал снохе не узнали ни отец, ни мать, ни, даже позже Алексей. Шарлотта считала, что поступила весьма и весьма благоразумно, оставив большую часть полученных от свекра денег по пути в Петербург у франкфуртского банкира Авеля Файга.

О том, что она сделала именно так, сказала уже после смерти Софии Шарлотты ее матери любимица дочери, камеристка Курци. Когда же, через какое-то время после смерти дочери, мать поехала во Франкфурт на Одере к тому Файгу, банкир без Шарлоттовой расписки даже не стал долго разговаривать и, хотя и учтиво, но твердо держа мать под локоть, вывел ее на улицу и улыбаясь, попросил больше не появляться.

Сколько дал царь Софии Шарлотте неизвестно. Скорее

всего – немало. Но все осталось в кармане у Файга. А расписку дочери – как ни искали – так и не нашли.

6

Итак, София Шарлотта решила ехать в Петербург.

Стояло лето 1713 года. Шарлотту сопровождали все оговоренные в брачном контракте слуги. Ну или почти все. В любом варианте это было более сотни человек разного возраста и пола.

Двигались не спеша. Потому что даже уже начавшуюся поездку Шарлотта так же изо всех сил старалась замедлить. По ее сведениям и мужа в это время в новой столице не было. Он по воле отца опять где-то находился и что-то исполнял. Кажется в этой... в Карелии. Или в Финляндии. Кронпринцесса специально географию не изучала. Знала что обе эти страны – северные, и находятся так далеко, что зима в них никогда не заканчивается и что именно там живут те самые гипербореи, о которых писал еще отец истории Геродот.

А Петр, уехав из Вольфенбюттеля, писал с дороги Алексею в Финляндию: «Зоон! Я только от жены твоей. Она – жива и здорова и обретается у мамки с тяткою в своем Волчьем месте и она ныне – зело в большой обиде на своего муженька; а я – хвалил тебя и ее сколько мог, и немало денег дал, чтоб она обиды те хотя для виду забыла. Она по слухам уже выехала к нам в Петербург, хотя и не вельми торопитца. По получении сего ежай как мога скорее домой и чтоб я ни слова о досадах меж вами и в малости не слышал более, хотя

и догадую, что виноват более ты – тихоня жесткосердный – весь в мать свою негодную. На любовь отпускаю тебе не более недели без дороги. А как неделя пройдет, немедля езжай сызнова – на Старую Русу и Ладогу – сам знаешь зачем. Vater Peter».

7

Алексей Петрович получил это письмо отца будучи на лесозаготовках «у чухни» – т.е. Финляндии. И чего там сомневаться – был тому письму несказанно рад. Даже отцовское обвинение в жесткосердии его, что называется, не зацепило: настолько рад был он самой возможности скрыться, хотя и на время, от этих ужасных лесозаготовок для флота, весьма напоминавших адское наказание. Но нельзя сказать, что он был обрадован предстоящим свиданием с женой.

Ехал и думал: «Что скажу ей? Что она любя мне? Так ведь не поверит. Я когда останний раз уезжал, в глаза ей сказал – кабы не отец приказал, не женился бы на ней николи. И она тогда – тоже не смолчала, словно и не принцесса была, а вовсе какая трактирщица... Сколько времени с разъезду минуло? Больше полугода, поди... Я, пожалуй, что и остыл... Увижу ее – улыбаться стану... а она? Станет ли? А то – красными пятнами по лицу пойдет – поговори тогда с ней... И есть ли у ней еще деньги, какие отец дал, и сколько? А, может, уже нынче письмо ему написать, чтоб денег еще дал, дабы, елико возможно будет ссоры неминучие отдалить... Да надобно еще сказать ей, не забыть – что мне Гизен-барон го-

ворил: что-де, в нашем браке не до любви, а расчет державный раньше всего высчитан. Батюшке, вишь ты, союз с Кесарем весьма нужон. Потому нам с нею терпеть надобно... Да, рассудить коли, много ли монархов жен своих любят? Ведь на глаза да губы, стать и нос не глядят, когда государские интересы соблюдать приходится... Ужли не поймет? Главное, что бы роды успешны были, да чтоб мальчик родился. Тогда то уж верно отец успокоится, рычать на меня, аки зверь перестанет. Надобно молиться непрестанно, просить Пресвятую Богородицу, чтоб мальчик народился. И Софью тоже просить, чтоб и она лютерского своего Бога о сыне молила... Тогда, может, не станет отец меня боле гонять из конца в конец земли... Да... Ну, а как девчонка родится, тогда – что? Тогда все по старому будет. Она – опять уедет. А я – опять у Богом забытых чухонцев надзирать со с тщанием, как сосны к корабельному строению годные, на лошадях без дорог по грязи адской непролазной к рекам для сплаву вывозить станут. Глаза бы мои всего этого не видали!»

8

А София Шарлотта, между тем, двигалась к Санкт-Петербургу. Хотя правильнее было бы сказать они двигались. Потому что поезд принцессы состоял более чем из трех десятков карет и повозок.

Во время почти всей поездки погода стояла не столь ужасная, как принцесса о здешней погоде слыхала; наоборот, все было совершенно великолепно. Вовсю на чистом голубом

небе с редкими облачками сияло солнце. Давно проехали Нарву. Европейская жизнь закончилась. Дорога пошла такая тряская, что ни о чем кроме нее, проклятой, не думалось. Курци даже умудрилась на ухабе больно прикусить язык.

И ночевать под крышами больше не ночевали. У русских в домах, все равно, богатых ли, бедных ли, свежих и чистых иноземцев ожидало множество клопов. Так что ночевали в шатрах и палатках, для чего каждый вечер разбивался целый лагерь, а конвойные русские драгуны, которые днем двигались верхами, по ночам караулили, выставив для этого парные секреты. Крон принцесса шутила по сему поводу, что она и ее люди, подобно римскому войску, каждую ночь ставят новый лагерь, чтобы быть в безопасности. И причины для такой предосторожности были: хотя и шведов уже рядом не было, но всякого рода лихих людей, как говорили, обреталось вокруг немало. Любая предусмотрительность совсем не была излишней.

9

Санкт-Петербург начинался постепенно, из многого слепленного абы как временного строения: складов, казарм, в которых якобы жили работные люди, хотя сюда они приползали, усталые, только ночевать.

Караван вольфенбюттельский старательно объезжал их стороной, справедливо опасаясь грязи или какой еще заразы. Врачи уверенно говорили Софии Шарлотте, что тиф отсюда не выводился.

Собственно, Петербург пока еще был и не город даже, а просто одна гигантская стройка; и весь день над ним стоял неумолкаемый строительный шум.

По мере продвижения появлялись уже и иные, видом своим не работные люди, одетые, кстати сказать, весьма разно. Видны были и камзолы, и военные мундиры, и дамские платья, и что попроще: платки и шапки.

Сначала люди эти были видны порознь; потом вдруг как то оказалось, что они уже как бы стояли по обе стороны дороги которая при пристальном рассмотрении оказывалась уже и не дорогою, а несомненно улицей, поскольку видны были уже и прочные дома со стеклами в окнах. Некоторые из этих людей приветливо улыбались, что-то кричали и махали руками. Но именно некоторые. Из чего можно было сделать заключение, что их собрали не совсем по своей воле, а специально встретить жену царевича. София Шарлотта сразу это поняла. И поняла, что надо было улыбаться в каретное окно и приветливо махать ручкой, что и делалось – весьма старательно.

Но вот люди эти стали толпой, толпа стала гуще, а потом, вдруг, словно бы сразу исчезла. Глазам путешественников предстало даже что-то похожее на площадь. А на площади – выстроенный по голандски двухэтажный дом с довольно большими окнами на втором этаже. На первом – окна были поменьше. В центре же первого этажа наличествовал даже весьма приличный подъезд с лепниной по верху и с боков,

к которому с двух сторон вел пандус. Причем, крыша над подъездом была устроена так, что подъехать в карете почти в плотную к дому можно было вовсе не опасаясь дождя или снега.

10

Под кровлей у подъезда, на площадке у дверей, в кресле сидела женщина. Позади нее и с боков стояли и сидели же еще люди. Картину эту увидивши, София Шарлотта, конечно, взволновалась. Пока ее карета описывала по площади полукруг и остановилась перед ступеньками крыльца, устланными бордовой ковровой дорожкой, кронпринцесса прикидывала про себя – что и как будет делать, ступивши из кареты наземь.

Никто и ничего не объяснял Софии Шарлотте. Что могла объяснить та же Курци – маленькая хохотушка, которая ехала вместе с госпожой и умиляла ее своим полудетским видом и вполне взрослыми туалетами. (В этом противоречии и состоял основной смысл ее существования) – от самого Вольфенбюттеля? Но ей ничего не нужно было объяснять. И без подсказчиков ей было понятно, что в удобном кресле у дверей настоящего голландского дома в этом, пока еще даже и не полугороде, а просто – в большой стройке – Санкт-Петербурге, сидела новая жена царя. Не царица, а новая жена только. София Шарлотта хорошо понимала эту разницу.

Поэтому, как только разодетый как куколка паж, открыл с поклоном дверцу кареты, София, призвав шепотом своего

лютеранского Бога в помощники, легко выпорхнула на дорожку, которая очутилась как раз под нижней ступенькой выдвижной подножной лесенки – с твердым намерением так же легко взлететь на крыльцо, но сделать этого ей не удалось. Потому что, не смотря на некоторую полноту жена царя гостью опередила, встретив ее на ступенях.

Едучи в Россию, София Шарлотта успела убедить себя в том, что новая жена царя, которую теперь звали Екатериной, хотя и не перестала быть в прошлом прачкою, ныне, в сущности, царица, и поэтому, даже если от нее за милю будет вонять бельем и щелоком, вести себя с нею надлежит как-будто она царица, и непременно поцеловать край ее одежд. Чего бы это не стоило. Почему? Потому что это должно быть приятно Его царскому Величеству.

Но Екатерина высокую гостью снова опередила. Она не только не позволила поцеловать край своих одежд, но, наоборот, раньше сама успела обнять и расцеловать дорогую гостью.

– Добро пожаловать! С приездом домой, моя дорогая! – сказала Екатерина по немецки.

– Здравствуйте, Ваше Величество! – почтительно, но с полным достоинством ответила принцесса, хотя отлично знала, что именовать только жену монарха «Величеством» есть вопиющее нарушение этикета. Но поговорку «Лучше перекланяются, чем недокланяются» знали и в XVIII веке. Все было сказано правильно: София явно увидела как после ее

слов лицо Екатерины зарделось от удовольствия. Но ощутить в полной мере хотя и только начальный но успех, гостье не удалось. Потому что она тут же ощутила под своим левым локтем неожиданно-сильную руку Екатерины: если бы гостья захотела освободиться, то ей бы это не удалось.

11

А за стеклянными дверями было тихо и спокойно. Уличного приветственного шума в доме слышно почти не было, но зато – густо пахло свежесрезанными оранжерейными цветами, которые в роскошных букетах стояли в высоких напольных вазах из мейсенской белой глины.

Женщины сели в роскошные кресла возле небольшого китайского столика на котором красивою грудю так же лежали свежее срезанные сильно пахнущие цветы.

Перед, тем как заботливо усадить Софию Шарлотту в кресло, Екатерина, не особенно стремясь укрыть взор, с легкой улыбкой скользнула взглядом по животу высокой немецкой гостьи, и, видимо, осталась рассмотрением сей картины совершенно довольна.

Потек неспешный разговор. Из него наша принцесса быстро поняла, что дом, в котором они сейчас находятся – это дом царской сестры Натальи Алексеевны и что она, София, как жена царевича Алексея Петровича, будет здесь жить – гостьей тетки мужа.

Говорила бывшая прачка по-немецки совсем неплохо, значительно лучше Алексея. Речь ее была не быстрой, но

учливой, а тон – вовсе не заискивающий, а только ласковый. Из недлинного ее монолога София Шарлотта узнала, что к приезду ее все готово, что слуг разместят как следует быть, и что Алексея ожидают здесь с часу на час. При этих словах София улыбнулась, стремясь этим показать Екатерине, что весть о скором явлении мужа ее безмерно обрадовала.

Но Екатерина была женщиной умной, наблюдательной и информированной. От Петра она кое что о реальных отношениях между молодыми мужем и женой знала. Поэтому она тотчас сообразила что улыбка у Софии Шарлотты – в полном смысле слова необходимая и именно по этому на лице долго не задержалась. На лице более всего было заметно усталость. И тогда, не тратя времени на уговоры, Екатерина повела сама жену пасынка своего в опочивальню, где слуги ее раздели и уложили отдохнуть после нелегкой дороги.

12

Однако она сразу не уснула, хотя усталость у нее, конечно, была, и не малая. Сон к ней какое то время не шел, словно его где то специально задерживали, что бы она могла кое о чем поразмыслить.

Итак, она лежала и размышляла. Прием был хорош. Начало неплохое. Хорошо так же и то, что Алексис скоро придет. Очень хорошо и то, что жить они будут при немалом числе свидетелей – от пробуждения до отхода ко сну. На супружеские раздоры останется только ночь. Но и ночью они должны постоянно помнить, что за дверями всегда полно на-

ушников. Поэтому надо изображать благополучную жизнь благополучных супругов. Иначе Его Величество будет очень недоволен. Она не должна этого допустить. Тем более что Алексис боится отца – как огня. Даже больше. Он перед отцом буквально трепещет. Это она поняла еще до свадьбы. Следственно, надо как можно реже уединяться. Следует постоянно заботиться о том, чтобы они днем вдвоем не оставались. Что бы всегда рядом был кто-то третий. Тогда Алексис будет, хотя и против своей воли, удерживаться от ругани. Это – во-первых. А во-вторых, еще вопрос – кто родится. Если Бог даст сразу сына, это будет лучше всего. Тогда дед внука в обиду не даст, а значит и сноху защитит. Хуже, если родится девочка. Тогда придется терпеть еще – до вторых родов. А если и тогда девочка, то и до третьих. И более. «Пока сына не рожу... Ужасно... Долго ожидания я не выдержу».

От острой жалости к себе София Шарлотта горько заплакала. И утешить ее было некому. Но слезы неожиданно помогли. Она уснула. Это произошло уже во второй половине дня. Снилось ей бесконечная дорога лесом, которой она ехала действительно совсем недавно в Польше. Было тихо и покойно. То была местность полного контроля русских войск. Шведами даже и не пахло. И вдруг в этой тишине послышались громкие и злые мужские голоса: «Где она? Где она?» «Ах, – подумала она не проснувшись еще. – Это разбойники. Какой ужас. Они убьют меня!»

И она проснулась в страхе.

Но это были не разбойники. Это был он, Алексис – в пыльном и грязном дорожном плаще. И обнимал он ее, сонную не снявши с рук даже перчаток, что было очень даже неприятно и неприлично. Но в дверях спальни уже теснились любопытствующие, и надо было немедленно изображать обоюдную радость. И София Шарлотта не нашла ничего лучшего, как засмеяться весело, потрепать его за ухо, воскликнув: «Ах Вы шалунишка! Где Вы пропадали столь долгое время!» И поцеловать. Так что на публику все было сыграно прекрасно. Это главное. И она была довольна.

Не прошло и часу, как ее свели вниз, в столовую, где уже ожидал ее, показывая нетерпение, вымытый и чисто одетый Алексис.

К столу вышли так же Екатерина и царевна Наталья Алексеевна, очень похожая лицом на брата-царя.

Все пока было очень хорошо. И ужин был хорош. И общая беседа текла тихо и неспешно. И лакеи за спинами знатных едоков дело свое лакейское делали отменно. Можно было даже вообразить, что обедаешь в Дрездене, или в Берлине, или даже в Париже.

Но время от времени София Шарлотта посылала мужу тревожно-внимательные взгляды. Как-то все станется, когда они будут вдвоем? Ведь из головы не выходил башмак, который он швырнул в нее и удачно попал...

Между прочим, Алексей Петрович – тоже, хотя и весел

был, и разговорчив, и глядел на жену влюбленными глазами, – тоже... думал. О чем? А кто его знает, о чем он тогда думал...

Хотя уже тогда нашлись бы люди, которые много чего могли бы рассказать о пока еще неясных тайных помыслах Алексея Петровича. Просто так или за посулом не рассказали бы, а вот под кнутом язык бы у них развязался. Таким образом, каким он практически развязывался в действительности, когда в 1817 году в жизни царевича наступило время пыток. В 1712 и даже в 1713 году до этого времени было еще далековато. Но в любом случае – больше всего рассказали бы слуги, рядом с которыми Алексей Петрович помыслов своих не скрывал, и в выражениях – не стеснялся.

Вот один такой случай. Лакей царевичев, Иван по прозвищу Большой, был случаю сему свидетель – от начала и до конца.

14

Случай произошел в то время, когда свадьбу в Торгау уже сыграли, царь-отец уехал, и сам Алексей тоже собирался ехать – к А.Д.Меншикову в Эльблонг. Настроение у Алексея Петровича было отвратительным.

Завтракали. Иван Большой прислуживал Алексею и Шарлотте и просто не мог ничего не слышать.

Нагрузившись сверх меры свежим немецким пивом, которое, как мы уже знаем, очень любил, царевич вдруг принялся громко витийствовать по-русски, в то время как жена

его, ни слова по-русски не понимавшая, напряженно сидела против него и молчала – с непроницаемым лицом.

– Кто ты такая? – выказывая некоторые актерские способности, спрашивал Алексей Петрович. – Обыкновенная рябая немецкая кукла, которую батюшке моему угодно стало выдать за меня замуж. Чего молчишь? Разве н-не так? Ах, да, ты ведь по-русски не знаешь... Ну дак, может, это и хорошо, что не знаешь... Кабы знала – таких бы мерзостей наслушалась, что твои розовые немецкие ушки давно бы уже... отвалились... И что из того, что по французски чирикаешь как сорока, а я – твоего поганого дойча до сих пор превзойти не могу, ошибки делаю, а ты, сука, над ними втуне хихикаешь? Как въеду тебе раза в рыло – так все и сладится. Слово мне поперек не скажешь; побежишь свинец прикладывать, да реветь в подушку... Гер-рманские государи, почитай, как есть, все – шваль и бедны как церковные крысы! А тут – счастье тебе такое привалило – царицей станешь!... Чести такой ради – надобно терпеть и слезы лить... Да ведь скоро только сказка сказывается... И не любя ты мне... Вот как стану царем Московским – возьму, да и сделаю с тобой, что батюшка с матушкой сделал – велю посадить тебя в монастырь под замок. Ни за что. Без вины. Тебя только за замком и держать надобно. Люди добрые уродства твоего ради бояться будут и пугаться, аки чудища лесного. И всех, кто тебя в жены мне приискивал – накажу. И Гизена, и Урбиха... Велю их взять в железа, пытать и головы рубить. Думаешь, не смогу? Дума-

ешь, что я – рохля мягкотелая? Да я, коли хочешь знать, как батюшка, навить, занеможет, подняться на него могу! И люди для сего святого дела найдутся, и деньги сразу... сыщутся! У нас, коли хочешь ведать, и ныне еще немало имучих по старине то тоскуют, ждут, не дождутся, как батюшка умрет. А тут и я – вот он, пожалуйста!

В таких вот, или похожих речах вконец сморило царевича и он, силою немецкого пива сраженный, так и уснул за столом, уложив голову свою среди тарелок и снеди выставленных к завтраку.

Взял тогда Иван Большой, лакей, господина своего, царевича на руки (такой силы был человек) и отнес почивать.

А следующим утром, проснувшийся в ужасном состоянии и с головною болью, царевич, охая, с мокрым полотенцем на голове и еще лежа в постели – допрашивал своего лакея.

– Не досадил ли я часом кому вчерась – по пьяному то делу, а, Иван?

– Нет, – отвечал Иван почтительно.

– А не говорил ли я чего непотребного?

– Не говорил.

– Истинно так? Ох, а ведь и вправду сказать, кто пьян не живет... У пьяного всегда много лишних слов. Мне завсегда наутро – жаль, что хмельной много сердитую да напрасных слов говорю много... А ты, Иванушка, про те мои напраслины не говори никому. А буде, сказывать станешь, так и знай: тебе не поверят. Ты ведь лакей только, а я – царский сын и

наследник. Понял, ты, рожа чумазая? Я запрუსя, а тебя все-непременно пытаться станут. Вот страховито тебе будет... Понял, аль нет?

15

Внимание, читатель! В нашем повествовании появляется новый человек – и вовсе не придуманный автором. Причем, роль этого человека в дальнейшем развитии событий будет становиться все более и более заметной.

Человек этот – Александр Васильевич Кикин.

Примерно с 1715 года, а, может быть, и несколько раньше, он появляется в самом близком окружении Алексея Петровича, и, час от часу играет в этом окружении все более и более значительную роль. Хотя на первый взгляд это в полном смысле слова это удивительно. Потому что до этого он, Кикин, входил в число ближайших – даже не то что бы сподвижников, а друзей-приятелей царя Петра.

Поэтому нам и интересно посмотреть на жизнь этого человека, разобраться в мотивах радикальной метаморфозы его поведения, понять – что это был за человек, и какие события произошли в его жизни, что бы он, живший в атмосфере дружественнейшего расположения к себе со стороны Петра, превратился вдруг в ревностного сторонника Алексея и активнейшего участника опаснейшей интриги, направленной против царствующего государя.

16

Начинал он в составе знаменитой петровской к умпании

вместе с А.Д. Меншиковым, Ф.А. Головиным, Г.И. Головкиным и А.А. Виниусом; был одним из знаменитых петровских «денщиков» больше того: Александр Васильевич, как мы уже поминали, был в составе Великого посольства, а в числе пасольских будучи, поработал еще и волонтером на верфи Саардамской вместе с Петром.

Больше того: у Петра с Кикиным были особые отношения; писал Петр лично ему много, и тон тех писем был таков, что возникало определенное и устойчивое впечатление: пишет приятель приятелю. Вот как, например, писал Петр А.В. Кикину после возвращения Нарвы: «Я ничего не знаю, что писать, точно что недавно... учинилось, как умных дураки обманули» (разрядка наша. – Ю.В.). И в другом письме – по тому же поводу: «Ничего не могу писать, только то, что Нарву, которая четыре года нарывала, ныне, слава Богу, прорвало, о чем пространнее скажу сам.» Чувствуется по этим письмам, что Петра буквально распирает радость, но нужно обратить внимание на «свободный», далекий от официального тона, который мог позволить себе царь только в письме весьма близкому человеку, каким и был для Петра в то время Кикин.

А вот еще письмо написанное в июле 1707 года, когда Петр опасно заболел. Царь пишет его опять-таки Кикину – третьего августа из Варшавы. О чем, прежде всего, говорит самый факт такого письма? Он говорит, что монарх особым образом расположен к Кикину. Судите сами. Но до этого

письма важно довести до читателя и еще одно немало важное соображение. Ведь информация о состоянии здоровья главы государства, а тем более – о его реальной болезни, – есть информация, без сомнения, стратегическая, важнейшая. Кому угодно эту информацию ни в коем случае доверять нельзя. Стало быть, что? Стало быть в то время Александр Васильевич Кикин был явно для Петра не кто угодно. Петр это осознавал. И Кикину – доверял. О доверии Кикину говорит еще одно письмо. От 3 августа 1713 года – о гибели в жестоком шторме на Балтике трех русских галер. Сообщая Кикину об этом, Петр упреждает его: «Прошу о сем, так пространно не объявлять домашним моим». Стало быть, Кикин был не только деловым сподвижником Петра, но человеком близким дому, семье монарха, входившим в его дом во всякое время, могущим сказать нечто семейным, родным Петра Великого.

Так кто же был этот Александр Васильевич Кикин?

Быть может, он был храбрейшим военным, офицером, даже генералом, одержавшим много славных побед для блага своего государя?

Нет, военным он не был.

Кто же он тогда был?

А вот неясно. Хотя... от чего же – неясно... Наоборот – очень даже ясно. Только удивительно. Настолько удивительно, что сам собою напрашивается вывод о том, что Кикин Александр Васильевич был у Петра Великого на исключи-

тельном в своем роде положении.

17

О предках и надежном прошлом рода Кикиных автор не знает ничего бесспорного, но направляет читателя к седьмой книге Сочинений С.М. Соловьева, который упоминает некоего Петра Васильевича Кикина, который, будучи «честного рода» в 1684 году был бит кнутом «за то, что девку растлил»; «да и прежде он, Петр, пытан на Вятке, за то, что подписался было под руку думного дьяка». Отсюда вполне можно сделать вывод, что род Кикиных, хотя и был дворянским, но не из известных; и вышли Кикины, скорее всего, из северных земель. Предки А.В. Кикина были небызупречны в поведении, но ведь мы знаем, что царь Петр Алексеевич не особенно следил за тем, чтобы слуги в его предках были порядочны; ему было главнее, чтобы они сами служили ему, Петру не за страх, а за совесть.

И А.В. Кикин этому условию удовлетворял полностью.

Чем занимался Александр Васильевич? Многим.

Он, например, приискивал мастеров переплетного дела для государевой библиотеки, да еще и таких мастеров, которые могли бы переплести книги таким образом, который Государю Петру Алексеевичу нравился. А кто же раньше показал царю образцы таких переплетов? Догадываетесь? Правильно, Кикин и показал. Он был крупный спец также и по переплетам.

Образно говоря Александр Васильевич сделался для ца-

ря со временем совершенно незаменимым человеком. И, как читатель, должно быть, догадывается, это произошло при живейшем и целенаправленном участии самого Кикина. Он мог организовать все. Это был, говоря современным языком, знающий свое дело и способный к новому личный менеджер Петра.

Еще пример. Царю захотелось устроить фонтаны. Дело новое. Надо опять приискивать мастеров, контролировать ход работ, расходования средств, да так, чтобы еще и сберечь государственную денежку. На такое дело у Петра был человек надежный. И это снова Кикин: хозяйственник, классный квартирмейстер, исполнитель проектов, друг царской семьи и личный приятель Государя, имевший от него особое ласковое прозвище дедушка.

Вот как, вполне приватным образом, с юмором царь обращается к Кикину немедленно после женитьбы последнего 9 июня 1711 года: «Грос фатер! Поздравляем вас с молодой бабушкой и прошу чтоб добра была ко внучку (т.е. к автору письма. – ЮВ), так как дедушка. Мы утешаемся вашими радостями, а у нас всяко бывает».

Легко можно понять, что получавший т а к и е письма от царя, Кикин, мог чувствовать себя вне царского глазу и царского контроля, и, поэтому мог отваживаться на действия, на которые мало кто мог тогда отважиться.

Что имеется ввиду?

Имеется ввиду рвание Александра Васильевича о роди-

чах своих, хотя уж кому-кому, а ему то было доподлинно известно, что Петр относится к таким фактам по-меньшей мере подозрительно. Но в данном случае, все сходило как нельзя лучше. Судите, читатель, сами.

18

Как-то, уже спустя время после женитьбы Алексея Петровича, в Риге, во время ужина царского, на который был за просто зван Кикин, Петр стал в сердцах сетовать на своих «детей» – т.е. на Алексея и на сноху Софию Шарлотту:

– Не возьму в толк никак – куды они деньги девают. Сам шлю изрядно. Данилыч дает без счету, а все не хватает им. Занимать, по слухам, начали. Что делать? Не миновать посылать к Алешеньке человека, чтоб за деньгами его досматривал, счет вел. Да вот беда: нет у меня сейчас такого человека. А нужен – край... Слышь, дедушка, а у тебя такого человечка на примете нет ли?

Удача сама плыла в руки. Случай на глазах приводил посадить на тепленькое местечко брата Ивана. Дрогнуло у Александра Васильевича сердечко, однако удержался, яркой радости не выказал. Ответил только коротко:

– Есть, Государь!

– Ну? – удивился Петр. – Я всегда знал, что у тебя есть все! Даже казначей в запасе имеется. А кто таков, скажи?!

– Скажу, Государь. То брат мой младший, Иван.

Петр немедленно улыбку с лица согнал:

– Брат? А он, что, счетное дело знает?

– Знает, знает, не изволь беспокоиться, сам обучал.

Тут мы должны заметить, что в момент этого разговора брат Иван мог о двойной бухгалтерии и не знать ничего совершенно. Решение старшего брата было, скорее всего, как сейчас говорят, спонтанным. Такого случая Ивану Александр Васильевич упустить не мог. Он только между делом, про себя, попутно отметил: «Ничего страшного. Научу и помогу, если надо будет».

Разговор продолжился. Царь уже и задачу ставил: «Каждый месяц я должен точно ведать, сколь Алешенька и от кого получил, сколь потратил и куда, и каков есть остаток. И не только, еще раз говорю, по моим деньгам, а и по тем, что немцы станут давать Софии. Уразумел?»

– Уразумел доподлинно. Так я брату отпишу?

– Знаешь, не люблю я кумовства?!

– Знаю, Государь мой!

– Ну, а коли знаешь, отпиши ему так: попробуем, мол...

– Попробуем?

– Попробуем. Но отпиши: если хоть на толику малую подастся чаду моему и закроет глаза тогда, когда надо их держать открытыми; если хотя копейка к рукам пристанет – знаешь сам, что я с ним тогда сделаю. Да и ты, как советчик, не убережешься, уразумел?

– Уразумел.

– Ну, а коли так – отписывай, зови брата скорее сюда, посмотреть хочу, каков он есть, твой, Иванушка...

Угроза Петра была нешуточной. Все знали, каким страшным было падение всесильного Андрея Андреевича Винуса, уличенного в казнокрадстве.

Но в то время Александр Васильевич о плохом не думал: вызвал брата Ивана и устроил его наилучшим образом. По крайней мере – так ему казалось. Александр Васильевич верил в свою звезду. Ведь он не заменим для Государя. До сих пор все с рук ему сходило. Деньги через старшего Кикина шли огромные. И царь верил ему крепко.

19

Братья теперь виделись часто. Александр Васильевич скоро обучил Ивана хитростям двойной записи. Братья быстро пришли ко мнению, что легкомысленный и говорливый царевич к новому казначею своему скоро привык, а перестав опасаться, опять-таки, в винных и пивных парах стал крепко проговариваться насчет своих монарших планов и надежд.

Когда Иван первый раз рассказал брату о тех планах и надеждах, не исключено, что Советник Адмиралтейства хотел было бежать к царю с доносом, но, поразмыслив, решил бежать пока погодить. Но скорей всего, обязал брата подробно записывать царевичевы застольные речи, а записи хранить крепко, чтобы никто о них раньше нужного времени не прознал. А когда это нужное время придет, Александр Васильевич и сам не ведал. Может, и не придет вовсе. Думать-то безопаснее, чем записывать. И Александр Васильевич, как человек умный – думал. И было над чем.

Думал он, прикладно так:

Благодетель нездоров и вполне может случиться, что болячка царская, которая его давно и так жестоко мучила, и о которой он писал Кикину из Варшавы, к нему воротится; еще и не дай Бог, как говорится, «почиет в Бозе», а Алексей – царем станет... Ведь коли он от нас, от Кикиных сейчас какие неприятности получит, то, ведь, затаит злобу; а как на трон сядет – обидчиков всех своих наказывать начнет, счета сводить, не миновать тогда обоим братьям в ссылку отправляться, а то еще и хуже того, о чем думать не особенно хотелось. Больно страховито. Посему и резон имеется – покуда с доносом Благодетелю не торопиться, а погодить, поглядеть, как оно все выйдет.

По трудам своим – частных на Благодетеля и на его новое семейство, опасности пока не видел. Да и по главному делу своему – адмиралтейского советника – тоже. Ревизии и пересмотры счетов полные ему пока удавалось оттягивать да переносить, хотя он и чуял всею своею кожею, не мог не чують, что непременно наступит время, когда переносить да оттягивать уже нельзя будет. Однако, и об этом времени Александр Васильевич Кикин, близкий Государю человек, и, можно сказать, приятель, тоже старался не думать.

Так что думал Кикин выборочно: о чем-то нужном и полезном – думал; о чем-то неприятном, хотя и таящем угрозу, старался не думать. Старался только еще больше и лучше услужить Благодетелю и семейству его, справедливо по-

лагая, что именно это может и выручить, когда наступит время платить за перебитые горшки.

«Улита едет – когда то будет!» – любил для себя говаривать Александр Васильевич. И до поры – все было покойно. Как видно, улита действительно двигалась чрезвычайно медленно. А «остатнее» серебро и даже золото, которое все-таки прилипало к Кикиновым рукам, пряталось им надежно. Даже брат не знал, где.

20

Но когда же он случился – переход старшего Кикина от отца к сыну, и почему?

Ревизия денежных и материальных расходов по Адмиралтейству грянула, скорее всего, во второй половине 1714 года; причем, Кикин не смог ответить на многие вопросы ревизоров. А.В.Кикин, как мы знаем, ревизии опасался, ждал ее, но надеялся, благодаря приятельству царя, что ничего страшного с ним не произойдет. Но гром грянул и весьма сильный. Александр Васильевич такого оборота дела не ожидал. Нависла прямая угроза суда. Царь, еще недавно друг кум и благодетель превратился в непреклонного вершителя судьбы, а финал во времена государя Петра Алексеевича Кикину был очень хорошо известен. Вчерашнего баловня судьбы, царского дедушку обуял ужас. Вследствие этого с Александром Васильевичем случился удар: он лишился подвижности и языка. Стали говорить, что дни бывшего царского любимца сочтены. Екатерина Алексеевна, жена царская кину-

лась просить мужа освободить Александра Васильевича от дознания, дать ему по крайней мере, умереть спокойно. И царь согласился. Следствие прекратили.

Но – случилось чудо. Кикин постепенно выздоровел. К нему вернулась речь. Он стал двигаться. Но следствие не возобновили. Царь даже согласился с тем, чтобы Кикин с семьей был оставлен на жительство в Санкт-Петербурге. Но, конечно, о возобновлении дружелюбия Петра не могло быть и речи. Со скомпрометированными сотрудниками Петр рвал окончательно и бесповоротно.

Однако, в связи с параличом Кикина у автора имеются некоторые дополнительные соображения, с которыми он, автор, хотел бы поделиться с читателем. А именно: не мог ли недуг быть Кикиным сыгран? Дело в том, что и сегодня, при современной медицине, вывести человека из инсульта – чрезвычайно сложное, и увы, очень часто, безнадежное дело. Что же тогда говорить о XVIII веке? Чтобы в то время больной полностью восстановился после глубокого паралича? Ну, это вряд ли. Поэтому, автор, настаивая на версии инсценировки Кикиным у д а р а, вполне допускает такую инсценировку. Ведь таким путем А.В.Кикин сохранил себе жизнь и даже избежал ссылки.

А чудеса – продолжались. Царь не полностью отклонил от себя Кикина – по крайней мере, не возражая против того, чтобы Александр Васильевич привлекался к исполнению некоторых дел и поручений – даже с выездом за границу.

Повезло Александру Васильевичу!

Но такой оборот дела вовсе не устроил Кикина, не успокоил его. Втуне он жестоко обозлился и обиделся на Петра. Причем злость и обида со временем только усиливались. Как и большинство образованных и исполнителей, Кикин остался с неутоленным честолюбием. Но теперь, чтобы его утолить, используя Петра, – об этом не могло быть и речи.

И он решился поставить на Алексея. Способствуя Алексею в ожидании власти, а позже – помогая ему укрыться в Австрии, А.В. Кикин рассчитывал этим свое неутоленное честолюбие утолить. Об участи, которая могла быть в случае победы Петра, Кикин отлично знал. Но честолюбие оказалось сильнее. Он шел ва-банк.

21

Вернемся однако в лето 1713 года, когда царевич Алексей Петрович приехал в Санкт-Петербург к жене. Выглядел он неважно: побледнел, похудел и покашливал. Мачеха Екатерина – вот, добрая душа – скорее всего написала мужу тревожное письмо. Тем более, что посмотревшие царевича врачи рекомендовали срочно отправить Алексея в Карлсбад подлечиться. А вдруг у наследника чахотка начинается?

Сын заболел! Отец немедленно бросает все дела прибалтийские военные и мчится в свою новую столицу – поддержать чадо, показать ему свою любовь.

Встречаются отец и сын очень хорошо. Петр добр и ласков и к сыну и к снохе. Отмечает это София Шарлотта в послан-

ном в Вольфенбюттель подробном и почти радостном письме, в котором каждая строчка дышит оптимизмом и надеждами на лучшее: «Царь очень дружелюбен ко мне. Во время своего посещения он говорит со мною обо всех важных вещах и заверяет меня тысячу раз в своем расположении. Царица (Екатерина – ЮВ) не упускает случая засвидетельствовать мне свое искреннее внимание. Царевич любит меня страстно, он выходит из себя, если у меня отсутствует что-либо, даже малозначительное».

Но, разумеется, Софии Шарлотте приходилось на новом месте жительства быть свидетельницей и не весьма приятных эпизодов, о которых молодая жена предпочитала не писать родным ни слова. Например, о том, что Алексис... прострелил себе руку из пистолета. Происшествие было обставлено как случайность. Да и «рана» оказалась пустяковой.

Ночью жена принялась было жалеть мужа. Но он, хотя и морщился от боли, деловито объяснил ей, что выстрелил нарочно:

– А что мне было делать, когда отец назначил мне на понедельник экзамен по чертежному делу? Пожелал доподлинно вызнать, чему и как я в Дрездене и в Кракове обучился. А я чертить изрядно не умею. Отец был бы недоволен, прогневался бы. А я его гнева боюсь – как бы драться не стал. У него это быстро. Да и готовальню большую лейденскую – его подарок – я давно продал... Как все отец узнал бы, худо мне бы стало.

– А почему же Вы продали готовальню, – спросила не удержавшись Шарлотта.

– Деньги нужны были. Задолжал я. Да и трудно было чертить. Глаза слабы. И Август Польский говорить не уставал... «Ни к чему августейшему сыну очень уж учиться. За него все другие сделают. Важнее по-французски говорить да танцевать легко и красиво».

– Король совсем не прав. – серьезно сказала жена. – Этого хватит только чтобы сидеть на троне. Что бы править – нужно намного больше. – Она вздохнула. Почему вздохнула? Потому что ясно было уже ей, что для первого Алексей готов уже сегодня, не совсем правда, но готов. А вот для второго вряд ли будет готов и завтра, и даже когда бы то ни было.

22

Не могла дочь написать матери и о том, что муж ее – худ и слаб, и что врачи подозревают у него чахотку. И написать о самом плохом она тоже не могла, а именно о том, что явилась и причина, буквально заставившая ускорить отъезд Алексиса на лечение; причина эта в том что с ним случился удар; не тяжкий, правда, поразивший правую сторону, но не лишивший, слава Богу, языка.

Царевича скоро отпустило. Но напугал он всех изрядно. Уже в апреле он выехал в Карлсбад. И уж совсем не хотела, вовсе не хотела прямо писать дочь, например, о том, что муж много пьет и в пьяном виде даже руку на нее поднимает.

Нельзя было писать и о том, что отношение к ней здесь в

Петербурге далеко не ото всех хорошее, что только жена царя Екатерина ее, Софию Шарлотту, по-видимому, действительно любит; что младшая сестра царя, которую зовут Натали – смотрит на нее как Мегера, с нескрываемой ненавистью. И не дай Бог, родится девочка; тогда ей, любимой дочери своих родителей станет совсем плохо; так плохо что и сказать нельзя.

А что же можно было писать? Что в начале апреля Алексис уехал в Карлсбад; что расстались они хорошо; что уехал из Петербурга и свекор-царь, и что она сызнова как будто одна и так будет не менее полугода.

Зададимся, однако, вопросом. Чего опасалась София Шарлотта, почему так осторожно подходила к тому – что писать, а что не писать? Все просто. Она опасалась перлюстрации своих писем и поэтому старалась, чтобы они выглядели в русских глазах попристойнее.

23

Инсульт, случившийся с Алексеем, настолько встревожил отца, что Петр уже в мае присылает из Ревеля строгое письмо, в котором приказывает, чтобы роды Софии Шарлотты свидетельствовали надежные персоны, которым он, Петр, вполне доверял, а именно: жена канцлера Головкина жена генерала Брюса, а также Авдотья Ржевская. А свидетельствовать рождение они должны были затем, чтобы Петр получил уверенность в том, что ребенок – не подменный. Когда об этой воле свекра сказали будущей матери, она наверняка в

мыслях своих бурно возмутилась. Но вслух возмущаться не стала, не стала и протестовать. Поджала только губы и ответила кротко: «Ну что же, раз это так необходимо...»

Сами же роды имели быть 12 июля 1714 года. Родилась девочка. Ее нарекли Наталией. Вероятно, чтобы польстить царской сестрице. А может быть и в честь прабабушки покойной.

Расстроенная вконец неудачею, роженица, еще слабою рукою, пишет Екатерине Алексеевне покаянное письмо, в котором обещает, что следующие роды будут уж точно удачными, и мальчик обязательно родится и все будут довольны, и прежде всех, конечно, Его Величество.

Все понимают, что роженице надо бы отдохнуть, но где можно отдохнуть лучше всего как не дома? И ее – с деньгами, подарками и иными многими милостями отправляют домой, в дорогой ее сердцу Вольфенбюттель. И при этом не ограничивают жестко время отдыха; было сказано, чтобы она помнила: царевич пробудет в Карлсбаде не более полугода.

24

И действительно – через полгода Алексей Петрович возвратился в Санкт-Петербург – посвежевший и пополневший. Примерно в это же время, ну, может быть, чуть-чуть после мужа, в новую столицу русских вернулась и отдохнувшая дома София Шарлотта.

Они повели себя вполне любовно, так что многим каза-

лось, что всем размолокам конец. Муж и жена встретились снова. Они здоровы, веселы и счастливы. И полны решимости исправить огрех – произвести, наконец, на свет Божий сына.

С мальчиком связывали свои надежды немало людей в России. Внука жаждал Петр; сына страстно ждала София Шарлотта. Алексей, тоже кажется хотел того же. Но мы все-таки допустим, что Алексей не очень хотел. От чего? Полагаем от того, что очень имел основания полагать, что батюшка им не доволен – так сказать по совокупности, ибо сознавал и сам, что к бремени монаршей готовил себя недостаточно энергично. А раз так, то родись сын у Алексея (и внук у Петра), то царь-отец все свои властные надежды на него и возложит, сделает наследником, а чаяния сына похоронит. Это повергало Алексея в отчаяние, которое, между прочим, он никак не должен был показывать. Очевидно, делать это было нелегко. Но Алексей очень старался. Помогали ему в этом некоторые вновь появившиеся обстоятельства или, что вернее, новые люди, или что еще вернее – одна особа, которую он, как Софии намекнули, привез из Карлсбада. Это была совсем не дурная личиком блондиночка с голубыми глазами и очень хорошо сложенная. Шарлотта не сразу ее заметила, но когда заметила, то несмотря на ревность, нашла в себе достаточно благоразумия, чтобы не интересоваться ею у других. Выждав несколько дней, она спросила о ней у мужа. И сразу же пожалела об этом. Потому что Алексис ниче-

го не ответил. Вышел вон из комнаты. И все. К такому с собой обращению жена не совсем еще привыкла и решила, что имеет право не оставлять этого дела, а потребовать у мужа разъяснений.

25

Дотерпев – как могла – до вечера, Шарлотта несколько успокоилась, полагая, что на ночь муж все-таки явится и тогда с ним можно будет поговорить.

Но Алексис не явился.

И тогда, надев поверх ночного туалета теплый плащ, ибо на дворе была уже осень и во дворце топили через день, она пошла в комнаты мужа, благо они были недалеко. Комнат было две. Первая являла собою что-то вроде делового кабинета. В ней стояло бюро для того чтобы стоя читать и писать. А вторая была спальней, причем местом для сна служила очень широкая софа турецкой работы. Со множеством подушек и подушечек и легчайшем, но теплым покрывалом.

Когда Алексис уж очень сильно «перебирал» с вечера пива или вина, и его приволакивал на себе к супружескому ложу известный уже нам Иван Большой, София Шарлотта показывала лакею большим пальцем на стену, и Иван все понимал: кряхтя тащил повелителя своего дальше – на турецкую софу.

Подойдя к двери мужниных комнат, София Шарлотта немедленно убедилась, что дверь заперта. Она повертела дверную ручку и стала стучать: сначала деликатно – пальчи-

ком, потом – погромче, кулачком, а после вовсе сняла туфлю и стала колотить ею. «Пошло оно все к черту! – со злобою думала Шарлотта, колотя в дверь. – Пусть все просыпаются, пусть все увидят и узнают, какое это чудовище – мой русский муж!» И кричала по-немецки:

– Негодяй! Слушай меня! Быстро открывай или я разнесу дверь в щепки! – Она совершенно не представляла того, как именно будет разносить дверь в щепки. Ей нужно было кричать. Так было легче. Она точно знала, что поднятый ею шум слышат все. Но ни один человек на этот шум не вышел. Тишина стояла полная, и за запертой дверью тоже. «Нет, – с горечью решила София Шарлотта. – Он не откроет». Она еще какое-то время постучала. Потом просто так постояла перед дверью. «Нет, не откроет... Надо уходить. Черт бы его взял совсем».

Но как раз в тот момент, когда принцесса Вольфенбюттельская, в сердцах чуть не плюнув, повернулась от двери и хотела было действительно уйти, дверь вдруг отворилась и на пороге ее появился Алексис. Он держал в руках свечу и шурился, словно разбуженный. На голове его топорщился немецкий ночной колпак: некоторые явные достижения цивилизации Алексис использовал с удовольствием.

– Вы? – чуть громче чем нужно было, удивленно спросил Алексис. Голос его, как со сна, был слегка охрипший. А может быть, он и в самом деле... спал?

– Вы – спали?

– Спал, да.

– Впустите меня?

– Пожалуйте.

Но она войти не поторопилась. Сначала просто остановилась на пороге, повела глазами и сразу поняла, что в первой комнате никого нет. Тогда она быстро прошла до двери в спальню и хотела было ее открыть. Но... Так и есть. Заперто.

– Я так и думала. – сказала София Шарлотта. И спросила:

– Она – там?

– Кто? – чуть более удивленно, чем это было нужно, спросил Алексис.

– Жалкий комедиант! Таких бездарных актеров как Вы, в Неаполе забрасывают гнилыми помидорами, слушали?

– Я не понимаю, о чем вы. Что вы хотите?

– Что я хочу?.. Я хочу знать, где эта Ваша тварь, эта голубоглазая фурия... Она кто? Немка?

– Ах, вот оно что... Нет, она не немка.

– Она что, была с вами в Карлсбаде?

– Была. А что, лучше ли было бы, если бы мне ловили шлюх на улице?

– Где она сейчас?

– Не знаю.

– Не врите. Знаете. И я – тоже знаю!

– Ну и где же она – по вашему?

– Там! – твердо сказала София Шарлотта и показала пальчиком на дверь в спальню.

– Да? – весело спросил Алексей Петрович, и, подойдя к двери, тронул ее рукой. И дверь открылась. Шарлотта все также встала на пороге и осмотрелась. Сделать это ей было легко, потому что спальня была хорошо освещена. Но турецкая тахта была пуста. Правда, следы пребывания на ней человека были, и, притом, красноречивые. Мудрено было только верно ответить на вопрос – сколько людей на ней обреталось какие то минуты назад – один или больше.

Неожиданно для мужа, и даже Наверное, для самой себя, София осторожно вошла в спальню присела на край тахты и попросила тихо:

– Давайте, поговорим.

–Извольте, ответил Алексис и присел рядом.

– Почему вы меня избегаете?

– Необходимо Вас беречь. Так батюшка приказал...

– Непонятно, почему... Потому что беременность началась, да?

– Да.

– Но вы меня, по крайней мере любите?

Тут Алексей Петрович заметно приободрился. Потому что твердо знал, что должен сказать в ответ.

26

– Мы с вами – не бюргеры и даже не какие-нибудь простые дворяне, у которых есть фольварк и тысяча моргов земли. Это они, да еще те, кто пониже могут рожать и растить детей по любви. А мы должны понимать, что брак наш не простой,

а августейший. Любим мы друг друга или не любим, это никому не интересно. Это все чепуха. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос. А вы на мой.

– Это неправда, – явственно всхлипнула София Шарлотта в ответ. – Я вас люблю. Очень люблю.

– А я на этот счет не обманываюсь. И прошу Вас не обманываться. Нельзя любить человека, за которого выходишь по чужой воле.

– Нет, я хочу сказать что сначала я вас не любила, а потом полюбила. Верьте мне. Я Вас не обманываю...

– Сомневаюсь. Очень и очень сомневаюсь. Может быть, наоборот... Сначала вы очень рассчитывали на счастье со мною и готовы были полюбить... Как и я, грешный. А потом все полетело к чертям...

– Что полетело? Переспросила София Шарлотта.

– Боже мой, ну неужели вы еще не понимаете что сегодня я наследник только по крайней нужде? Отец... Не очень хочет передавать мне трон.

– А чего он хочет.

– Не ясно пока. Но я уже кое- что решил.

– И что же Вы решили? – Слезы в глазах жены – настоящие немецкие сентиментальные слезы высохли. София Шарлотта почувствовала опасность. И приготовилась к обороне.

– У русских есть такая поговорка «Насильно мил не будешь»...

– Что она значит?

– Она значит... Она значит, что нельзя любить того с кем спишь не по своей воле.

Шарлотта в ответ сначала молчала потом вдруг опять заплакала, стала говорить шмыгая носом и комкая платок.

– Да, для Вас, для моего мужа эта русская народная мудрость очень удобна.

Теперь настала очередь проявиться подозрениям Алексея Петровича.

– Да? И чем же эта поговорка мне удобна?

– Все очень просто Ваше Высочество. Ведь я – уродлива. И если бы не Вы, вернее, если бы не ваш отец, я бы, возможно, так никогда и не вышла за муж... Кто на меня посмотрел бы, н а т а к у ю... Конечно, если бы мой дорогой отец был побогаче, кто-нибудь и соблазнился приданным. Но ведь у нас ничего нет. Один титул и все. Теперь я должна быть всю свою жизнь благодарна.

– Кому?

– Вам. И Вашему отцу.

– Ну, я тут ни при чем. Меня ведь тоже никто не спрашивал...

– Это ужасно.

– Ужасно.

– Теперь у нас на двоих остается одна надежда.

– Да, я знаю.

– Да, именно. Что бы родился мальчик. Тогда мать буду-

щего царя все сразу будут любить.

– Что Вы говорите!

– Ну хорошо. Пусть не любить. Но хотя бы относиться ко мне вы лучше будете?

– А я и сейчас к вам очень хорошо отношусь.

– Правда? – Глаза Шарлотты ярко вспыхнули, но тут же погасли. – А зачем вы эту... девуку с собой привезли?

– Ну вот, опять вы... Вы что, ревнуете? Так я вам скажу... Она – не немка. И не русская. Чухонка или литвинка... И я не привез ее из Карлсбада, а вернулся с нею. Она не благородная. Простолоудинка. Мужичка. Она вашей ревности не стоит. Мне ее один – добрый человек дал.

– Как это д а л? Продал что ли?

– Отдал. Так будет вернее. Что бы мне не очень было грустить в дороге...

– И кто же он.

– Не важно, кто.

– Но все же... Скажите очень интересно. Я буду молчать.

– Некифор уступил. Вяземский. Который меня начинал еще грамоте учить.

– Я поздравляю Вас! – насмешливо ответила София Шарлотта. – Вы показываете в отношении слуг постоянство вполне достойное похвалы. Раньше этот «свет победы» учил вас только считать и писать. А сегодня продолжает наставлять вас в амурных мерзостях. Держите и далее этого человека рядом с собою. Осыпайте его своими милостями. С ним вы

победите всех ваших врагов!

София Шарлотта перевела дух и продолжила спокойнее:

– Ведь это ужас – до чего вы легкомысленный человек...

Ведь он знает о вас столько всего... Когда он откроет рот – это вам очень дорого обойдется... Как же вы можете этого не понимать?..

Алексей после этих слов жены вдруг действительно похолодел. Мысли завертелись у него в голове одна другой страшнее.

27

... А что, если и в самом деле как-то те разговоры, которые велись в его, царевичевой «кумпании» станут хотя частью известны батюшке? Хоть что-то? Хотя бы самая малая малость?

Страшный пот прошиб Алексея мгновенно.

... Ведь он, батюшка-то, если что важное почует – церемониться не станет. Розыск откроет сразу. А розыск у нас, да в наше время – ой-ой-ой. Не дай господь! Ад крошечный форменный! Пойдут аресты, плети, пытки, дыба! Ведь у него в Преображенском такие мастера есть, что с двух ударов самые крепкие запоры отворяют! И поговорочка у преображенцев есть ух, какая: «Кнут – не Бог, но правду сыщет!»...

Люди в страхе начнут говорить что было и чего не было... Наговорят на меня... Хорошо, если отец просто наследства лишит, царского стола. Хорошо, если в деревню на жительство отправит... И в какую еще деревню... Может, в Фили,

а может и в Каргополь, как Аввакума-протопопа дед мой... А может, и этого батюшке мало покажется и он велит меня во плети взять или на дыбу пошлет с огнем... Ох! Ужас какой... Думать надо, ох, думать надо, что делать... Бежать? Хорошо бы... А куды бежать? Куды бежать то?..

Вот таковы были мысли Алексея, после того как он проводил жену а потом, вернувшись к себе выпустил Ефросинью которая была в спальне Алексея заперта в платяном шкапу. Она особенно не испугалась, с некоторым только беспокойством ожидала окончания разговора сердешного своего дружка со своею немкою.

Она, повторим, не боялась. Она только немного опасалась: а вдруг немка станет обыскивать спальню да потребует отрыть шкаф и обнаружит ее, Ефросинью...

Станет бить? У ней кулачки – маханькие... Не больно будет... Станет за волосья трепать? Чепуха! Мало что ли ее за волосья драли? «Вырвусь да убегу. А о н (т.е. Алексей – ЮВ) день-два от силы протерпит. Прибежит. Еще прощения молить будет. На коленях стоять... Крепенько я его, любезного, к себе бабьей путаю привязала. Покрепче веревки будет».

Так думала Ефросинья.

28

Алексей ушел – даже не обнял жену. Поклонился только. Это он делать умел. Запершись на ключ, София Шарлотта, наконец, дала себе волю: наплакалась всласть. А после того, как пришло некоторое облегчение – присела к столику у ок-

на. Как образованная женщина давнего для нас XVIII века, она не только умела читать и писать. Она получала от чтения и письма удовольствие. Это удовольствие ей доставляли французские романы удобного формата и толстая тетрадь в обложке из темно-красного сафьяна, куда она писала все, что приходило в голову, в том числе, и прежде всего – черновики писем к матери – кусочками, по мере того как некоторые нужные мысли посещали ее.

И так, она стала писать.

«Я – презренная жертва моего долга, которому не принесла хоть сколько-нибудь выгоды и... умру от горя мучительной смертью».

Эти слова, свободные от оценок других лиц, вполне могли бы стать, и действительно, стали частью письма к матери. А другое из записанного в тот день, или правильнее сказать, в ту ночь, в письмо не попало.

Она писала, что окружение ее ужасно. Что муж открыто водит шашни чуть ли не с мужичкою, и прячет ее от законной жены как фокусник. Она писала так же, что сестра царя ее ненавидит и даже не находит нужным это скрывать. Она писала, что в числе ее слуг – все меньше немцев, и все больше русских, которые, однако, понимают по-немецки настолько хорошо чтобы каждое ее, Софии Шарлотты, двусмысленное слово немедленно доносить царевне и тем злить ее еще больше. Она писала, что среди русских есть только один человек, который ее, бедную, похоже, понимает и жа-

леет. Это сам царь-свекор. Но он – далеко, и, видимо, ничего хорошего от сына больше не ждет. И еще она записала: «Боже мой! Когда же, наконец, мне станет легче? Я со всем уже согласна. Пусть бы я даже и умерла от горячки, только ребенок остался жить на этом свете и был бы мальчик и будущий царь. И пусть у него будет великое царствование. А мне, его матери, уже ничего не нужно. Только бы смотреть на него с небес и радоваться. Потому что я не могу допустить и мысли, что мне за мою земную жизнь, полную страданий, Бог уготовил адские муки».

И Бог услышал ее молитвы.

И принес ей избавление от муки жизни.

22 октября 1715 года она умерла в Петербурге от родильной горячки, разрешившись от бремени здоровым мальчиком.

Похоронили ее 27 октября в недостроенном еще Петропавловском соборе.

А через год царевич Алексей Петрович бежал из России.

Поэтому, читателю должно быть ясно, что все, что мы здесь, в этой части описали – чрезвычайно важно для всего нашего повествования.

Часть пятая

в которой повествуется о жизни царевича Алексея Петровича в промежутке времени от смерти жены до начала бегства

1

Во время второй беременности жены, мысли, близкие к паникерским посещали Алексея не раз. Поэтому никаких действий он не предпринимал. Пассивная натура царевича – прямое продолжение его физической немощи и лени, про которую прямо можно сказать, что она раньше царевича родилась – вязала его по рукам и ногам и только копила его страхи.

2

Итак, наступил день 11 октября 1715 года, день, когда родила София Шарлотта; день, когда – и, скорее всего, – до родов, – Петр написал сыну письмо, известное, как «Последний завещание».

Но вручено он было Алексею Петровичу только 27 октября, через неделю, в день поминок по умершей Софии Шарлотте. Автор обращает внимание читателя именно на время написания письма. В тот день София Шарлотта была еще жива, и все надеялись на благополучные роды. Почему же Петр сразу не передал письмо сыну? Все просто. Царь ожидал исхода родов. Если бы мальчик не родился, то и письмо

не было бы отправлено. Петр, может быть, даже сжег бы его.

Но мальчик родился. И это совершенно меняло дело. Даже если при этом умерла мать. С одной стороны – печальный результат, что и говорить. Покойница. Поминки. Надо печалиться. Но кто знает, что в действительности творилось в душе великого Петра в тот день? Может быть, и не печаль, а радость только, а царь ее подавлял, отдавая дань печальному случаю смерти снохи. Все может быть.

Одно можно сказать совершенно точно: оснований для того, чтобы вручить «сей последний testament сыну моему» после того как родился мальчик, стало не меньше, а больше. А почему – об этом читатель, скорее всего, доподлинно разумеет и без авторской подсказки. Все просто. Родился мальчик. Он будет царем. А сын? Сына можно и отставить, если что...

В письме Петр, может быть, даже и против своей воли, накапливает и формулирует аргументы под это самое «если что». Потому что все более и более крепла в монархе сначала мысль, а потом и убежденность в том, что Алексей для царства слаб, что он «лопухинское отродье», что он вполне в силах погубить, без сомнения великое его Петрово дело и что поэтому престол в руки Алексея отдавать никак нельзя. Посему Петр особенно слов не выбирает.

Письмо это имеет название, данное самим автором – Петром: «Объявление сыну моему». В литературе оно фигурирует под названием, которое мы уже знаем: «Последний те-

стамент».

3

Сначала отец пишет о причинах войны против шведов, о ее текущих победных промежуточных результатах, и только после этого переходит к главному, к тому, для чего он, собственно, и пишет это письмо:

«Егда же сию Богом данною нашему Отечеству радость (т.е. победы над Шведами – ЮВ) рассмотря, обозрюсь на линию наследства, едва ли не равная радости горесть меня снедает, видя тебя наследства весьма на управление дел государственных не потребного. Бог ни есть виновен, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную весьма отъял: ибо хотя и не весьма крепкой природы, обаче* и не весьма слабой; паче же всего о военном деле ниже слышать не хочешь, чем мы от тьмы к свету вышли и которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю тебя чтобы охоч был воевать без законные причины, но любить сие дело и всею возможностью сподевать и учить: ибо сие есть едина из двух необходимых дел к управлению, еже распорядок и оборона».

Далее царь пишет, как бы в доказательство своих слов, что, вот, мол – миролюбивые в истории, как, например, древние эллины, легко становятся добычею тиранов и обращается, наконец, к главной для письма теме:

«Аще кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять; то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, что оче-

видно есть, ибо в дни владения брата моего все паче прочего любили платья и лошадей, а ныне оружие? Хотя кому до обоих и дела нет, и до чего начальствуяй, до того и все, а от чего отвращается, от того все. И аще сии легкие забавы, которые только веселят человека, так скоро покидаю, коими же паче сию зело тяжкую забаву (т.е. оружие – ЮВ) отставят! К тому же не имея охоты ни в чем обучаться, так же не знаешь дел воинских. Аще же не знаешь, то како повеливать оными можешь и как доброму доброе воздать и нерадивого наказать, не зная силы в их деле, но принужден будешь, как птица молодая в рот смотреть. Слабостию ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон! Ибо не трудов, но охоты желаю, которую ни какая болезнь не может».

Опять таки, в подтверждение своих слов, Петр снова указывает на брата своего Ивана Алексеевича, который хотя силою был слаб, охоту очень любил и конюшни охотничьи содержал отлично; указывает отец и на французского короля Людовика (вероятно, Людовика XII), который сам в походы не ходил, но военное дело очень любил.

Продолжая делать упреки сыну, отец пишет, не скрывая своего раздражения:

«Сие все представляя, обращаюсь паки на первое, о тебе рассуждати, ибо я есмь человек и смерти подлежу, то кому выше писанное с помощью вышнего насаждение и уже некоторое и возвращение оставлю? Тому уже уподобился ленивому ра-

бу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю (сиречь, все что Бог дал, бросил)! Аще же и сие вспомину, какова злова нрава и упрямого ты исполнен! Ибо сколько много за сие тебя бранивал, и не токмо бранивал, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою, но ничто сие успело, ничто не пользует, но все даром, все на сторону, и ничего делать не хочешь, только в доме жить и им веселиться, хотя от другой половины и все противно идет».

Вот момент: для отца – «дома жить», значит, не стремиться куда-либо и к чему-либо важному – крупный недостаток для человека который готовится управлять государством. И отец эту мысль развивает далее:

«Однако же всего лучше, всего дороже безумный радуется своею бедою, не ведая, что может от этого следовать (истину Павел Святый пишет, кака той может церковь Божею управлять, ниже о доме своем не радеет) не только тебе, но и всему государству».

Завершает отец письмо к сыну так: «Что все я с горечью размышляя и видя, что ничем тебя склонить к добру, за благо избрал сей последний тестомент (разрядка моя – ЮВ) написать и еще мало подождать, аще не лицемерно оборотись. Если же ни, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу: воистину (Богу извольшу) исполню, ибо я за мое отечество и люди живота своего не жалею, но как могу тебя, непотребного, пожалеть? Лучше будь чужой добрый, чем свой непотребный».

Письмо отца произвело на сына страшное действие. Во-первых содержанием, ибо в нем была выражена опасность лишиться «наследства», т.е. трона. А во-вторых – еще и тем что на письмо отца надо было отвечать. Тем более, что вопрос «или – или» отец ставил уж очень определенно.

Можно только представить себе, как повел себя Алексей, это письмо отцовское получивший, какие-такие мысли сразу полезли в его трусливую голову. А трусость была, как нам представляется, и как определили бы современные психологи, «одной из главных психологических дом инант» Алексея Петровича. Поэтому сам он принять решение о том, что и как отвечать отцу – был не в состоянии. Паника овладела им полностью. Требовались дельные консультации. Тем более, и спросить их было у кого.

5

Иван Большой «по темничку» обошел и вызвал к совету Александра Васильевича Кикина и Василия Владимировича Долгорукова. Первый стал с недавнего времени свой, а второй был уже давно свой. Все трое – по одному – явились в одинокую мызу на морском берегу, чтобы держать совет.

Дрожащими со страху руками, Алексей Петрович показал отцовское письмо.

Прежде всего, советчики постарались, как могли, успокоить царевича. А они никаких оснований для волнений не увидели. Особенно Кикин. Он толковывал Алексею: «Это

все ничего. В письме можно что угодно написать это он тебя попугивает, острастки ради все пишет. Таких-то писем можно написать и получить хоть тысячу. И еще когда что будет! Вот и поговорка на сей случай имеется: «Старая Улита едет – когда-то будет!» и продолжил энергично: «Так что пиши письмо батюшке. Винись поболее, голову пеплом посыпай. Напирай больше, что здоровьишком хил и памятью слаб. Ничего, мол, не помню, все забываю. Напиши, что народоправлению другой человек потребен, не такой как ты. Пусть ищет. Все равно никого не найдет... А сын твой – ой, ой, ой!... Его еще дорастить надо. Никто не ведает что завтра будет. Он еще в оспе не лежал. А ныне ты у него один, и миновать тебя батюшка не может. Даже и божись мол, что прав не заявляешь, что для себя просить ничего не станешь, кроме как до смерти пропитания. И помни – письмо ничего не значит».

А князь Василий еще и добавил: «Наши-то записи (т.е. расписки – ЮВ) с неустойкой, которые мы давали друг другу – те и то страшнее. Так деньги надо было отдавать в срок. Это – страшно... А письмо это – тьфу на него! Спрячь его куда подальше и забудь».

Такие слова несколько успокоили потерявшего самообладание царевича. Разъезжались опять-таки по одному. Но Кикин и Долгорукий нашли минутку, переговорили по поводу царского письма с глазу на глаз. И разговор их был куда более серьезный:

– Неужто отец что проведаль? – в страхе спрашивал Долго-рукий. – Страховито. Знаю я, какие в Преображенском мастера языки развязывать...

– Да, – согласился Кикин. – Скажешь, чего и не было. Может, за нами уже следят, ты не заметил? Осмотришь. Я – тоже осмотрюсь... Надо бы попритихнуть... Не хотел бы к нему ездить более. Пока... Больным, что ли, сказаться?.. Тем паче я от хвори своей еще не оклемался... И тебе, князь, советую...

6

Милостивый Государь батюшка!

Сего октября в 27 день 1715 году на погребение жены моей отданное мне от тебя, (разрядка наша – ЮВ) государя [письмо] вычел, на что иного донести не имею, только бу-де изволишь за мою непотребность меня наследия лишить короны Российской, буди на воле вашей. О чем и я вас го-сударь всеишайше прошу: понеже вижу себя к сему делу не удобно, понеже памяти весьма лишен (без чего ничего не возможно делать), и всеми силами умными и телесными от различных болезней ослабел и не способен стал к толикого народа правлению, где требует человека не такого гнилого, как я. Того ради наследия (дай боже вам многолетнее здравие!) Российского по Вас (хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава богу, брат у меня есть которому дай боже здравие) не претендую и впредь претендовать не буду; в чем бо-га свидетеля полагаю на душу мою и, ради истинного свиде-

тельства сие пишу своею рукою. Детей моих вручаю в волю вашу, себе же прошу до смерти пропитания.

Сие предав в ваше рассуждение и волю милостивую, все-нижайший раб и сын Алексей.

Как мы видим ясно, ответное свое письмо царевич написал отцу в полном соответствии с наставлениями Александра Васильевича Кикина.

Проходит время, необходимое, для того чтобы это письмо скорым порядком доставлено было отцу. И Петр его читает.

Мы не знаем, что подумал, и что реально в сердцах высказал по поводу сыновнего письма царь и отец. Однако в состоянии кое-что сообразить, и, притом, с некоторой долей вероятности. Вот они, наши соображения.

7

Петр читал много. И довольно быстро выработал своеобразную привычку в чтении. Текст он читал дважды. Первый раз только накоротке пробежал глазами, буквально проскальзывал написанное, стремясь как можно быстрее выяснить каково письмо – с добром или с неприятностями.

Уловив же основное в письме с налету, Петр, в зависимости от важности, или, что будет вернее, если письмо этого заслуживало, прочитывал его очень внимательно. Большого, как правило, и не требовалось, потому, что у Петра была отличнейшая память. Впрочем, как известно, все Романовы обладали превосходной памятью, даже и последний император, помнивший пофамильно всех командиров полков и ко-

раблей флота.

Итак, сыновнее письмо отец прочел очень внимательно.

Прочел – и задумался.

Было, отчего задуматься. Сын дал ответ. До сих пор он на упреки либо молчал, либо молил о прощении неведомо каких вин. Да еще и на колени часто падал. И опять прощения просил. И руки целовал. Тьфу! Как есть – бабская натура. А ныне ответил. И что же? Пишет, что неспособен к толикого народа управлению. М-да... Что сие есть? Сие есть то, что наследник своею волею отказуется от наследства трона. – Так что ли? А истинно ли сие? Ведь ему едва не с пеленок все талдычили – и так и сяк, что он будет царствовать. И я ему не единожды это говаривал. Не новость это для него. Должен бы привыкнуть... Да и царствовать – примудрость не великая. У царя всегда под рукой те, кто готов волю монаршую исполнить. А коли кто что не исполни... Как там сказках бают: «Мой меч – твоя голова с плеч...» Иное дело – править... На то нужны и сила, и голова, и воля. Одначе – знают ведь: из тех кто царствует – правит малое число. Сила, воля и голова в едином теле далеко не у всех монархов бывает. Далеко, не у всех...

А у него – есть ли голова? Есть, есть и не худая... Головою до правления он достал бы. А силой? Есть ли силы? Говорит то он о немощах своих часто но я, чаю, он более наговаривает на себя. Дабы от моей воли уберечься. Трусит. Как бы я его не загнал куда с поручением. Стало быть не хочет? Труда

боится? Мороки? А коли боится, надобно так сделать, чтоб не боялся. А как?.. Наградить его что ли? – спросил сам себя Петр и тут же почти возмутился: «За что?» Хотя постепенно он возмущение свое и успокоил: «Ведь он-то что я велел ему – исполнял. Сам дела не искал и не просил, да. Но и от дел далеко не бегал... Коли Булавин на Дону поднялся и я велел ему раздавить гада, он – не убоился. Правда что со шпагою на воров не скакал, но всегда вполне ведал, как и что оно все там было – и с Кандрашкой бешеным, и с этим... Носачем, и с иными смутьянами – большими и малыми. И я, егда хотел – много знал чего чрез сына, ибо писал он мне тогда вполне прилежно и по всей правде.

А как пошел Карл на нас из Польских земель, то... ить я Алексею Москву отдал – крепить город, и он от трудов тех не бегал, и Москву, как могли, укрепили. Иное дело, что шведы до Москвы не дошли, были по ветру пущены с Полтавы и Переволочной... И рекрут он по моему приказу набирал. Правда, что из новиков многие не то, что в гвардию, – в простые солдаты не годились. И хотя ругал я его за то изрядно, не мог же он каждого рекрута сам смотреть. Другие набедокурили.

Так что делать дела сын может. Но не любит. И буде выбор получит – делать что государское или спать, выберет скорее второе нежели первое... Так, что ли? – спрашивал царь сам себя. – Так... Ну, а коли так, то и думать далее нечего. Не будет ему фарта. Не будет Алешка царствовать. Ибо, чаю до-

подлинно: попади ему держава в руку – все прахом пойдет. На печи пролежит. До самого своего последнего часу».

Так, скорее всего, думал Петр, получив сыновний ответ на свой к нему «последний testament», будучи уже в дороге, ибо уже через считанные дни после поминок Софии Шарлотты уехал из Санкт-Петербурга.

Отец и сын расстались надолго. В следующий раз они увидятся только в самом начале 1718 года, когда сына-беглеца вернут в Москву.

А пока они расстались. И, как кажется, без особых сожалений с обеих сторон.

Хотя и допустим, что настроение отца было лучше, чем сына. Родился мальчик-внук; ему можно оставить корону. Родился и сын Петруша – «Шишечка». И ему тоже можно оставить корону. Появился выбор. Ситуация перестала быть вынужденной. У Алексея же Петровича рождение сына и брата порождало только печаль и даже злобу, потому что он отчетливо понимал: трон от него уходил. Рушились все и всяческие надежды царевича на властное наследство – в какой угодно форме – в форме ли шапки Мономаха или регентства.

8

В развитии событий наступила пауза – достаточная как раз для того, чтобы сыну отец с дороги прислал ответ. Письмо отца помечено 19 января 1716 года.

В письме отец прямо пишет, что словам сына об отказе от

власти не верит.

А почему – не верит?

Потому, что – как пишет Петр – даже если бы он сам, т.е. Алексей, и захотел бы поступить честно, (т.е. не обманывая своего отца), то сделать это не позволят сыну «большие бороды»*, которые ради тунеядства своего ныне не в авантаже обретаются, которым ты и ныне склонен зело. К тому же чем воздашь за рождение отцу своему? Постигаешь ли, в каких моих печалях и трудах достигши только совершенного возраста?»

И сам же отвечает на вопрос:

– Ей, ни коли! (т.е. «да никогда!») Что всем известно есть, то паче ненавидишь дела мои, которые я делаю для своего народа, не жалея своего здоровья. – И далее: «И, конечно же после меня ты разорителем этого будешь. Того ради, так остаться, как желаете быть, не рыбою, не мясом, невозможно, но, или перемени свой нрав и не лицемерно удостой себя наследником, или будь монах».

Нам вполне понятно, почему Петр написал о монашестве. Монашество, как он понимал, полностью закрывало Алексею дорогу к трону. Но автор хочет обратить внимание и на другое: даже в этот раз отец дает сыну шанс. Нужно переменить только свой нрав и «нелицеприятно удостоить себя наследником». Но, хотя, как говорится, – написанного пером и топором не вырубить, автор все-таки усмотрел в этом условии, или, вернее сказать, почувствовал то, что Петр такого

вот изменения личности сына-царевича не видит и даже не допускает. Отчего же тогда пишет?

А пишет, вероятно, в расчете на тех, которые будут читать написанное им после того, как земной путь царя Господь прекратит. Не хочется живому еще царю представлять перед читателями сыноненавистником.

9

Однако, то, что вполне ясно и понятно было отцу, а также отчасти сегодня понятно и нам, – неясно и непонятно было сыну. Что делать то? Может быть, действительно, отец меняет гнев на милость? Может быть, стоит «нелицеприятно удостоить себя?» Но как это сделать? Не ясно...

Ясность понимания ситуации вносит А.В. Кикин. Для него напротив, совершенно понятно, что

– от стремления овладеть престолом Алексею Петровичу отказываться ни как не возможно. Почему? Заметим не лицемерно, что ежели отказ станет реальностью, то в этом случае рушатся до основания все честолюбивые надежды самого Александра Васильевича Кикина;

– монашество не в коем случае не может закрыть дорогу царевичу к престолу, ибо клобук не прибит к голове гвоздями, его снять можно;

– посему надобно «для виду» покориться отцовской воле и идти в монастырь, поелику батюшка ни за что в перемену сыновнего нрава не поверит.

10

И здесь как раз удобно особо заметить, что государь Петр Алексеевич по некоторым свидетельствам всерьез рассматривал вариант монастыря; но даже в выборе обители не думал давать сыну свободу – сам выбрал для него Тверской Успенский Желтиков монастырь на реке Тьмаке в четырех верстах от Твери. В книге «Православные русские обители» об этом говорится буквально следующее: «Обитель эта весьма достопримечательная... тем, что одно время в этом монастыре был заключен царевич Алексей, опальный сын императора Петра Великого. До сих пор сохранилась камера, где он был заключен». У нас есть некоторые соображения по поводу того, когда и на какое время Алексей попал в монастырь, но эти соображения идут значительно ниже по тексту. Здесь же нам кажется уместным добавить сведение К. Валишевского, по мнению которого Петр сам велел приготовить сыну такую келью, «которой принятыми мерами был придан вид тюрьмы». Валишевский и здесь не упускает возможности показать излишнюю с точки зрения цивилизованной и необъяснимую с той же точки зрения жестокость царя Петра.

11

Но совершенно неожиданно ход событий получает заметное ускорение. Потому что проходит после 19 января может быть неделя с небольшим, и в Санкт-Петербурге получили известие, что царь отправляется в Карлсбад на лечение и вызывает в Ригу, где он пока находится... А.В. Кикина с тем, чтобы тот сопровождал его, Петра, в Чехию.

Нет, нельзя еще пока сказать, что Петр в отношении проворовавшегося Главного советника Адмиралтейства сменил гнев на милость. Просто царь его взял. И все. Зная бойкость и опытность Кикина в торговых делах. Может, хотел купить что-то за границей...

Удача сама плыла в руки!

В кружке Алексея Петровича сразу же порешили, что Кикин искать возможность остаться дома не должен, а должен ехать в Карлсбад.

Для чего? Для того, что бы у кесаря сделать разведку. Разведку? Чего? Как? Ясности в этом пока не было. Но ехать – должен.

Дело все в том, что новый русский резидент в Империи Авраам Павлович Веселовский нашему Кикину был тоже близкий знакомец и даже приятель. Приятельство их велось с того, верно, времени, когда Александров в денщиках у Благодетеля обретался. Что выйдет из контакта с Веселовским, Кикин пока не знает. Но все берет на себя. И пусть Алексей Петрович на сей счет совершенно не беспокоится. Получится – получится, не получится – не получится. Что Бог даст.

12

Карлсбад зимой – не самое приятное местечко. Облачно. Сумрачно. То и дело срывается дождь со снегом.

Но Петра погода здесь почти не интересует. Он не обращает на погоду ровно ни какого внимания. Он ждет, давно уже ждет знакомого облегчения своим больным почкам

(или «моей урине», как он часто говорит), жаждет этой чудесной тепловатой водички, папахивающей ощутимо заметно тухлым яйцом, ждет чудесную вареную свеклу, ждет капустный сок, ждет знакомого врача с совершенно непронизносимой фамилией со множеством шипящих, – словом жаждет облегчения.

И мы – здесь и сейчас не станем много места и времени тратить на описание болезни Петра I – пиелонефрита; скажем только что с той поры, когда болезнь вполне определилась, царь немало времени и сил сам потратил на поиски водички, которая облегчила бы его немалые муки. И городок Карлсбад (т.е. по-чешски буквально «Карловы-Вары» – в переводе на русский – «Карловы кипятки»). Обустроенный вокруг горячих источников, он не раз посещался Петром Великим. Карлов кипяток петровой «урине» хорошо помогал.

13

Русский резидент в Империи Авраам Веселовский должен был встретить и действительно встретил Петров поезд на границе. Так что двум приятным знакомцам – Веселовскому и Кикину в дороге не раз представилась возможность переговорить. Разговоры вели разные: о здоровье, о погоде, о новостях – европейских и домашних... Немало остряли, смеялись и радовались тому, что понимают друг друга с полуслова. И однажды – во время довольно уже позднего ужина в маленькой чистенькой гостинице на пути в городок Хеб, Александр Васильевич решил открыть некоторые карты

Аврааму Петровичу. Но произошло это не сразу. Вначале Александр Васильевич должен был битый час выслушивать жалобы на свою несчастную долю. Это было общее место и поэтому Кикин молчал и ждал. Потом Веселовский начал говорить в том смысле, что Он, т.е. царь Петр – человек не ровный, и потому-де, даже какая-нибудь мелочь легко может быть сочтена им за ошибку, а то и за не рание о пользе государства. Ведь Он приказал ему, Веселовскому покинуть Лондон и работать в Вене – по тем же делам. А отчего и зачем – до сих пор не ясно. По этому он, Абрам Веселовский, и нынче в Вене – словно на пороховой бочке сидит. И всякий час царь волен приказать вернуться домой. А зачем?

– Может, наградить? – спросил Кикин.

– Может. – согласился Веселовский. – А может на дыбу прикажет подвесить со встряской жестокой...

– А есть, за что?

– Кто бы сказал...

И они помолчали.

– А ты – не езд... – тихо сказал Александр Васильевич.

– Как так?

– А так. Он прикажет, а ты не езд...

– Найдет...

– В Европе – может, и найдет. А ты – дуй в Америку. Там – не найдет!

– Тебе – легко подсказки раздавать. Ты ведь у него на правой руке сидишь... Он тебе верит.

– Верил да разуверился... Ухватил.

– Неужто?

– Остаточные суммы ревизовали...

– Ну и?..

– Не досчитались...

– И много?

– Не говори...

– Да-а-а-а...

– Много, мало... Для него разницы николи нету. Для него

– вор – и все. А раз вор – один на все разговор. Под караул дома посадил.

– Но ведь не в Приображенское...

– Ну... Но испугался я – страсть как...

– Понятное дело.

– Цельных два месяца без языка был.

– Ого! Не шутка.

– Ну...

– Как же он тебя с собою взял?

– А вот взял...

– Простил, что ли?

– Не ясно. С собою понимаешь, взял, а до себя не допускает.

– Помог тебе кто?

– Помог. Помогла.

– И кто?

– Не велено сказывать.

– Может, еще сменит гнев на милость?

– Такого не бывало. Светлейшему только везет. А так...

Виниус на что уж был свой...

– Да... Смотреть надобно во все глаза чтобы не оступиться...

– Чего там смотреть... Теперь уже все. И бежать некуда.

Одна надежда и осталась...

– На кого?

– На кого... На Алешеньку...

– Тсс! – зашипел в страхе Веселовский и стал оглядываться вокруг.

Но ничего подозрительного не заметил. В небольшой трактирной зале за столами только несколько человек. И все по виду местные. Ели похлебку с клецками, жареные шпикачки с капустою, пили себе пиво. И ни один не сидел в опасной близости – чтобы подслушивать русских.

14

И после еще бывали у них встречи. И здесь, в этом маленьком трактирчике по дороге на Хеб. И в прочих, на него похожих трактирчиках. Бывали и конные прогулки – подальше. И хотя и знали эти двое наших друг друга хорошо, но подбирались к главному не торопясь. Каждый доподлинно понимал, что вся эта тихая возня вокруг и рядом с царевичем Алексеем Петровичем есть не игра, а не что иное как государственная измена.

За дела такого рода на Руси по головке ни когда не глади-

ли. Чаше эти-то головы рубили. А уж нынче-то... И говорить много нечего. Бают люди – Сам в Преображенском стрельцам головы рубил. С единого маху...

От речей и мыслей таких у обоих – Кикина и Веселовского души в пятки уходили. Бежать хотелось без оглядки. Только вот куда?..

15

Но, мало-помалу, постепенно – вырисовывались все же и контуры действия, которое нужно было обделать, чтобы не только самим живыми остаться, но и куда повыше забраться.

Вполне ясно было, что у царевича Алексея Петровича – день ото дня – все меньше оставалось шансов на престол. И все может действительно закончиться тем, что беднягу отправят куда-нибудь за Камень, под строгий караул или в северный монастырь – на всю жизнь. Это если ничего не предпринимать.

Обоим было ясно, что пока этого не случилось, надобно царевича из Отечества... Того, значит... Вывезти. Как угодно. То ли явно, будто бы на лечение, то ли тайно – не ясно пока, каким образом, но вывезти непременно. Но вот еще вопрос: кто согласится царевича принять? Что ответят на этот вопрос в Лондоне, в Вене, в Париже, в Риме, а, может, султан? Все это требовалось тщательно обмозговать. Стали обмозговывать. И вот какая картина в результате их мозговой атаки выяснилась.

Лондон принять царевича не захочет. Пусть и не любит

король царя. Тут не любовь. Тут выгода торговая. Ныне мы в Англию везем лес, и поташ и соль, и пеньку, и смолу. Все англичане покупают и похваляют. А как Государь то проведает, что они Алексея укрыли – сейчас торговле конец. Лондону сие не выгодно. Нет-нет, в Англии Алексея не примут.

Париж тоже сие делать не станет. Как нынче Государь явно хлопочет о союзе с французами. Пока не ясно, правда, что о французам этот союз может дать; наши аналитики решили что ровно ничего кроме головной боли. Потому как и со шведами, и с турками тако же Людовик дружит и рвать с ними из-за государева честного благоволения не будет.

Папа принять Алексея Петровича не прочь. Однако, бесприменно, что паписты сразу станут давить на царевича на предмет принятия католичества, или, на худой конец униатства. А царевич, как полагали Кикин и Веселовский, на это не пойдет никогда. В православии он крепок и церковь греческую любит. А без его католичества или униатства Рим возится с царевичем не станет. Пропадет весь резон. На папе, стало быть, крест надо ставить.

Что до султана, то тот, как было допущено, – поиграть с Алексеем будет не прочь, и даже очень. И спрятать у Порты царевича есть где: и Афон, и многие дальние обители в Сербии и Черногории для сего преотлично подойдут. И охраны неусыпной у турок достанет. Но опять-таки – сам царевич на сие не пойдет. Больно басурман не любит.

После всего – так вот и получается, что остается один

только кесарь. Мать-покойница младенца Петра Алексеевича сестрою жене самого императора приходится. Как же это родичу не порадеть то?.. И православных у Кесаря хватает...

На чем порешили? Сошлись и порешили, что Абрам Павлович потаенным порядком разведает и окольно испросит в Вене кого следует на предмет, каково Алексею Петровичу будет в гостях у Кесаря да еще, сколько положат на содержание царевичу и людям его, кои с ним выедут. А как разведает все это, даст знать Кикину. А тот – царевичу.

Только после этого, как полагали Кикин и Веселовский, можно будет думать о том, как беднягу-царевича за рубеж вывезти. А без этого – ни то что говорить что, а и шевелиться не следует.

Конечно, по результатам бесед и размышлений сих наши аналитики никаких записей не вели, справедливо полагая то: зачем самим же представлять доказательства государственной собственной измены?

И о том, что будет потом, когда Алексей Петрович государем сделается, они меж собой тоже не говорили. Только каждый об этом думал со сладостью. И до того часто думал, до того часто сим сладчайшим мыслям предавался, что казалось каждому, что и дело уже сделано, и сидят то они оба рядышком с государем Алексеем Петровичем одесную один, а ошуюю – другой.

близился к пункту, во всей излагающейся нами истории важнейшему. Потому что до сих пор, то есть до того, как Веселовский принялся изыскивать контакты с австрийцами, вся деятельность Алексеевского окружения, направленная на сохранение шансов царевича на царствование, была не более чем мышинной возней и пустой болтовней такого, примерно, направления: «Хорошо, как бы государь умер, тогда Алешеньке непременно царствовать». Или: «Пусть Алексей даже на пострижение соглашается. Ведь клобук то, не гвоздями к голове прибит, его и снять можно» (Это, как мы уже знаем, точка зрения Кикина).

И даже позже, когда Кикин и Веселовский обсуждали между собой вопрос о том, где в Европе можно надежнее спрятать царевича «до поры», т.е. до смерти Петра Первого – все это были не более чем тайные пожелания, высказывавшиеся время от времени тайным образом группой лиц. И не более того.

И совсем иное дело, когда начинает свои поиски в пользу царевича Алексея Петровича Абрам Павлович Веселовский, агент России в Вене. С этого уже момента налицо и заговор, и государственная измена.

17

Итак: кому же из австрийского руководства А.П. Веселовский мог пустить пробный шар? Поразмышлять здесь есть над чем. Поскольку в самое ближайшее время события должны были получить заметное ускорение в развитии.

Ошибиться было нельзя.

Императорское окружение тогда составляли: канцлер граф Даун, вице-канцлер граф Шенборн, граф Цинцендорф, граф Шторенберг и князь Траутсон. Подробнее о них речь пойдет далее. А сейчас необходимо сказать следующее.

Нам представляется, что это и был тот круг вполне доверенных и вполне проверенных лиц, своеобразное императорская политическая коллегия, опираясь на которую Его Величество Император Священной Римской империи германской нации Карл VI Габсбург принимал важнейшие решения.

Самой же удобной для контакта А.П. Веселовскому представлялось фигура вице-канцлера графа Шенборна. И вот, почему.

По службе они уже виделись и беседовали. И поэтому просьба Абрама Павловича о встрече, особенно в то время, когда царь полуофициальным образом находился на территории Империи, вице-канцлера не удивила. Несколько удивился Шенборн только от того, что русский резидент попросил о приватной встрече. Но и это, по здравому разумению, не могло изумить Шенборна. Потому что у царя могла быть и какая-то личная просьба, которую удобнее передать неофициально. Например, он мог высказать пожелание заказать венским придворным ювелирам драгоценности. И об этом надо было, конечно, приватно известить императора. А, может, русский властелин хочет приобрести что-нибудь из жи-

вописи? Ведь по слухам, он начал собирать свою коллекцию. Голландцев и немцев. Морские виды и корабли. Вкусы у него странные, но ведь «De dustibus non est disputandum».

18

Принимая во внимание все эти, не вполне еще ясные ему самому соображения, граф Шенборн передал русскому резиденту через своего человека – часовых дел мастера Кеннера, что встретиться можно было бы в... Хофбурге, императорском дворце. Поясним, почему.

Хотя Хофбург – это действительно резиденция императора, но время от времени, по приказу императора в ту часть дворца, где были размещены картины, пускали и простую публику. Веселовскому было сказано, что как раз завтра, с полудня на три часа откроют для обозрения полотно великого итальянца Лоренцо Лотто «Мадонна со святыми Екатериной и Иаковом Старшим».

Здесь будет интересно заметить, что картина сия была куплена у художника Бартоломео дела Нааве, а уже тот перепродал ее англичанам, которые, было время, много покупали живописи – и не особенно торговались – для своего короля, несчастного Карла I, а после того как его казнили сторонники ужасного кровопийцы Кромвеля, картину эту, и еще много картин эрцгерцог Леопольд-Вильгельм, большой ценитель живописи, у англичан купил.

А историю полотна кисти Лоренцо Лотто Абрам Павлович Веселовский должен был против своей воли выслуши-

вать находясь среди многих часов. Часовых дел мастер Кеннер, на беду русского резидента оказался еще и немалым любителем живописи «от Джотоо и далее» и просто очень любил поговорить.

Назавтра к полудню Веселовский поплелся в Хофбург. Именно поплелся, потому что к живописи был ну совершенно равнодушен. С немалою толпою он прошел во дворец, толпа же привела его к самой картине.

Абрам Павлович языки знал, прожил уже не малое время в Европе. Он с удовольствием потреблял западные культурно-бытовые благости, но ... «Но позвольте, – спрашивал он сам себя в некоторой растеренности, поскольку был православным, в вере тверд, и на творения этого Лотто смотрел как на... кощунство, и не иначе. «Какая же это, прости, Господи икона? Это просто крестьяне присели отдохнуть от трудов праведных. Больше того: если бы не ангел, можно было бы подумать черт знает что! Какие же это святые? На наших-то иконах – коли святой, то уже и худ так, как и должно быть праведнику и постнику. А здесь? Персоны с жирком-с. Тьфу!»

В самый разгар таких размышлений кто то взял Веселовского под локоть, а когда Абрам Павлович посмотрел, кто, то увидел снова часовых дел мастера Кеннера.

Не выпуская из руки локтя Веселовского, мастер, благоговейно глядя на творение Лотто, говорил негромко, а особенно для русского резидента: «Превосходно, правда? Хотя в

композиции нет ничего нового и это обыкновенное «Святое семейство». К тому же – прошу обратить внимание – природа на полотне тоже совершенно обыкновенная. Облака и небо совсем не палестинские, а совершенно те, что бывают в горах Тироля».

«И это еще не все! – пел почти-что в уши Веселовскому часовых дел мастер. – По каноническому правилу ангел должен держать над головой девы Марии не венок, а корону. А здесь – веночек, вот как!»

С видимым сожалением закончив рассказ о картине, Кеннер также тихонько, с тою же улыбкой, сказал резиденту, что он, Веселовский, должен сию минуту спокойно зайти за вон ту зеленоватую плотную портьеру. Там будет дверь с ключом с обратной стороны. Всего то и нужно – войти в эту дверь и закрыть ее на ключ. Вот и все...

19

Закрыл, как было сказано ему, дверь на ключ Абрам Павлович, но повернуться, как говорится, не успел, как горячая волна ужаса мощно плеснула ему в лицо.

Сколь ни был циничен в жизни своей Веселовский, а все же хватило ему разума в тот момент понять главное: «Вот, она, государственная измена! За это уж точно не помилуют»... Но времени на раздумья по этому поводу уже не осталось. Потому что явился учтивый слуга, разодетый как господин и открыл перед ним своим ключом еще одну дверь – незаметную в стене. Без слов стало Абраму Павловичу по-

нятно: теперь надо было идти в эту дверь. Вздохнул Абрам Павлович да и вошел. Тотчас дверь за ним захлопнулась, замок запорный щелкнул: ключ повернули и дверь заперли.

Веселовский оказался в небольшой, без окон, комнате, свет в которую попадал через потолок, которого, вообще говоря, не было. А было стекло, через которое были видны облака.

Комната была великолепно обставлена и убрана: с удобной софой, с круглым столом, покрытый тонко вышитой кисейной скатертью. На полу лежал ковер – толстый и пушистый, – для сокрытия шагов. Все было в наивысшей степени пристойно.

В кресле у стола, спиной к двери сидел человек, лица которого видно не было. Это был граф Фридрих Шенборн. Веселовский убедился в этом, когда сидевший встал и обернулся. Именно с ним Абрам Павлович и рассчитывал увидеться. Но некоторая таинственность, организованная цесарцами, все же повлияла: резидент вздрогнул и немедленно почувствовал жестокую сухость во рту, слабость в ногах и даже подступившую тошноту. Но он взял себя в руки, и, поскольку Шенборн уже улыбался, заулыбался тоже и шагнул навстречу.

– Добрый день, господин Веселовский, – сказал Шенборн лучезарно улыбаясь.

– Добрый день, Ваше Высокопревосходительство, – ответил Веселовский, заставляя себя улыбаться как можно при-

ветливее.

– Вы хотите мне что-то сказать?

– Да. Я ведь сам искал с Вами встречи...

– Говорите...

– Подождите, господин граф... Мне немного нехорошо...

Один момент...

– Может быть, позвать врача? – Шенборн показывал необходимую в таких случаях заботливость.

– Нет-нет... Лишние люди – лишние свидетели.

– Даже если это врачи?

– И врачи – тоже...

Прошло какое то время; может быть минута или две, пока русский резидент в Империи Абрам Веселовский, решившийся на государственную измену, сказал, наконец:

– Я готов.

20

Здесь нам, любезный мой читатель, самое время и место попытаться ответить на вопрос о мотивах измены Веселовского.

С мотивами матушки Евдокии, Якова Игнатьева или Никиты Вяземского все было более или менее ясно. Они знали и любили царевича с детства и так или иначе, старались для его пользы. Понятна даже метаморфоза, произошедшая с Александром Кикиным. Этот, бывший в ближайшем фаворе у Петра, потерял его доверие, едва не попал под суд, озлился и загорелся мстостью подлого человека – переменил

хозяина.

Но какая же нужда была Абраму Павловичу Веселовскому, важному дипломату, царскому выдвигенцу, входить по своей воле в партию заклятых врагов Петра?

Вопрос этот интересует не только нас сегодня. Надо полагать, он очень интересовал и Кикина. Поэтому, когда уже план умыкания царевича так-сяк был сверстан, Веселовский готовился отъехать в Вену, и уже царь – на робкую просьбу резидента, что надо бы ему в Вене быть, дела ведь не ждут, ответил: «Правда, правда, поезжай; что ты тут со мною будешь лодырничать», – беседовали Кикин и Веселовский, считай, напоследок перед решительным шагом последнего, – Кикин спросил, не весьма, впрочем, уверенно:

– Слышь, Абрам Палыч, я спросить тебя чего хочу...

– Ну.

– Чего ради ты от государя то... Того... Уходишь? Ну я – ладно. Я едва от петли, может, ушел. Зол больно есьмь. Да и напугал Он меня выше меры... Ну а ты-то что?

– Я-то? – Веселовский немного помолчал перед тем как отвечать, (как бы взвешивая, наверное – говорить-не говорить) – Ладно. – решил он вслух. – Ин, будь что будет. Скажу. Мы и так уже один другому много чего сказали. Так что... Слушай.

Я в чужих землях не первый день обретаюся. И много чего видел и знаю. Много чего... А попрех всего, знаю, что во всей земле нет государя, кокой бы к нам, московским людям,

честную приверженность имел. Либо смеются, либо не понимают, либо боятся. И – которые бояться – тех все больше становится...

– Но так и что с того? И пусть бояться. Это даже очень хорошо что боятся. Хуже было б, когда не боялись.

– Может, оно и так. Однако, если очень бояться станут – немедля коалицию сотворят. Всех возьмут. Даже султана. Даром, что басурман. И нам такой силы не пересилить. Ни-коли! Разумеешь ли сие?

– Разумею...

– А коли разумеешь, скажу тебе так: Другой государь нам нужен!

– А кто? Алексей?

– Не ведаю. Но – помягче. Поспокойней. Поприветливей.

Поумней даже.

– Тогда – точно Алексей.

– Я же говорю, не ведаю.

– А если он царем станет? Подойдет? – Это Кикин спросил.

– Ждешь, что ли?

– Жду. И скажу тебе – не токмо я жду.

– Не токмо ты... А много ли вас, тех, которые Алексея ждут-недождутся.

– Хватит. А ты чему веселишься? И сам ведь тоже – в нашем числе... Или как?

– Э, нет! Меня особо к вам не мешайте...

– Как – не мешайте? Ты ведь нам помогаешь?

– Помогаю. Не отказуюсь...

– На всякий случай, что ли?

– Можно сказать и так.

– Э, брат... А ведь на две стороны голову прекладывать – точно не убережешься.

– Да? Ну, значит, судьба моя такая...

– А чем же тебе Алексей не мил?

– А вот и не мил... Другой нужен. А другого нету... – Это Веселовский свое, свое, гнет.

– Другого – не будет! – Это Кикин распался почти закричал.

– Почему же не будет? У государя, вот, внук родился. И сын – от чухонки. Выбирай, не ленись, любого.

– Э нет, они – не любые они – Петровой крови. Да и государь теперь их из-под своего крылышка не выпустит. Сам станет пествовать.

– Сам не станет. У него государских дел пропасть. Да и урина не отпустит. Другие найдутся.

– И что же, на царство, что ли, оба сгодятся – и сын и внук?

– Запас карман не тяготит. Обжегся на молоке – на воду теперь дуть станет. Отдал Петр Алексея на детство Евдокии-матери – вона что вышло! – Это Веселовский.

– А что вышло... Из него, если хочешь знать, хороший человек вышел... Умный, добрый; и старине привержен ни-

мало...

– Умный и добрый, говоришь?.. Не знаю пока. Я у него в знакомцах близких не числюсь. Поживем – увидим!

21

Фридрих Шенборн все сидел против Абрама Веселовского, молчал и улыбался. Ждал. Московскому резиденту нужно было начинать. Он даже, как мы знаем, сказал уже: «Я готов». Но на самом деле он не был еще готов. Первой фразы у Веселовского не было. То есть, она, конечно, была еще вчера. Но, как понял уже Абрам Павлович с того момента, как он какие-то минуты назад увидел в секретной комнате Хофбурга вице канцлера, та фраза уже никуда не годилась. Нужна была другая. А другой не былою. И поэтому Веселовский молчал. Получалось довольно глупо. Но Бог все-таки пришел резиденту на помощь – в лице вице канцлера Шенборна, который прекращая неловкость момента, любезно спросил:

– Как здоровье Его Царского Величества?

– Я нахожу ныне моего Государя немного уставшим; но он, как всегда, очень деятелен – вопреки усталости. – почти-тельно ответил Веселовский.

– Мы все здесь восхищены безмерно Его Величеством. А мой император – просто в восторге от него. О Полтаве Карл вспоминает чуть ли не каждый день...

– Скажите, граф, – осторожно спросил Веселовский. – А о реке Прут император ваш Карл не вспоминает?

– Да, Прут... – помрочнел сразу вице-канцлер. – Турки

показали зубы. – Конечно, если бы фортуна вам на Пруте улыбнулась, все было бы совсем иначе и русско-австрийский наступательный союз против султана давно был бы уже фактом и начал приносить свои прекрасные плоды...

Веселовский хорошо знал иезуитскую манеру соседних иноземцев – смаковать уже невозможное. Она ему очень не нравилась, но в данном случае он решился ее поддержать; подумал, что, может быть, как-нибудь удастся подкрасться к главному. И точно – удалось.

Когда он сказал, что возможность такого союза не исчезла еще совершенно, то заметил, что брови вице-канцлера поползли вверх.

И Веселовский пояснил:

– Ну... Султана и Оттоманскую Порту деть ведь ни куда не возможно... они останутся на месте.

– Вы правы... И политику свою, столь неприятную для наших государей он не изменит. По крайней мере сегодня. – Это сказал Шенборн. Он улыбался тонко. Покамест оба только прощупывали друг друга. Так можно было говорить сколько угодно.

– Да... – Теперь уже тонко улыбался Веселовский. – Или пока в Париже не устанут султана поддерживать...

– Да, да, да, ох уж эти французы... – вздохнул Шенборн. – Кстати... Кстати... – Голос вице-канцлера стал вкрадчивым: – У нас есть сведения, что царь ныне не прочь сделать визит во Францию... Как Вы думаете, господин Весе-

ловский, это – похоже на правду?

– Я ничего об этом не знаю. – соврал Абрам Павлович немедленно, изо всех сил показывая на лице растерянность. На самом деле он даже обрадовался. Случай помогал усилить австрийское неудовольствие против Московского Государя.

– Может, это только ложные слухи? – как бы в раздумье ответил Веселовский.

– О, нет! – живо возразил Шенборн. – Сведения эти получены от надежных людей и не один раз проверены.

– Но зачем, зачем ему ехать в Париж?

– А Вы – не знаете?

– Бог свидетель – не знаю...

– По нашим сведениям французы предлагают посредничество в переговорах Петра со шведами.

– Но ведь переговоров нет.

– Нет. – согласился Шенборн. – Пока нет. Но царь не может не хотеть мира, как мне думается...

– Это значит... Это значит... – Веселовский старательно изображал размышление. – Это значит, что император будет один противостоять султану. После Прута царь воевать с турками не будет.

– Да... – Теперь наступила очередь неподдельных и нелегких раздумий вслух Шенборна. Он явно был встревожен...

– Ведь ни Париж, ни Лондон не откажутся поддержать султана под руки, если султану снова захочется пощекотать

Империю...

– За английское золото. – подсказал живо Веселовский.

– Да, да, да.

И тут Абрама Павловича словно кольнуло что-то: «Вот оно!» – И он сказал тихо:

– Отец не станет с султаном воевать. А сын – стал бы.

– Ну почему отец не станет – это мне понятно. Вашему царю при одном только слове «Станилешты» сразу плохо становится. А вот почему стал бы воевать сын?

– Очень набожен.

– Фанатик?

– Нет, но он с детских лет воспитан в большой любви к греческой вере.

Шенборн усмехнулся недоверчиво. Не поверил:

– Стало быть он не только магометан не любит, но и добрых католиков и лютеран – тоже?

Обида в православной душе государственного преступника поднялась горячею волною тот час.

– Царевич Алексей был женат на лютеранке.

Шенборн в ответ рассмеялся весело:

– Отец приказал. Такой отец прикажет – на ком угодно женишься.

А Веселовский уже нашел ниточку, знай свое гнет:

– Если бы Алексей Петрович взошел на престол, можно было бы обеспечить самый тесный союз двух наших монархий... Но как этому поспособствовать?..

– У вас имеются соображения? – быстро спросил Шенборн.

– Пока еще ничего определенного. – попытался увильнуть Веселовский.

В ответ Шенборн снова заулыбался: он был вежливым человеком. Но говорить он стал Веселовскому – ровным, даже каким-то скучным голосом далекие от приятностей слова:

– Не могу Вас понять, господин Веселовский. Вы просили меня о randevu. Вы его получили. Я вправе ожидать от вас ясностей. Но – пока что вижу, как вы напускаете туману. Это меня не устраивает. Давайте говорить определенно. Я так понимаю, что Вы – сторонник царевича? Так?

– Э... Сторонник? Не знаю... Почитатель – да. Это будет вернее.

– Пусть так. Как я понимаю, вы противник царя Петра?..

– Нет! Ни в коем случае! – почти закричал Веселовский.

– Странно... Но ведь Вы, как я понял, очень хотите, чтобы царевич царствовал, так? Однако, я до сих пор не услышал, что хотят сделать для этого в Петербурге и в Москве, и что для этого желательно было бы сделать в Вене.

– Я думаю, – холодея от ужаса, прошептал почти Абрам Павлович. – Я думаю, что мы могли бы устроить... выезд Алексея за русский рубеж...

– Иначе говоря, устроить ему бегство? Так? Отвечайте!

– Да... – После этого слова Веселовский должен был бы провалиться сквозь землю. Но ничего такого не произошло.

Просто Шенборн спросил – почти ласково:

– Так. Хорошо. Очень хорошо. А что же Вена?

– А Вена... могла бы до поры... укрыть его в своих землях... Империя ведь велика. Можно найти какое-нибудь укромное место...

– Можно, не спорю. Ну, а если царь как-то дознается и потребует выдачи сына?

– А вот выдачу допустить никак нельзя. Никак. И ни в каком случае...

– А если царь начнет против нас войну? Ведь он может начать войну?

– Может... Но не начнет. Потому что еще не закончил со шведами.

– Значит ли сказанное вами, что мы должны укрывать вашего царевича до смерти царя?

– Да... Скорее всего...

– А сколько это лет? Вы знаете точно?

– Нет. К сожалению. Это неизвестно. Но известно, что государь мой болен, и болен очень серьезно. Знаете?

– Знаем. Мы знаем о болезнях вашего царя даже больше чем вы знаете...

– Сколько ему осталось жить?

– Немного.

– Так каким же будет ваше последнее слово?

– Если вы его вывезете, то мы его, скорее всего, примем.

– И укроете?

– И укроем.

– А если царь пойдет войной на империю, тогда как? Чем ответите?

– Из-за одного человека император на войну не пойдет. Даже если этот человек – его сын.

– Значит?

– Значит, будем думать.

– Отдадите?

– Не знаю. Я один не решаю. Но скорее – нет.

– Знайте же, что если царевича вернут домой, там начнется такое, чего вы и представить себе не сможете. Даже в страшном сне.

– А вы господин Веселовский – можете себе представить это?

– Я – могу.

– Расскажите...

– Начнется розыск. Повальный. Людей будут хватать по доносам и допросам. А на дыбе и под плетями любой человек признается в чем угодно.

– Дикарство...

– Совершенно справедливо изволили заметить. Но так и будет. Погибнет немало невиновных людей.

– Можно этого не допустить?

– Можно. Если царь умрет.

– Когда?

– Этого никто не знает.

– Мой дорогой Веселовский! Как же быть? Ведь если император укроет вашего... беглеца, а царь все же дознается – и доведет дело до войны, то мы на войну не пойдем. Это пока все, что я могу вам сказать заранее. Но ведь Вы сами сказали, что царь из-за сына вред ли будет воевать. В том числе и потому, что не окончена еще война против Швеции. Говорили Вы это?

– Говорил...

– Ну и прекрасно. На этом можно условиться предварительно. Вы вывозите царевича, мы его укрываем. Это пока все, что я Вам могу сказать заранее.

– Но, что же... – ответил Веселовский. – И за это – спасибо. – И вдруг спросил быстро:

– А какое содержание будет дано Алексею?

– А что, это так важно сейчас? Пусть не тревожится. Не обидим.

– Но все-таки?

– Тысячу золотых на месяц – хватит?

– Хватит! – Веселовский не скрыл на лице радости. И поклонился. А Шенборн только головой кивнул и сделал уже поворот – чтобы удалиться. Но Веселовский остановил его, сказав просительно:

– Мне нужен весомый повод, чтобы вернуться в Карлсбад...

– Чем же я могу помочь? – удивился вице-канцлер Империи чистосердечно.

– Лучше всего было бы, если бы я привез моему государю... маленькую записочку от императора Карла с пожеланием здоровья.

– А по своей воле Вы приехать разве не можете?

– Могу. Но лучше, если для этого будет повод. Петр очень не любит вранья...

Шенборн пожал плечами и сказал не вполне решительно:

– Ну, хорошо. Я попробую. Но не обещаю. – Потом подумал и добавил еще: «Если получится, то записочку заберите у часовщика. На днях». – Сказал, снова кивнул головой и вышел.

22

Требовавшуюся записочку от императора Абрам Павлович получил у Кеннера на следующий уже день. Из чего сделал для себя заключение, что цесарцы идеей заинтересовались и начали уже подыгрывать. Записочка была запечатана личной печатью императора на красном, очень дорогом сургуче. Получивши записочку, Веселовский с легкой душой погнал лошадей в Карлсбад, следующим днем вручил депешу Карла Благодетелю, а вечером они – Кикин и Веселовский – встретились все в той же удорожной закусочной на пути из Карлсбада в Хеб – как всегда поесть шпикачек и попить пива.

23

Сколь ни сдерживался Кикин, а было видно, что он буквально сгорал от нетерпения – так хотел вызнать о результа-

тах переговоров по поводу Алексея Петровича. Но Веселовский, словно издеваясь, ко главному все не приступал: хвалил пиво и шпикачки, хвалил погоду, потому что в тот час из-за туч выглянуло солнце. И только когда и пиво и шпикачки были употреблены как следует и когда солнышко снова спряталось в тучах; когда Кикин не сдержавшись, заныл: «Ну не вынимай же душу! Скажи – «да» или «нет»? – Абрам Павлович уступил.

– Что «да» и что «нет»? – делая совершенно непонимающее лицо спросил Веселовский. – И вдруг глаза его просияли. Не мог долее сдерживаться...

– Ах, это... Все хорошо. Хозяева согласились укрыть ребятеночка. Будут присматривать за ним и давать на содержание по тысяче золотых в месяц. Доволен?

– Как еще доволен! – И Кикин засмеялся весело. Потом все-таки согнал веселье с лица и сказал:

– И у меня новость есть. Не знаю пока, как ценить. Тянька чадови письмо написал. И почтарь Тонеев уже погнал лошадей.

– А что в письме, ведаешь ли?

– Нет, не ведаю. – погрустнел Кикин. – А кабы сведать, так как хорошо было бы... Я понимаю...

– Понимаешь, так сведай! Сведай, дружочек, сведай... Ты ведь каждый день, почитай, Государя зришь...

– Ну и что с того? Он со мной нынче мало о чем говорит. Все наказывает. Все недоволен.

– Надо сведать, надо!.. – Веселовский даже ладонью по столу прихлопнул, нетерпение показал свое Кикину.

– А хоть и узнаем – упредить не успеем все одно. Тонеев со вчерашнего дня в дороге. И не медлит. Погоняет, почитай, без остановок, я чаю.

– Стало быть, что? – спросил неизвестно кого Абрам Павлович. – Стало быть, получит царевич письмо отцовское и сам будет думать, что ответить? А кто ему подскажет? Кто там вокруг него нынче отирается, доподлинно ведаешь ли? Ну? Чего молчишь?

– Так – мелочь мелкая. Дельного совета ждать от них – борода вырастет. Один, правда, есть. Но, может, его куда ушлют, если уже не услали...

– А кто таков?

– И сказал бы, да не могу. Мало ли что...

«Стоп!» – может в этом месте сказать читатель. – «А кто же это – тот, единственный в окружении Алексея Петровича оставшийся человек, который в отсутствие Кикина и Долгокурова только и мог подать царевичу дельный совет?» Это конечно Никифор Вяземский а Кикин не хочет его Веселовскому называть скорее всего из соображений конспирации...

Веселовского, надо полагать, такая уклончивость задела, конечно. И он сказал:

– Ну – будет или не будет царевичу дома советчик – не знаю, но скорее всего решать, что отвечать отцу, ему одному придется. Поехали. Мы сейчас ничего не можем. Только

одно. Ждать.

24

Действительно, Петр написал и отправил сыну письмо. Случилось это 26 августа 1716 года. Нам с вами, читатель, сегодня легче, чем тогда Кикину и Веселовскому. Они – ничего из письма не знали. А мы – знаем.

Петр писал, что у сына ныне (т.е. в конце лета 1716 года) – только один из двух возможных вариантов действия.

Либо действительно «нелицемерно исправится» и твердо стать продолжателем отцовского дела, либо постричься в монастыре и тем пресечь окончательно самую возможность занять отцовский трон.

Вот так. Отец писал: коли ты, сын, «первое возьмешь» (т.е. выберешь первый вариант – исправишься), то более недели не мешкай, поезжай сюда «ибо еще можешь к действиям поспеть» а если, де, избереешь второе, то сообщи, какой монастырь выбрал и когда пострижение. Таковую вот, в полном смысле дилемму поставил отец перед сыном. А сын должен был ее для себя решить, то есть выбрать.

25

Письмо отца Алексей Петрович получил в собственные руки в середине сентября 1716 года.

Затратив на дорогу почти полных две недели скачки, гоноц Танеев догнал царевича на пути из Санкт-Петербурга в Москву.

Карета царевича, запряженная четверней, покойно кати-

ла себе по не мощенной дороге; сам Алексей и его Ефросиньюшка, обложенные кожаными подушечками, ехали себе и ехали, ни о чем опасном не думая. Чего опасаться? Ведь главная опасность – отец – был очень далеко, находился в датском городе Копенгагене.

Со времени отцовского отъезда прошло полгода. Именно этот срок для раздумий отец дал сыну, когда уезжал, чтобы Алексей за это время принял окончательное решение.

Полгода! Это срок поначалу показался Алексею столь большим, что он посчитал за разумное вовсе выкинуть из головы все тягости раздумий по поводу выбора. Но полгода, оказывается, уже пролетели – быстрее быстрого. И когда сын взял в руки письмо отца, то не сумел скрыть на лице ни досады, ни растерянности.

И все же он заставил себя тотчас сломать печати и прочитать письмо. Немедленно по прочтении он понял с облегчением, что отец не написал ничего нового. Старая отцовская песня – «продолжатель дела или монах» осталась неизменной. Алексей перевел дух. И тут только заметил: на обороте листа имеется продолжение. Прочел и продолжение. Смысл дописи отцовской уловил сразу. А уловивши – во мгновение ока покрылся страшным потом.

И было от чего.

Отец писал: «О чем паки подтверждаем, чтобы сие конечно исполнено было, ибо я вижу, что только время проводишь в обыкновенном своем неплодии».

Алексей сразу уразумел: хотя отец и был далеко, он был точно осведомлен о том, как проводит время сын. «Следит! – в ужасе подумал царевич, кусая себе пальцы. – От него нигде не укроешься!»

Паника, поднявшаяся в душе царевича, лишила его способности продуктивно размышлять. Перед глазами встал мрачный отец и впер в сына гневный взор свой. Именно под таким его взглядом царевич обыкновенно терял дар речи; начиналась молчаливое слезоточение.

Да, могуч был отец. И сын это, конечно, понимал. Много раз он убеждался в том, что и мысли сыновние отец читает совершенно без затруднений.

– Убежать бы от него, куды ни то... – с тоскою думает царевич. – А так – он меня точно в монастырь запечатает...

Подумал так царевич и стал испуганно по сторонам оглядываться, подумавши вдруг, что отец – где-то рядом стоит, притаившись, мысли Алексеевы явно слышит и улыбается страшно. Но в карете-то ведь точно никого не было. Ефросинья – не в счет. Можно было успокоиться. И хоть что-нибудь решить. А что решить?

Вот отец пишет – в монастырь, мол, иди. Но ведь Алексей не хочет в монастырь. А что о пострижении отцу ранее писал – то все, как есть – кривда. До смерти в монастыре сидеть? Еще чего!? Но ведь, по правде говоря, он и отцовское дело продолжать не станет. Еще чего?! Армия, корабли эти треклятые, пушки, камзолы, табак...И чего там еще...

книги скучные, геометрия эта... Нужно нам сие? Пошло все к черту! Ведь... это... Жили раньше, проживем и дальше!.. Старые-то люди – не дурей нас были... Бога любили... В Европу эту не лезли. Токмо свою землю оберегали – и хватало, и ничего!

От раздумий таковых, совсем, как понимает читатель, невеселых, царевич часто и тяжело вздыхал, перекладывал дорожные подушки, но все было не так, все было жестко, все неудобно... Черт бы все побрал!

Видя это, Ефросинья спросила у него участливо – отчего он нынче непоседлив и беспокоен, места себе не находит будто. Царевич немного помолчал, усмехнулся и ответил:

– Судьбу себе выбираю.

– Ох, – вздохнула наперстница. – Разве же судьбу-то можно избрать? Судьба – она уже ведь вся дочиста записана. И ангел небесный запись у себя за пазушкой держит, никому прочесть не дает...

– Ты думаешь? – спросил Алексей Петрович опять несколько задумчиво. – Нет. Я чаю – человек сам поступает, как хочет, по своему, а ангел небесный только счет ведет, чтобы, значит, ошибки какой не было... – Тут он помолчал опять и продолжил тихо, словно боясь, что кто-то подслушать может:

– А уж какой меня выбор ждет с часу на час – и говорить боюсь. Дух захватывает.

– Ох! А что за выбор?

– Ехать надо.

– Куда?

– К... батюшке. – Царевич ей поначалу правду сказать не решился.

– Надолго ли?

– Как случится.

– А я?

– И тебя – возьму. Я теперь без тебя и дня не могу прожить. Привязала. Проказница. Чертовка. – И полез целовать.

Она засмеялась, чуть-чуть только отстраняясь.

– Да, умею. А что, разве это грех какой?

– Грех грех, – и немалый! – царевич не утерпел, заулыбался, но долго улыбаться было некогда:

– Ну, стало быть, так. Три дня на сборы тебе даю. Спаси Господь промедлить. Батюшка написал, чтоб я более недели... того... не мешкал.

Алексей Петрович внешне уже почти не волновался. Был как всегда. Ибо должно было всем показывать то, что все должны знать, а именно, то, что он, сын, готовится по письму отцовскому к отцу спешно выехать.

26

Итак, как мы с вами поняли, царевич решился ехать. Однако, в его внутренних рассуждениях мы так и не смогли показать решение выехать – как следствие каких-нибудь последовательных, или, тем более, мучительных раздумий. Он даже не сказал себе радостно: «Вот – случай! Если я им не вос-

пользуюсь сейчас, то другого случая такого больше не будет».

Он как бы допускал этот вариант как реальный, когда Ефросинье сказал что судьбу выбирает. А далее – только крепил аргументы.

Хотя, какие там аргументы...

Ведь он решился – даже несмотря на то, что ничегошеньки не ведал из того, что удалось сделать Кикину. И удалось ли. Поэтому нужно сделать совершенно определенное суждение: решение Алексея ехать было подлинной ав антиурой.

27

Но, прежде чем ехать, надо было собраться. А сборы он знал с чего надо было начинать. С денег. Значит, раньше всего – надо к Меншикову.

Алексей мог бы, конечно, призвать Данилыча к себе. Титул позволял. Тем более, что в тайне, да и не вовсе в тайне, как мы уже знаем, он этого выскочку, прямо можно сказать – ненавидел. Но дело касалось денег. И немалых. Их у царевича не было. А вот у Александра Даниловича деньги были всегда. Поэтому ненависть ко Светлейшему для сего дела – просьбы о деньгах – могла и подождать.

Алексей Петрович заявился к предполагававшемуся кредитору поздним утром, зная, что когда «мин херц» был далеко, Данилыч не прочь был и в постели понежиться.

На лица Алексея сияла превосходная улыбка, глядя на ко-

тору, Меншиков тоже заулыбался

– «Весел гость с утра – плакать не пора» – громко смеясь сказал Александр Данилыч и обнял наследника престола.

– Еду! – Так же громко и весело возгласил Алексей, тем не менее, с усилием освобождаясь от меншиковских объятий.

– Куда? – еще громче и еще веселее спросил Александр Данилович, показывая голосом и надлежащее удивление.

– Еду! Еду – к бабушке в Копенгаген! Зовет. Приказывает, чтобы долго не мешкал, чтоб успел к действиям.

– А как же монастырь?

– К чертовой бабушке монастырь. Еду! Еду – и все!

– Стало быть, определяешь себя – ныне и присно – как честный отцу приемник и дел его великих продолжатель?

– Так и есть!

– Ну и что я тебе скажу? Многожды рад! Какой нынче день? Двадцатое сентября? Запомню его до конца своих дней! – хотя втуне новости, которую сообщил царевич, совсем не обрадовался.

Алексей Петрович перешел к делу:

– Мне деньги нужны, – сказал Алексей серьезно. – У меня – не гроша. А путь, сам знаешь, не вельми близкой.

– Разумею, разумею... До Дании путь и в самом деле не мал. А сколь тебе надобно?

– Десяти тысяч золотом, я чаю, хватит.

Александр Данилович в ответ даже присвистнул:

– Ого! Не много ли?

– Никак не много. Путь-то неблизкий... Да и не один еду.

– А кого берешь? Фроську вяземскую берешь ли?

– Беру... – вздохнул Алексей.

– Бери, бери! А еще кого?

– Так, мелочь... Она брата просит взять, и еще двоих.

– Фроська?

– Ну...

– А как едешь?

– На почтовых. Чтобы рты нигде не разевали – на нас-то гляючи... Конвой ведь мне, я чаю не дадут, так?

– Ты же не просишь...

– Не прошу...

– Что так?

– А подешевле хочу доехать. Чтоб батюшка расточителем казенных сумм не посчитал.

– Истинно так, Алешенька!

– Ну дак что? Десять тысяч взаймы, а?

«Не отдаст» – решил себе Меньшиков. И ответил:

– Пять. Пять. Десяти у меня нет сейчас. И разом отродясь не бывало.

«Врет, – подумал царевич. – Врет, подлая душа...» – И в слух: Ну, хоть и пять. А остальные в дороге перехвачу. – И вздохнул.

– Ин, будь по твоему. Пять так пять.

– Сейчас, что ли?

– Можно и завтра.

– Завтра не могу. Послезавтра. – Меншиков никогда не торопился расставаться с деньгами, всегда потягивал – и когда давал, и когда возвращал взятое. Такая уж была у него натура.

– Когда отъезжаешь?

– Отец мешкать не велит. Полагаю – двадцать пятого или двадцать шестого.

– Не забывай ничего. А деньги – послезавтра. Провожать тебя буду непременно.

28

На сборы ушло чуть более недели. К поездке Алексей отрядил кроме Ефросиньюшки, брата ее родного, Ивана Федорова и еще троих слуг.

Самый отъезд произошел двадцать шестого сентября. Меншиков, как и обещал, провожать явился и только здесь выдал обещанные пять тысяч золотом. Тянул до последней возможности: все ждал, что отец вышлет сыну денег на дорогу. Не дождался.

Отъезд Алексея был совершенно открытый: провожать его явились почти все сенаторы. Проводы вышли веселые.

Двинулись.

Лошадьми правил почтовый возница. На козлах рядом с ним сидел Иван Федоров. Экипаж был четверней. Посему двое слуг сидели верхами на пристяжных, а третий стоял на запятках. На случай его усталости имелось откидное сиденье, предназначенное в обычном почтовом рейсе для

стражника.

Алексей же Петрович с Ефросиньюшкой ехали запершись внутри кареты и плотные шторы на окошках ее были тщательно задернуты.

Сначала – добраться до Риги...

Ясное дело, что действительные цели поездки нужно было хранить втайне. Но Алексей, похоже, совершенно не умел держать язык за зубами. Еще во время сборов, он, сжигаемый нетерпением, рассказал двум своим слугам – Ивану Большому и Федору Дубровскому – причем, Ивану – поболее, а Федору – поменее, что едет, хотя и по отцовскому повелению, но совсем не к отцу, а к неким благодетелям, которые его в чужих краях до нужной поры поберегут, а когда та пора настанет, он, царевич, и объявится и Россию под себя возьмет и сядет на Москве царем.

Федор Дубровский получил от царевича еще и особое поручение: тайным образом навеститься в Суздаль в Покровскую обитель к матушке царевичевой Евдокии за тем, чтобы передать ей от сына пятьсот рублей и сообщить, что Алексей «отъехал». Но Федор поручение не исполнил. Убоялся. Мать о сыне известили другие люди – и чуть позже.

29

Принявши решение «отъехать» и даже пустившись в этот самый «отъезд», Алексей Петрович единственного, бесспорного маршрута движения и плана действий не имел. Основной был расчет на Вену. Хотя, имелся и запасный – Рим.

Но Кикина, Кикина, ближайшего советчика не было под рукой... Он находился где-то в Европе, а где – Бог его знает. Конечно, хорошо бы по дороге с Александром Васильевичем где-нибудь стакнуться. Но как и где – было совершенно не ясно. Оставалось ждать и надеяться. Да и денег у Алексея Петровича маловато: и об этом тоже голова болит. Остро требовалось пополнить кошелек. Но как?

На счастье – в Риге в то время обретался в качестве российского обер-прокурора некий Исаев, которого Алексей Петрович немного знал. У него и попросил еще денег. Даже не попросил, а, считай, потребовал. Исаев нравом не был похож на Меншикова и потому денег – пять тысяч золотом и две – серебряной мелочью – дал не раздумывая долго. С такими деньгами можно было чувствовать себя в дороге спокойно. Царевич и старался выглядеть спокойным. Ничего тревожного. Сын-наследник едет к монарху-отцу по вызову. Вот и все.

Только Кикин у Алексея из головы не выходил. Где он? Что он? Удалось ли ему что-нибудь сделать или нет?

Часть шестая

рассказывающая о бегстве царевича Алексея Петровича от отца, о тайной его жизни в Австрии и Италии, о планах его и надеждах, а так же о поисках беглеца

1

Отъехав уже порядочно от Риги, царевич вдруг велел остановиться и принялся истово молиться. Он вымаливал у Бога встречу с Кикиным по дороге. И молился, наверное, до того жарко, что Господь его молитвы услышал. Вышла ему встреча с Кикиным по дороге! Вышла!

Впрочем, раньше была еще одна встреча по дороге – вовсе неожиданная для Алексея.

Подъезжали к Либаве. И у самого города увидели поезд, причем лошади – в русской упряжи. Когда Алексей Петрович узнал, что за люди едут, обрадовался чрезвычайно: это домой из Карлсбадских вод возвращалась сводная сестра ба-тюшкина, и ему, Алексею, следственно, тетушка – царевна Мария Алексеевна.

Алексей не просто обрадовался. Зная, что царевна Ма-рья брата Петра очень не любит, царевич обрадовался вдвой-не, полагая тетку за родственную душу и союзницу. И не ошибся. Встреча была действительно самой разлюбезной. Алексей пересел в тетушкину карету, и там, запершись, они всласть наговорились. Хотя и текла их беседа неровно:

с остановками и неожиданными поворотами.

На самый первый вопрос царевны Марьи – куда это Алешенька едет, наш герой сначала ответил то, что все знали, и что следовало сказать, а именно: что едет он к бабушке в город Копенгаген по его, бабушки, приказу. Но немного помолчав, Алексей вдруг расплакался и в слезах сказал тете, что более всего хотел бы куда-нибудь скрыться от отца, но не знает, куда. Тетушка племянничка утешила, уняла ему слезы, но сказала слова, от которых у Алексея защемило душу:

– Куды тебе от отца уйтить... Он, поди-ко, тебя везде найдет. Это Бог за грехи твои кару посылает – от отца бегать...

– В чем же грех то мой? – дрожа спросил царевич.

– А в том грех, что ты мать родную свою забыл. А ведь она-то, там, в Суздале, не на свадьбе гуляет, а взаперти сидит, подлинное горе мыкает! Она, мать твоя взаперти сидя все чуда ждет, тщится – то одного, то другого. Надеется, что сбудется ей видение некое сонное: будто Петр в день памяти Преподобного Сергия будет в Троице и там же она будет. И, стало быть, они там встретятся. И болесь Петра – тут же пройдет и они соединяться.

– Что за чепуха! – забеспокоился Алексей. – Какое еще видение? Это она точно не в себе была. – И продолжил:

– Не забыл я матушку, ей Богу, не забыл? – сказал Алексей распаяясь. – Я ей – перед тем как отъехать – с верным человеком пятьсот рублей передал!

– Это кто у нас отъезжает? – ехидно спросила тетка. – Ты,

что ли? Нет, сударик! Это не отъезд! В давние-то годы отъезд был! Князь Андрей Михайлович Курбский, когда от царя Ивана Васильевича отъехал, то его в Литве с великою честью приняли, вотчинами пожаловали. А ты не отъезжаешь. Ты – бежишь. И что ждет тебя на чужбине, вовсе не ведаешь. Ведь так? Чего молчишь? Сказать нечего? Знаю. Ну, ладно. Это я – так. Не по злобе. Не сердчай. А все же, кабы ты матушке черканул, – то-то ее обрадовал! Отпиши... А я – тайным порядком письмецо твое в Суздаль и переправлю. А?

Алексей подумал самую малость. А потом сказал – тихо, но достаточно, впрочем, твердо:

– Нет. Этого я не могу. Этого нельзя. Вдруг письмо перехватят? Тогда – точно несдобровать мне. И тебе тоже.

– Ну, как знаешь. А я бы написала, не побоялась.

– Вот и напиши...

– Привет горячий от сына-беглеца передать, да?

– Нет-нет! Говорю тебе – опасно это!..

– Какой ты трус, Алешенька! Ты что же, даже в сей час отца боишься? Так его рядом нету. Рядом – я. А я – брату своему – не потатчица, доносить на тебя не стану...

– Я тебе верю, верю. Это я так только.

Разговор стал поспокойнее.

2

– Ну и ? Куды лыжи-то наострил? В Рим? Или в Вену? Или, может, еще подалее куда?

– Еще не решил.

– Как так? А когда решать будешь? По дороге? Так дело не делается...

– Человек один меня должен найти. Он и обещал доподлинно разнюхать там – куда ехать лучшее.

– Ну, и как, разнюхал?

– Не ведаю...

– А что за человек?

– Не могу сказывать.

– Что, тайное дело?

– Тайное...

– Ну, раз тайное – не называй. Я и так его знаю. Сказать?

– Ну, скажи...

– Кикин, да?

Этого царевич никак не ожидал. От неожиданности он даже несколько растерялся. Откуда ей это известно?

– Что, испугался? Не ожидал?

– Не ожидал...

– Выше нос, племянш! Кикин уже ждет тебя в Либаве. Он остановился в гостинице против ратуши.

– Он что, открылся тебе, да?

– Открылся. Ну дак и что с того? Я доносить ведь на тебя не стану. А братец мой, коли до розыска дело дойдет, навряд ли меня, царевну, сестру свою, на виску пошлет. Так? Ну, вот что – давай прощаться. А то – твои забеспокоятся.

– Не забеспокоятся. Приучены.

– Ну, все равно. – Она поцеловала Алексея и улыбнулась.

Сказала:

– Езжай. Счастливо. Будем ждать тебя триумфатором. И Бога будем молить – денно и ночью – чтобы милость тебе свою подал. Но и ты не плошай. Коли отец тебя-таки найдет и станет уговаривать, чтоб, значит, ты воротился, помни: того делать никак нельзя. Даже если золотые горы сулить станет. Понял?

– Уразумел, уразумел, тетушка, спасибо тебе! Ждите меня как в Риме древние говаривали: «Aut cum scuto, aut in scuto».

– Как? – спросила Мария Алексеевна. – Царевич перевел. Тетушка ситуацию поняла сразу и засмеялась:

– Кому ты нужен будешь на щите... – И отворила дверцу кареты.

Алексей вышел. Карета тронулась. Тетушкина ручка с маленьким платочком некоторое время еще была видна в вечерней мгле. Но и она скоро исчезла.

3

В Либаву въехали темным уже вечером.

Ступивши на порог трактира на Ратушной площади, Алексей Петрович нарочито громко сказал, что он есть царский наследник и хочет здесь ночевать. Он и его люди. Вокруг сразу слуги забежали, засуетились, что и было надобно. Если Кикин здесь – и уже улегся спать, то, несомненно, будет шумом растревожен – и пошлет спросить – отчего шум. А узнавши, кто приехал, он далее уже сам будет искать верного случая увидеться.

Несмотря на то что Алексей Петрович от нетерпения буквально, что называется, места себе не находил, он не кинулся со всех ног Кикина искать, а решил подождать до утра. И верно сделал. Потому что когда после завтрака, вполне одетый по-дорожному, Алексей вышел уже садиться чтобы ехать, он увидел в небольшой толпушке обывателей, вышедших поглазеть на русского наследника и пожелать ему счастливой дороги – Кикина, который всем видом своим показывал безмерную радость.

Алексей и его люди расселись по своим местам. И когда, казалось, ничего уже не оставалось, кроме царевичева повеления: «Пошел!», Алексей вдруг велел Евдокии деловито:

– Выходи! Вот тебе деньги. Найми на час какую-нибудь таратайку, сажай в нее наших всех и езжайте не торопясь. Поняла? Теперь еще. Кикина в толпе видишь? Скажешь ему, чтобы сейчас бежал в порт и ждал меня там и подсел бы ко мне. Поговорить надобно.

4

В порту царевичу долго Кикина ждать не пришлось. Едва остановил Алексей Петрович карету, Александр Васильевич был уже тут, как тут, правда, запыхавшись, ибо бежал шибко.

Лицо Кикина светилось радостью. И лицо Алексея выглядело похоже. Оба были рады друг другу. Алексей пожал руку Кикина; Кикин же руку царевича поцеловал. Так было тогда принято. Так тогда витались господа и их слуги; и не простые, а доверенные.

Несколько успокоившись, царевич спросил – сначала, как бы и вовсе о постороннем:

– Как ты здесь оказался?

Ответ был такой:

– Царь-батюшка повелел Марью Алексеевну до Любавы проводить. А в Либаве – купцов поискать – железа корабельного купить договориться. Он ведь знает – когда я в почете был и служил по адмиралтейству – связи кое-какие заимел.

– Ну и как? Добыл железа?

– Еще добуду. У меня другое дело есть, поважнее царского. – Засмеялся весело Кикин.

Тогда только и начался меж ними главный разговор.

– Ну, ты разыскал чего?

– Все сделал, Твое Высочество. Так сделал, что лучше не бывает. Истинный крест!

– Рассказывай, пожалуйста, не томи душу!...

– Самому мне в Хофбург лезть никак было нельзя. Не тот размер. Мал больно. Человек один помог...

– Кто? На или цесарец какой?

– В том то и дело что наш!

– Да? А кто же? За кого будем вечно Бога молить?

– За Абрама Павловича Веселовского, вот за кого!

– Ох, да ведь он, пес отцовский, испытанный! Коли батюшка прикажет – он нас на куски порвет!

– Авось не порвет! Абрам не так прост. Без него я бы никогда дела не сладил. Он на Шенборна вышел и прознал все

доподлинно. Вот как!

– Да ну!?

– Вот и да ну! Император Карлус согласился тебя принять и укрыть так, что не один пес не найдет. У Кесаря земли много. И сделает он сие за ради детей твоих – Натальи да Петра, поелику они – родня ему. И еще. Они в немалой надежде не пребывают, что с тобою – мирное dokonчание сотворят и против султана наикрепчайший союз. Одного они токмо бояться: как бы батюшка, тебя ради, воевать не стал. Не знают, говорят, что делать станут, коли случится сие.

– Ладно, ладно. А людей- то моих – тоже возьмут?

– Тоже возьмут.

– Славно. А сколь денег обещают давать?

– Сказали что дадут не менее тысячи золотом.

– На месяц?

– На месяц.

– Славно... – Алексей глядел на Кикина благодарно; радость его переполняла. Воображение, тренированное уже, рисовало ему и коронацию, и все, что вслед за этим непременно должно было произойти.

Взяв Кикина за руку, он сказал:

– Послушай меня, Александр Васильевич... А для чего тебе домой-то возвращаться? Поехали со мною, а? Ведь ты мне в чужих-то землях нужен будешь – во как! – И царевич ребром ладони красноречиво постучал себя по горлу.

Кикин ответил не сразу, но довольно уверенно:

– Не могу я этого, Твое Высочество! Надобно царское повеление исполнять; а коли дело выгорит – то и железо в Санкт-Петербург привезти.

– А у тебя, что, и деньги на это имеются?

– Дадены.

– И много ли?

– Не могу сказывать...

– Мне – и не можешь? – удивился царевич.

– Не могу. Петр Алексеевич о тебе особо указал. Буде, мол, сын мой встретиться тебе, где нито, денег у тебя просить будет – копейки не давать! – и Кикин весело засмеялся. Шутил. Потом посерьезнел и добавил:

– Кабы я дело сладил, железо купил – тогда бы и разговора не было – дал бы денег, не замедлил. А иначе – нельзя. И еще. Слов нет – хорошо бы мне при тебе в чужих землях побыть. Но ведь у меня – семья дома осталась. Коли начнут нас искать – жене и детям так худо придется, что и сказать нельзя. Посему и домой еду. Может, смогу где пристанище тихое найти своим, или как... не знаю пока. А ты, Твое Высочество – всегда знай: если тебе где-то и как-то повстречаются люди, которые станут разно уговаривать воротиться домой, – наши или иноземные, все едино – помни и не забывай, что не должен ты ихним уговорам поддаваться – николи! Знай, что обманут тебя, и людей твоих под топор подведут, да и тебя, я чаю, ... живым не оставят! Знай, что и ныне к отцу едешь не того ради, чтобы опорой и продолжателем отцовым стать.

Батюшка не одному твоему слову не верит! Зовут тебя того ради, чтобы поступить с тобою по слову Василия Лукича Долгорукого. А ён присоветовал батюшке твоему на пострижение твое согласие не давать, а при себе держать и возить с собою всюду, чтобы ты от той волокиты помер, понеже... труда не понесешь. А в чернецах-то тебе покой будет и сможешь ты долго жить. Отцу это не нужно. Уразумел?

Царевич прямо на вопрос не ответил. Другим заинтересовался:

– Смотри-ка, – сказал. – А ведь и тетка Марья вчера же наказывала, чтобы я, значит, при живом батюшке домой не возвращался. Ведь это ты ее надомил, а? Признавайся!

– Да она и сама, навить, все до чиста понимает. И вовсе не тебя жалеет. Ну, разве самую малость. Знает ведь – как брат розыск по твоему делу откроет, к ней тоже явятся. Помни, всегда помни, сколь людей невинных вовсе сгинут – за любовь-то к тебе, коли ты по зову отца воротишься. Молчать, молчать до поры надобно. – энергично заканчивал свое учение Александр Васильевич. – Молчать, понял? Молчание – золото. Верно?

– Верно-то оно верно... Да только, не всегда возможно...

– Как так? – встревожился сразу Кикин. – Ужли Твое Высочество кому проговорился?

– Было дело. – вздохнул Алексей Петрович.

– Кому? – довольно резко спросил Кикин и чуть ли не заорал:

– Сказывай, не медли!

– Ивану Большому, лакею моему рассказал.

– А много ли чего?

– Так. Кое что...

– Кое что? Тогда его надобно было с собою брать!

– И взял бы, да Ефрасиньюшка за братца просила. А карета без возницы только пятерых берет. И как ты можешь на меня так-то сетовать сердито, когда сам царевне Марье открыл все вполне, а?

– И не сравнивай! То – лакей, а то царевна. Она не скажет. Слово дала. И допрашивать с пристрастием ее не станут. И на виску не поднимут. Царевна потому что. Своя кровь. А лакей – он кто? Считай, низший человек и только. Его – раздва – и под плети положат. А под плетями у нас мертвые разговаривают. Или не ведаешь? А раз ведаешь, надобно предупредить, чтоб Иван под розыск не попал. Посему надобно твоего Ивана к себе звать. Сей же час пиши письмо Меншикову, а я – ему передам.

– А что писать-то? – виноватым голосом спросил Алексей Петрович. – Он был собственным промахом сильно раздосадован. Но сердиться ему не на кого было – кроме самого себя.

– Пиши, что не можешь, мол, без Ивана обходиться. Привык, мол. Надобно чтобы Алексей Данилович внял, сжалился над тобою и выпустил Ивана к тебе, дал паспорт, подорожную и денег – некую толику.

Скорым порядком, тут же в карете, Алексей Петрович написал Меншикову под диктовку Александра Васильевича буквально следующее:

«Мин херц Александр Данилыч! Сообщаем вам, что путешествие наше идет своим чередом и покуда благополучно, то есть с каждым днем ближе к батюшке, как и должно быть, подбираемся. Во деньгах нужды не имеем, за что, слава Богу и Вам благодарны до скончания дней наших. Нужда в другом. Ивашка, Федоров сын, коего впервой с собой взял для прислужения, дело лакейское правит плоше плохого, а брить наследника престола так и вовсе боится. По причине таковой оный наследник оброс зело щетиною и многожды пожалел уже, поелику бабу послушал, и оставил дома старого лакея своего Большого Ивана. Как бы я рад был, кабы вы, мин херц, явили милость вашу ко мне и отправили бы моего старого Иванушку вослед за нами вдогонку – с пачпортом и подорожною. Сей Большой Иван человек исправный, в пути задержки не даст и при скорой езде и кратких станциях смог бы нас нагнать вскорости – может даже в Данциге, где я полагаю несколько времени передохнуть и решить, наконец, как мы дальше двинимся: посуху или решуся проплыть морем, хотя качку переносу с трудом и мучаюсь от морской болячки изрядно.

Засим – остаюсь во безмерном к вам, господин Меншиков, уважении, Алексей Романов.

Письмо было запечатано и передано Кикину.

Все?

Хотя нет еще. Перед тем, как расстаться, то есть – до того как Кикин открыл дверцу кареты для того, чтобы ступить на землю, он подал Алексею Петровичу в руки небольшой кожаный футлярчик, рода цилиндра, очень похожий на школьный пенал – массовую принадлежность ученических портфелей и ранцев более поздних времен, только, наверное, чуть поболее.

Футляр этот Кикин, умело показав торжественную мину, помог царевичу открыть, и тогда на свет явилась бумага – так называемая «имперская подорожная» на имя царского подданного подполковника Иосифа Коханского, которая давала право ему и наличным с ним людям «беспрепятственно передвигаться по землям Империи по всем надобностям».

Алексей Петрович весьма внимательно прочел и осмотрел бумагу и даже улыбнулся, довольный. Но быстро, прилично моменту, посерьезнел: надо было прощаться. Сначала он хотел подать Кикину на прощание руку. Но посчитав, что этого мало – обнял – а обнявши, совершенно ясно понял, что – вот, теперь у же точно – все.

6

Кикин захлопнул дверцу кареты. В сером, вязком тумане, в котором вчера бесследно исчезла тетушка Марья, сегодня исчез и Кикин: был только что и пропал.

И теперь, Вы господин э...Каханский все должны делать

сами: и думать и приказывать, и денежки добывать... хотя теперь уже будет, вероятно, намного легче.

Почему?

Скоро начнутся земли Империи. Значит, цесарцы станут его наверняка охранять. Так что от чужих опасностей можно не ожидать. Свои куда опаснее. Кикин, вон, говорит, что батюшка по слову Долгорукова готов сына усталостью заморить – чтобы сам издох. Какой из Долгоруких? Кикин кивает на Василия Лукича... Пожалуй... Василий Владимирович свой. Хотя и он нынче вместе с отцом в Копенгагене. И кто знает, что ему в голову взбредет, когда царь рядом и требует радения о государственных делах подлинного. И не захочешь, так скажешь. Но, скорее всего, нет, не он. Скорее другой – Василий Лукич. Этот помоложе. И резидент в Дании. Этот вполне может подсказать – как меня извести, чтобы никто и нечего не удумал. Но читателю наверное, интересно, что полагает по этому поводу автор? Так вот; автор тоже склоняется ко второй фигуре, к Василию Лукичу. Хотя у обоих жизни изобиловали взлетами и падениями, но если первый (Василий Владимирович) умер в 1746 году, будучи в полной милости у императрицы Елизаветы Петровны, то второй (Василий Лукич) в конце концов в 1739 году был обезглавлен за активное участие в изготовлении подложного завещания Петра II. Но всех этих подробностей царевич Алексей Петрович, понятное дело, знать не мог.

Лошадь у Кикина – густо-гнедой Боярин, была очень хорошая, высокая, английская, офицерская верховая, которой не было и пяти лет. Наверное, о такой Редъярд Киплинг писал: «Словно колокол, рот, ад в груди его бьет, крепче виселиц шея его».

Кикин Киплинга не знал. Киплинг тогда еще даже не родился. Но Кикину было отлично известно, что английская строевая верховая лошадь под не тяжелым седаком может дать среднюю скорость движения значительно большую, чем даже самые резвые арабы.

Сев на своего Боярина в Либаве, он был в Санкт-Петербурге на третий день и без всякого страха явился к Меншикову.

Будучи один на один, они, Кикин и Меншиков, вели себя по приятельски, потому что начинали денщиками у Петра примерно в одно время.

– А, тезка! Хорошо, что зашел, сейчас водку будем пить! – весело вскричал Меншиков завидев Кикина.

– Не до водки мне, Данилыч. Письмо у меня к тебе имеется от царского сына.

– От кого, от Лехи? А ты, значит, доставщик?

– Доставщик. В Либаве увиделись.

– Ну и как он?

– Как, как... Никак!

– А что так-то?

– Устал, говорит, сильно. Кричит. Ногами топает. Гнева-

ется. Все не по его. И бреют-де, не так, и стригут не так, и кормят не так...

– Давай письмо то. – Меншиков подошел к окну, где было светлее, внимательно прочитал Алексеёво послание. Спросил Кикина:

– О чем письмо – знаешь?

– Знаю.

– Как же это он с Иваном то так лапухнулся... А где сейчас он, этот Иван Большой?

– Наверное, здесь, в городе. Где ж ему еще быть то...

– Найди и пришли его завтра ко мне. – велел Меншиков. – Нечего делать. – Глаза его засмеялись. – На что? – Мысль пришла с искринкою. Сказал: «Выпишем ему паспорт. Пущай едет к хозяину. До Данцига. Уважить надобно Алексея Петровича. А то – неровен час – царем станет...»

Оба засмеялись.

Александр Данилыч Меншиков в разговорах со своими рисковал, и не редко даже произносить крамольные речи. А Кикин для него был, безусловно, свой. Настолько свой, что даже явная опала царская Кикину не изменила в главном отношении его, Меншикова, к старому товарищу. Больше того. Меншиков в этот раз даже нашел нужным подчеркнуть кое-что:

– Как здоровьишко?

– Всяко бывает.

– Вижу, оживел. Ну, потерпи еще. Авось сменит гнев на

милость. Ведь о н тебя на воды с собою взял?

– Взял.

– И разговаривал?

– Один раз только. И то весьма кратко.

– Ну... Лиха беда начало. Да... Сильно ты, брат, прохудился. Едва не утонул. Благодарю Бога, что жив остался.

– Да... Спасибо Благодетельнице.

– И не токмо. Знай, я ведь за тебя лично разговаривал.

– Да? Ну, спасибо!

– Спасибом не отделаешься. Еще... повеселимся.

– Это конешно.

Сказал Кикин «Спасибо» Меншикову, а сам ведь точно знал: никто тогда даже не пошевелился в его, Кикина сторону. Все царского гнева испугались. «Одна Марта не испугалась. Помнит хорошее. Ну и слава Богу!» – подумал он.

8

Уже через два дня с паспортом и подорожной на руках Иван Большой пустился вдогонку за своим господином. Кикин спросил его провожая:

– Ты хоть знаешь, зачем так спешно Алексею Петровичу понадобился?

– Мыть, стричь да брить, да ботфорты драить – вот для чего. Или нет?

– Нет, брат. Хозяин зело опасается ныне тебя, поелику ты рот свой откроешь да скажешь, зачем царевич в чужие земли отъехал.

– Станут меня, поди-ко, о чем-то спрашивать. Лакей-то – что знает?

– Станут... Еще как станут, коли надо будет. И крепко. На виску пойдешь. И под плети. Церемониться не будут...

И помчал Иван Большой в Данциг. Примчал. Стал туда-сюда ходить и ездить, искать-спрашивать царевича. А его никто не видел все говорили, что не было его здесь вовсе.

Куда он делся?

Ответить на этот вопрос лакею было не под силу. Думал, думал, да так ничего и не удумал лучше того, чтоб воротиться домой. Подорожная то у него только до Данцига была. Воротился и сказал:

– Не нашел я царевича.

– Как – не нашел? Почему – не нашел? Что ты мелешь, голова твоя еловая? Куда же он делся?

– А я – почем знаю? – отвечал Иван.

Возвращение лакея порожним было первым тревожным сигналом.

Хотя – нет...

Первым определенно было явление царевны Марьи Алексеевны после ее лечения на водах в дом царевича, где с няньками и мамками жили двое его детей: дочь Наталья и сын Петр.

Одаривши детишек заморскими подарками, царевна принялась их ласкать и чуть не голосить, причитывая, что ах, мол, бедные малышки, стали вы-де сиротами, кто-то вас, ма-

леньких, теперь приголубит и обогреет, коли нету у вас ни отца, ни матери...

О причитаниях царевны Марьи сразу донесли Меншикову. Но он им значения не придал. Короткое время не дооценивал серьезности положения даже и сам Петр.

Письмо из Санкт-Петербурга о том, что царевич выехал, царь получил 21 октября 1716 года. Несколько дней спустя был уже и второй почтарь, доложивший царю, что наследник благополучно ехал за ним.

Посчитали. Выяснилось что Алексей более трех недель уже в дороге; стали ждать его со дня на день. Напрасно. Алексей – как в воду канул.

От Петра пошли письма – пока еще не тревожные. Ибо нрав наследника был всем хорошо известен. Он мог вполне где-то остановиться на отдых и с отдыхом... несколько подзатянуть. Объявится. Ничего страшного.

Так прошел месяц. Царевича все нет. 4 декабря Екатерина пишет тревожное письмо из Шверина Меншикову. 10 декабря она ему же пишет снова, что они, то есть Петр и Екатерина, очень обеспокоены отсутствием известий от Алексея. Как видим, пока еще речь идет только об отсутствии известий, а не о том, что Алексея по дороге украли, или убили.

9

В действительности же, как нам сегодня понятно, Алексей Петрович, не въезжая в Данциг, круто повернул на юг и погнал по знакомой ему вполне дороге против течения Вис-

лы на Торн. От Торна русские беглецы направились, по всей вероятности, в Бреслау; из Бреслау – в Брно, а уже из Брно – в вожделенную Вену. И они были, как мы уже знаем, как бы и не беглецы, а подполковник русской армии, кроатский коронный дворянин Иосип-Адам Коханский с женою, поручником и тремя слугами едущим по своей надобности в Вену.

И ехали, и доехали они по этому маршруту вполне благополучно, без сложностей и приключений. Только царевич по дороге несколько раз (береженого Бог бережет) менял парики и клеил усы, а Ефросинья весьма умело изменила внешность и превратилась в синеглазую брюнетку.

И вот, наконец, Вена!

Въехали в город глубоким уже вечером. Ждать до утра, соваться в гостиницу Алексей Петрович не захотел. Его снедало нетерпение. Он был совершенно убежден, что австрийцы его по дороге негласно оберегали, и нужные ему, Алексею, люди в Вене уже о его приезде осведомлены и, может быть, уже даже доложено императору Карлу.

Поэтому, спросив у полицейского дорогу к дому вице-канцлера Шенборна, и добравшись до него, остановились неподалеку.

Офицер-поручник Коханского (т.е. Иван брат Ефросиньи) представился охране Шенборна и на очень плохом немецком языке попросил дежурного офицера доложить вице-канцлеру Империи господину графу Шенборну совершенно неожиданное, а именно то, что наследник Московско-

го престола Алексей находится рядом на улице в карете и просит безотлагательно его принять.

10

Шенборн уже лежал в постели. И готовился прочесть на сон грядущий несколько страниц французского романца, когда ему доложили о в высшей степени странной просьбе с улицы.

У Шенборна была отличная память. Он немедленно вспомнил разговор с русским резидентом Веселовским и некоторое, правда очень краткое время, находился в состоянии легкой растерянности. Дело в том что он, вплоть до той минуты, когда ему передали, что царевич – в Вене и ждет приема на улице в карете, считал тот разговор с русским резидентом вполне гипотетическим. «Почему так скоро? Что, они там, сума по сходили, что ли?»

Пока Шенборн приходит так вот в себя, имеет смысл и нам с вами, читатель, порассуждать на эту же тему.

Абрам Веселовский и во время свидания с вице-канцлером – тогда, в потаенной комнате Хофбурга, и до, и после него – нимало удивлялся тому, что Шенборн решил принять царевича, никого из своего начальства не ставя в известность. Но Шенборн знал, что делал. Он еще в Хофбурге понял, что выгоды для Империи в случае удачного исхода дела царевича настолько велики, что решение он мог принять и без консультаций; был убежден, что император его поддержит. Как и бывало уже много раз. Если же ситуация

примет нежелательное для Империи направление развития, тогда проверенные и доверенные имперские головы совместно найдут выход. Так тоже было уже много раз. А пока надо, конечно, принимать этого ночного просителя. И вот еще что...

Шенборн коротко звякнул колокольчиком, вызвал лакея и спросил:

– Сын – дома?

– Дома, ваше сиятельство.

Сын – тридцатилетний холостяк, живший вместе с отцом, понадобился вот для чего. Больше года Шенборн-младший мучился в Санкт-Петербурге в качестве незначительного чиновника в составе имперской резидентуры у русских и знал царевича в лицо. Сын должен был опознать неожиданного визитера. Он – в ночном убранстве и даже в колпаке, явился к отцу, получил задачу и указание спрятаться в кабинетике старичка Грюнберга – библиотечного смотрителя, но дверь в кабинетик отнюдь не закрывать. После этого Шенборн надел дорогой турецкий халат и спустился в библиотеку, куда и должны были проводить в высшей степени странного ночного гостя.

Ожидая его, вице-канцлер недолго походил по ковру, а потом сел в кресло. Он стал вдруг волноваться. Отчего точно – он сказать не мог бы, наверное. Но только в эту минуту-две ожидания, он окончательно понял, что гипотетическое до сей поры дело с царевичем действительно – либо до-

ставит империи огромные выгоды (это если наследник получит трон), либо немалые сложности (это если Петр-царь в поисках сына дойдет до крайности). А что есть крайность в понимании Шенборна, он, Шенборн, осознавал весьма ясно. Крайность – это война. Но вот что было пока Шенборну еще не ясно – так это то, стоит ли Империи рисковать на войну с царем из-за сына-беглеца...

11

Дальнейшие размышления господина вице-канцлера были прерваны. Потому что дверь отворилась, и на пороге появился очень высокий, сутулый молодой человек лет двадцати пяти, бледный и усталый. Одет он был вполне обыкновенно, дорожным образом. Шляпу свою держал двумя руками прямо перед собой, прижимая ее к груди.

Войдя в комнату, он принялся как-то боязливо озираться и озирался до тех пор, пока глаза его не остановились на вице-канцлере. Тогда молодой человек упер в Шенборна большие воспаленные карие глаза свои, но продолжал все-таки молчать. Молчал и Шенборн, который держался проверенного на опыте принципа: в разговорах не особенно активничать, потому что справедливо полагал, что слушать – всегда удобнее, нежели говорить.

Отчаявшись дождаться от сидящего в кресле Шенборна первого слова, молодой человек принялся мять в руках свою шляпу. Наконец, когда шляпа окончательно потеряла свою форму, вошедший собрался с духом и сказал по-немецки,

причем, сразу стало понятно, что немецкий для него – чужой:

– Господин Шенборн... Ваше Высокопревосходительство... Ваше Сиятельство... вы видите перед собою несчастного наследника Московского трона...

Тут только Шенборн нашел нужным встать, но вставая – выстрелил взглядом в открытую дверь комнатки, где стоял сын и часто-часто кивал головой, что могло означать только одно: этот нескладный молодой человек – действительно русский царевич.

Только тогда Шенборн учтиво поклонился: положение обязывало. И с удовольствием отметил, что ответный поклон царевича был очень, даже чрезмерно почтителен. Стало быть, молодой человек уже ясно понимает, что отныне он ничего не решает, и единственное средство, которое с ним осталось, это почтительность. Почтительность буквально ко всем, даже к тем, кто будет варить ему еду.

В следующее мгновение, вдруг, и неожиданно, наверное, и для себя самого, у царевича из глаз брызнули слезы. Плача, он заговорил, но заговорил неясно и негромко, скорее, как бы забормотал.

12

– Я приехал с немалыми препонами в Вену, рассчитывая весьма на то, что мой дорогой шурин мне поможет. Я нуждаюсь в помощи. Я скрылся из своего отечества – из Московского государства. У меня нынче имеется немало подозре-

ний, что царь-отец мой хочет лишить меня престола и не подумает остановиться даже перед убийством, чтобы лишить меня трона. И это – не выдумка, ибо я хорошо знаю своего отца и не ошибаюсь. Хотя то, что я говорю – сейчас кажется невероятным. Но, все же, это правда. Даже если он и не прикажет прямо и скоро лишить меня жизни убийством, уже есть мне точное известие, что он хочет спрятать меня туда, откуда вернуться невозможно. Это место – монастырь. Прикажет поить только водой и кормить только хлебом, чтобы я скорее умер от голода.

Царевич говорил заикаясь, буквально сотрясаемый рыданиями. Не все можно было понять.

– Ваше Высочество, – в высшей степени осторожно прервал односторонние излияния царевича Шенборн, – успокойтесь... Ваша дорога закончилась, Вы устали и голодны... сейчас Вам дадут поесть...

И вице-канцлер выразительно глянул на почтительно стоявшего у двери лакея. Лакей повернулся уже спиной – чтобы принести этому русскому принцу тарелочку свиных колбасок с тушеной капустой, но голос прищельца заставил его задержаться:

– Нет, нет, – сказал царевич. Он уже почти прекратил плакать. – Нет, есть я ничего не хочу. Я чувствую жажду. Я с удовольствием выпил бы венского пива...

– Момент. – И Шенборн продолжил вкрадчиво: – Извольте сесть. Сейчас принесут пиво. – И задал вопрос для про-

стого разговора:

– Вы где остановились?

– Еще нигде.

– Вы раньше в Вене бывали?

– Нет, никогда.

– А где либо, кроме своего Отечества, бывали ли?

– Бывал. В Дрездене, в Варшаве, в Кракове, – и немного подумав, добавил: в Торгау, в Торне, в Карлсбаде... – Скажите, – спросил он нерешительно, – мой немецкий вас не пугает?

– Нет, нет, что вы... Говорите вы очень прилично.

– Пишу я лучше.

– А вот и... – Шенборн хотел сказать «пиво», но вовремя себя остановил себя. Потому что принесли не пиво, а вино. По-видимому, ночью в доме вице-канцлера пива не нашлось. Но «Токайское» ведь намного лучше...

– Это не пиво, а вино. Отлично утоляет жажду. Его делают у нас в Венгрии. Вам понравится.

Вино действительно отличное. Царевич выпил. Глаза у него заблестели. Настроение поднялось.

А пока он пил и несколько приходил в себя, в голове вице-канцлера созрел и план первичных действий.

От токайского царевич повеселел, стал хихикать, размахивать руками, вскакивать с кресла. Порывался рассказать о том, как он добирался и добрался до Вены. Но Шенборна совсем не интересовали подробности дороги. Он хотел немед-

ленно, и как можно больше, узнать о мотивах бегства московского наследника. Искусством спрашивать, потрошить собеседника в ходе незначительного разговора, вице-канцлер владел в совершенстве.

– Кто? Меншиков? Это подлец и негодяй. Говорят, что раньше, чем попасть к отцу в денщики, он торговал в Москве вразнос пирогами с зайчатиной. И мне он тоже большого хочет зла. Потому и окружил меня с детства дураками и пьяницами.

– Новая жена отца? Она – не благородная, совсем подлых кровей. Прачка. Мужичка. Отец осыпал ее милостями. Но хорошего не добился ничего. Только разбудил честолюбие. Вы знаете, она приняла православие. Я – ее крестный отец. Не удивляйтесь. У нас такое бывает. Ей и это лестно, но более всего она хочет, чтобы все вокруг громко говорили о том, как она красива. Большого ей ничего не нужно... Кто Вас еще интересует?

– Все, что вы рассказываете, это, конечно, интересно. Но совсем не проясняет картину. – проговорил в раздумье Шенборн. – Зачем же, все-таки, Вы бежали?

– Бежал? – ошарашено переспросил Алексей. Потом помолчав немного, подумав, ответил сам себе невесело:

– Ну да бежал бе – жал... – И вдруг, заговорил – громко торопливо как бы даже воспаляя себя нарочно:

– Я же говорю Вам, что батюшка мой не полагает меня способным к правлению. Но, честное слово, – у меня доволь-

но ума, что бы царствовать. Ведь это Бог дает царство и назначает наследников. А меня... меня, я знаю это совершенно точно, хотят до смерти моей засадить в монастырь. Отец хочет. Но я -то – не хочу в монастырь! Не хочу! Император должен спасти меня...

Комната была освещена неярко и поэтому царевич не заметил того, что вице-канцлер поморщился, словно от зубной боли. Шенборну стало ясно, что пошли повторы. А повторы были совсем не интересны. И он сказал, вставая с кресел:

– Ну, достаточно... На сегодня – вполне достаточно. Вы, очевидно, очень устали. Вам необходимо отдохнуть. Мы предоставим такую возможность. Время у нас есть...

– Да, но я хотел бы как можно скорее представиться императору...

– Вы так полагаете? – спросил вице-канцлер. И в вопросе его было так много иронии и насмешки, что царевич сразу сник. Он понял, что отныне ничего не решает. Но притворился удивленным:

– Я не понимаю...

Вице-канцлер тоже понял, что дал лишку. И поправился:

– Виноват... Прошу меня простить Ваше Высочество... Я хотел сказать только, что со временем вы, конечно непременно представитесь императору. Но со временем. Ждать не придется долго. Но сейчас – не время еще. Не время. Сейчас Вам и вашим людям надо отдохнуть. Путь был неблизким и беспокойным. Вас отвезут в небольшой городок... Совсем

не далеко от Вены. Там отдохнете.

13

Городок, в который привезли русских беглецов, был действительно маленький, красивый, зеленый и совсем не далеко от Вены. Он назывался Вайербург. В нем-то, на коротенькой Цветочной улице, в крепеньком кирпичном особнячке, обнесенном глухою стеною, и поселилась группа молчаливых людей. Их почти никто не видел. Кстати, дом охранялся. Вокруг ограды прохаживался внимательный человек с военной выправкой. И ночью – тоже.

Два дня Алексей и Ефросинья только спали и ели. Никаких дел. И слуги тоже были особенно не обременены. Но когда два дня миновали, в дом явился неприметный молодой человек, на котором партикулярное платье сидело как военный мундир. Человек этот в действительности точно был военный, и служил в Имперском военном министерстве. И он, этот человек стал вести долгие и спокойные разговоры с царевичем. Австрийца интересовали многие вопросы. И почти все они так или иначе касались тем отчасти военных, а отчасти – политических.

И, кстати, царевич оказался неплохим информатором; старался на эти вопросы ответить, старался показать свою осведомленность, полезность новым друзьям, которые с самого начала больше напоминали хозяев.

Австрийцы, например, очень тревожились по поводу русских войск в Померании: зачем они там, много ли в них ар-

тиллерии и конницы? Может ли наследник русского престола на них ответить? Конечно, может! При этом Алексей во все не взял на себя труда подумать, а хорошо ли это будет для Отечества? А, может быть уже и плюнул на эту сторону дела и окончательно утвердился в том, что то, что плохо для отца – хорошо для него самого, а? Похоже...

– Войск у нас в Померании около тридцати тысяч. Артиллерии и кавалерии не много. Сколько я слышал, эти силы предназначены отцом для поддержки действий против шведов на море. А чтобы угрожать из Прибалтики Империи... Нет, нет, про то он ни разу не говорил.

Что он может сказать о командующем русскими войсками в Померании? Не весьма много... Так... Зовут Адам Вейде. Из Пруссии. Генерал – аншеф. В России давно. Начал служить отцу еще в Потешном полку. Во время разгрома под Нарвой в начале войны попал в плен к шведам. Он, Алексей, точно не помнит, но, скорее всего, в 1710 году Вейде обменяли на генерала Штремберга. В битве при Гангуте Вейде командовал галерой. Он – большой поклонник батюшки. Деньги, конечно, получает от отца немалые, но служит по совести. Можно ли его купить? Скорее всего, нет.

Из этих разговоров – те кто спрашивал и думал над тем, что рассказывал Алексей, сделали вывод, что царевич, конечно, приbedняется, когда говорит, что о немногом помнит и о немногом может судить. Напротив. Многое помнит, и о многом судит весьма разумно.

Такие вот тихие беседы велись с Алексеем Петровичем в маленьком Ваербурге осенью 1716 года.

14

Петр же и Екатерина переехали в это время из Шверина в Амстердам. Готовился визит во Францию. Одновременно отец начинает наращивать усилия в поисках сына. Теперь ему уже определенно ясно, что Алексей по своей воле погулять нигде не задержался. Предчувствие все более заставляло предполагать убийство либо похищение. О бегстве сына Петр первое время в тревоге, скорее всего, не думал. Он знал, что Алексей нерешителен и слабоволен, но чтобы он вдруг бежал, предал, этого отец не допускал. Приказы Петра по поводу сына об этом говорят прямо. Они были отданы людям, которые нам уже известны: Абраму Веселовскому и генералу Адаму Вейде.

Резидент получил собственноручное письмо царя для передачи его императору Карлу. В письме содержалась просьба частным образом поискать и установить – не находится ли сын Петра Алексей в землях Империи. Если выяснится, что да, находится, то царь просил передать сына Веселовскому, дав обоим надежную офицерскую охрану. Царевич должен быть перевезен в Померанию, где за него уже будет отвечать генерал Вейде и его люди.

Отчетливо понятно из этого, что Абрам Веселовский и австрийцы пока вне подозрений совершенно...

Но вот вопрос: как должны были реагировать на письмо

царя австрийцы официально? Понятно, что они должны были во всем и немедленно пойти навстречу Петру. Исчезновение наследника трона огромной державы – событие чрезвычайное. Но так ли оно все было после того, как Карл VI получил письмо Петра? Мягко говоря – не так.

У австрийцев в связи с делом царевича появились две позиции: 1) официальная позиция момента и 2) реальная позиция с учетом перспективы.

На первой мы сейчас останавливаться не будем. Еще не время. Еще нужно немного подождать. К тому же первая позиция не служит годным прикрытием для второй. А вот для того, чтобы показать реальную позицию Империи с учетом возможной перспективы – самое время.

Действительно, позиция Империи настолько не красит Австрию, на столько определенно показывает антипетровский, антироссийский ее смысл, что она, пожалуй, нигде, даже наверное, не формулировалась. Но каждый умный, горячий и информированный сторонник Империи просто обязан был иметь ее ввиду, поскольку именно в ней заключались и максимальная выгода и высшие интересы государства на целую эпоху.

Что же это за позиция? А вот что:

- 1) Укрыть царевича до смерти отца.
- 2) Обеспечить воцарение Алексея любыми средствами, вплоть до военных.
- 3) Получить в лице Алексея Петровича и его потомков

монархов, всем обязанных Империи.

4) Опираясь на русские финансовые и военные ресурсы добиться конечного разгрома Оттоманской Порты.

5) Получить полное Имперское политическое господство на всех германоязычных территориях.

6) Занять подобающее Великой Австрии торговое и политическое место на Балканах.

И что за беда, если при всем при этом пострадают балканские интересы России? Ведь Россия, всем обязанная Империи, не посмеет ни в коем случае ссориться с благодетельницей!

Вот она, Имперская программа-максимум, которую всегда стремились реализовать из Вены, по крайней мере, начиная с XVIII века! И пока... Пока все развивалось как нельзя лучше.

15

Царевича и его людей постарались укрыть действительно надежно. В землях Империи существовало немало таких тихих уголков, где человек мог жить в полной безопасности, совершенно не боясь для себя неприятностей. Горная тирольская крепость Эренберг была именно таким «уголком», хотя возвышалась на скале.

Осенью 1716 года комендант крепости принял под охрану группу привезенных ему иностранцев. Эти странные люди даже обрадовали коменданта, которому жизнь здесь, когда дни похожи один на другой, как... ружейные пули, предель-

но надоела.

Высокий и медлительный молодой человек с чужим немецким языком, был, как сказали коменданту, важный государственный преступник. Станный, очень странный преступник, на содержание которого император отпускал от 250 до 300 гульденов в месяц. Велено было всемерно сохранять в тайне его пребывание в Эренберге. Для этого пришлось пойти на крайние меры: запретить солдатам крепостного гарнизона и их женам выходить за ворота крепости. Караульным запрещены были какие бы то ни было разговоры о том, кто привезен в крепость.

Между тем, наблюдательные жители округи и сами заметили, что в крепостном донжоне кого-то поселили. Однако обитатели крошечного городка, или, лучше сказать, деревни которая расположилась двумя милями ниже, по этому поводу посудачили совсем недолго.

16

В башне просыпались поздно. Поздно завтракали, поздно обедали, поздно ужинали. Но пили много. Главным образом, пиво... И господа, и слуги. Атмосфера была самая демократическая. Отношения были... Мы даже вот так, сразу, и не сможем сразу определить, какими были эти отношения. Нельзя сказать, чтобы слуги совсем не исполняли приказаний. Да и господа – мужчина и его белокурая подружка – не были очень привередливы: не гоняли, т.е. не покрикивали, не топали ногами, не били об пол и о головы тарелок, и не

рукоприкладствовали. Целыми днями они вдвоем бродили по комнатам или читали лежа, или негромко разговаривали. И если бы кто-то подслушал, о чем они разговаривали, то темы были такие: еда и погода, но чаще – о том, что надобно будет сделать сразу после того, как они победителями возвратятся в Россию. Еще точнее: кого куда.

Перво-наперво, натурально, матушку из Суздаля воротить с почетом; затем – Меншикова – на кол; чухонку – на кол всех лишних немцев из России – вон!..

А батюшку – на церковный суд – за многие богохульства, к церковному покаянию – и в монастырь. Пусть поймет, каково было матушке в келье-то сидеть.

Обращаем внимание читателя на то, что оказавшись в Вене, почувствовав себя в безопасности, уверенный в будущей и полной помощи Австрии, Алексей вполне допускал, что его воцарение может случиться и при живом батюшке. Уж очень хотел сын отцу отомстить.

Ждали почти всякий день, что вот-вот, проскачет по гулкому крепостному мосту верховой гонец, слетит птицею с лошади и крикнет весело: «Собирайтесь, Ваше Величество! Россия ждет!»

Да, что говорить – хорошо, хорошо им было в Эренберге, когда они не устали еще от ожиданий, и пока новый страх еще не явился.

И хозяева первоначально основательно поддерживали. Вице-канцлер, например, переслал в крепость донесения

имперского резидента в России графа Отто Плеера – с описанием переполоха, который был произведен дома разными слухами о пропаже царевича-наследника.

Говорили, что Алексея Петровича в городе Данциге царские люди взяли и отвезли в дальний-предальний монастырь под замок. Говорили еще, что царевич из-под замка и караула с помощью ангела своего ушел и наступним летом непременно тайно явится в Суздале повидаться с матерью. Говорили и то уже, что в Мекленбурге, в армии Вейде – заговор, и что заговорщики бунт готовят и хотят, значит, его царевича мать Евдокию из заточения освободить, царствование предать Алексею, царя Петра по Божьему повелению убить, а Катьку-чухонку, девок ее и сына – заточить всенепременно в тот монастырь Покровский в Суздале, где Евдокия-матушка против воли своей в затворе была.

Плеер так же особо доносил в Вену, что громче стали жалобы да сетования имущих людей на то, как жестоко обходится царь Петр с детьми ихними: забирает в матрозы и заставляет корабельными плотниками робить.

Понятно, что таковые вести, хотя в них немало и кривды было и ненадежных всегда сплетен, Алексею проливались бальзамом на душу.

А как же в действительности откликнулось в России бегство царевича? Это, пожалуй, будет читателю интересно.

Но гувернантка Алексеевых деток мадам Роген делилась вестью этой с царевичевым лакеем Иваном Большим совсем без тревоги, а, скорее, со злорадством:

– Его Высочество из России Светлейшим князем изгнан. Только он, Меншиков, ему, Алексею, в свое время сполна заплатит.

А Иван Нарышкин, один из ревностных сторонников Алексея, делился со своими людьми мечтой: если покровительство цесарское удачно будет, если цесарцам подфартит Алексея до смерти царя Петра у себя благополучно додержать, то будет все так хорошо, что лучше не бывает: «Как сюда (т.е. домой) царевич приедет, ведь он там (т.е. у австрийцев) не вовсе будет, то он тогда уберет Светлейшего князя с прочими. Достанется и учителю (Вяземскому) с роднею за то, что он его, Алексея, продавал.

Что обращает на себя внимание? Не то, что все дружно ненавидят Меншикова (это уже, что называется, общее место), а то, что считают Никифора Вяземского предателем.

Никаких прямых доказательств этому нет. Но косвенные – есть. Учитывая то, что наказаны были смертью люди, расположенные от Алексея намного дальше, чем учитель, это наводит на мысль, что Иван Нарышкин был, что называется, не так уж не прав.

Знали, знали о бегстве некоторые сторонники Алексея; знали не домыслы, а правду. Знали, и бегству его радовались, желали ему успехов и силы, чтобы дожидаться у цесар-

цев смерти отца-антихриста и явиться домой царем, во всей силе и славе своей, покарать своих врагов и вознаградить друзей и помощников.

18

Между тем, с весны 1717 года Петр решился предпринять в поисках сына более энергические действия и направил в Вену, как бы мы сейчас сказали, опергруппу. Группа та состояла из четырех человек. Все это были молодые, храбрые и расторопные офицеры, которых Петр лично знал и которым доверял. Возглавлял группу капитан гвардии Александр Румянцев.

Молодые люди прибыли в Вену 19 марта 1717 года. Задача, которую им поставил Петр еще в Амстердаме, заключалась в том, чтобы найти царевича, взять его под охрану и как можно быстрее переправить в расположение русских войск, дислоцированных в Мекленбурге.

Исполняя повеление Петра, новые действия предпринял и Абрам Павлович Веселовский, положение которого, как легко может понять читатель, становилось все более и более ужасным. Он превращался в подлинного слугу двух господ. И обоим господам, или, по крайней мере, тому, кто был ближе и поэтому опаснее, Веселовский должен был служить до того ретиво, чтобы не вызвать даже ничтожных подозрений.

А задача, которую поставил перед ним Петр – узнать доподлинно, куда исчез сын, была не легкой. Хотя и понятной. Начать Абрам Петрович решил с... часовых дел мастера

Кеннера, которого мы с вами, читатель, уже немного знаем.

Явившись к Кеннеру, Веселовский сначала, высказал чистосердечный восторг по поводу новинки – превосходных английских часов – напольных, красного дерева, с боем, чем (что и требовалось) поднял настроение мастеру. И только после того, как убедился в нужном результате льстивых слов своих о часах, приступил к главному.

– Вы меня помните, господин Кеннер?

– Отлично помню, господин мой.

– Я несколько раз вас посещал... Мне нужно было... Понимаете, господин Кеннер, нынче у меня снова к вам нужда... У нас есть один общий знакомый – господин граф... э... Вы понимаете? Мне нужно сообщить ему нечто очень важное. Могу я передать ему маленькую записочку?

– Нет! – вдруг ледяным голосом ответил Кеннер. – Ни в коем случае это не возможно. Я только могу узнать, захотят ли с Вами иметь дело.

– Вот как? – чистосердечно изумился Абрам Петрович.

– Да. – И показал рукою на дверь. Такие вот дела. Не больше – ни меньше.

А на завтра Кеннера в лавке не было. И лавка оказалась запертой. И послезавтра. И после послезавтра – тоже.

Только на четвертый день Кеннер оказался на месте, и, как всегда, приветливо улыбался. Веселовский же должен был молча стоять и пережидать улыбку до тех пор, пока не услышал, наконец:

– В доброй нашей Австрии люди если и исчезают, то почти всегда в Тироле. Там у нас горы. Пропасти. Опасные тропы... Вы, коли будет время, наведайтесь в Инсбрук. Там мой сын Август тоже чинит часы. Может быть, он что-то знает... Сошлитесь на меня...

Как только часовщик сказал эту в высшей степени туманную фразу, Веселовский сразу услышал в ней намек. И потому всего два часа спустя выехал в Инсбрук.

Цесарская игра становилась ему все более понятной. Ясно, что они укрывают царевича. Но как всегда – при любом исходе дела, хотят, если не улучшить положение, то, по крайней мере, сохранить позиции Империи.

Абраму Павловичу, право, стало несколько не по себе от такого двурушничества. И одновременно Веселовский отчетливо осознал, насколько шатким становится отныне его собственное положение. Ведь достаточно хоть кому из венских псов Петра услышать стороной о любви Веселовского к некоторым полотнам императорской живописной коллекции – и все. И конец...

От сознания того, что он с ног до головы отныне в руках австрийцев, и уже ничего нельзя сделать, тоска навалилась на него всюю своею тяжестью. Как же страшно все повернулось! Теперь он должен со всею возможной ретивостью искать царевича и одновременно – возможность помешать успеху этого поиска. С ума можно сойти...

Именно по дороге в Инсбрук впервые и, видать, надолго

поселилась в голове Абрама Павловича мысль о том, что не только царевичу надобно скрываться, но и ему, Веселовскому надо бы об этом подумать. Впервые сказанная, как мы помним, Кикиным мысль эта прочно засела у Веселовского в голове, толкала энергично думать:

– Петр сильнее. Он вытащит сына домой. А Алексей – трус. Боится дыбы, как огня. Потому начнет выдавать помощников. Хорошо, как не ведает, что я сделал для него. Хотя это мало что дает. Кикина-то он назовет... Кикин – мужик, конечно, крепкий. Какое-то время будет молчать. Но все равно сломают. Назовет он меня. И неминовать тогда бежать. А куда? В Лондон и только в Лондон! Оттуда не выдают. А после, скорее всего, в Америку. Оттуда не выдадут точно...

Но только после таких размышлений стукнуло, наконец, резиденту в голову и последнее: «Все. Дома родного мне больше не видать»...

19

Итак, теперь Инсбрук.

До него Абрам Павлович решился скорости ради добираться верхом. Когда-то он был неплохим кавалеристом. Но Веселовский упустил совсем из виду, что последний раз ездил верхом лет пять назад, поэтому поясница дала о себе знать за какие-нибудь два часа дороги. А ехать надо было куда больше двухсот верст т.е. не меньше трех дней. Поэтому, можно себе представить, как плохо чувствовал себя Ве-

селовский, когда добрался, наконец, до Инсбрука.

Тем не менее, надо было, прежде всего, делать дело: искать часовщика-сына. К удивлению своему, лавочку часовых дел мастера Августа Кеннера Веселовскому показал чуть ли не первый прохожий, встреченный в городе. А когда Абрам Павлович в ту лавочку вошел, то сразу понял, не надо было уточнять родство: сын был похож на отца как две капли воды: такой же худенький, с таким же тихим но четким выговором, с такими же небесно-голубыми глазами.

Разговор получился такой:

– Добрый день... Вас порекомендовал Ваш отец. Он полагает, что, Вы можете знать, где мне искать вот этого человека. – И Веселовский показал Августу Кеннеру самый простой, но очень похожий рисунок карандашом лица царевича Алексея, сделанный еще в Петербурге с портрета маслом кисти Иогана Тоннауэра Осьмушка рисовальной бумаги с головой Алексея была привезена в Вену капитаном Румянцевым. Одно только мгновение Август Кеннер смотрел на рисунок. Потом повернул листок тыльной стороной вверх, взял тут же стоявшее в чернильнице перо и написал что-то очень быстро. Потом подвинул листок Веселовскому, чтобы тот мог прочитать. Тот прочитал: «Innsbruck – Landeck – Ehrenberg» Веселовский все сразу понял: надо было ехать из Инсбрука на Ландэкке и по дороге искать какой-то Эренберг. Царевич, надо полагать, в Эренберге.

Наш человек Абрам Веселовский кивнул часовщику – в

знак того что все понял, и в тот же миг листок был поднесен к горящей свече и... исчез.

20

Теперь время терпело. Теперь можно было передохнуть. На почтовом дворе Абрам Павлович сытно пообедал, нанял, не торгуясь, покойную коляску до Вены и не торопясь тронулся в обратный путь. Дальнейшее должен был сделать и сделал капитан Румянцев. Получив направление и наименование пункта назначения, Румянцев, который ездил превосходно, помчал на Ландекке, ни на минуту не забывая дотошно спрашивать, куда ведут повороты. Один из поворотов и привел его, наконец, к Эренбергу. Это была небольшая горная крепость, вряд ли имевшая какое-либо военное значение. Тем не менее, Румянцев очень быстро установил, что она хорошо охранялась и из нее за полдня его терпеливого наблюдения никто не выехал, так же как и не въехал. Тогда наш человек Румянцев, дождавшись темноты, залез на одну из нескольких высоких сосен, росших неподалеку от крепостного моста. С этой точки можно было наблюдать некоторую часть крепостного двора. Весь день и весь вечер двор пустовал. Пустовал и крошечный балкончик в стене несуразного, кривобокого донжона, вернее того, что когда-то было донжоном.

Наступили вечерние сумерки второго дня ожидания. Двор по-прежнему был пуст.

Но вдруг на балкон вышли сразу двое – высокий и малень-

кий. В руках малыша вспыхнул смоляной факел. Длинный подсадил малыша и тот довольно ловко поместил горящий факел во кронштейн в стене – слева и выше балкона. При этом капюшон с его головы пал на плечи, показав длинные светлые волосы.

– Что за черт, не уж-то баба? – подумал себе Румянцев и даже задрожал в предчувствии удачи. Черт! Неясно видно...

Подзорная трубы увеличивала, может быть и достаточно; однако почти ночь уже... От одной только мысли, что ему придется просидеть очень неудобно и почти не шевелясь, до рассвета, капитан гвардии затосковал.

Между прочим, высокий в это время тоже снял капюшон, показал густые темные, волнистые волосы – лучше любого парика.

Вдруг факел, скорее всего, под ветром, полыхнул ярко. Румянцев в это время в трубку свою глядел и потому в отсвете факельном ясно увядал: на балкончике крепостном стоял царевич Алексей Петрович. Ошибиться было не возможно. Невозможно, потому что в трубке все было светло и близко: протяни руку и достанешь.

Едва сдержавшись, чтобы не заорать от боли, обдирая до крови ладони и ноги о жесткую сосновую кору, Александр Петрович Румянцев как мог только быстро кинулся вниз, к дороге, где в густом и высоком кустарнике спокойно ждала хозяина его лошадь.

Не теряя ни минуты он, что было силы в транспортном

средстве, помчался назад, в Вену. Так как он скакал из Инсбрука до Вены, наверное никто не ездил – ни до, ни после него. Только свидетельствовать это скоростное достижение нашего человека было некому. Да тогда рекорды скорости ни кем и не фиксировались.

21

Пока капитан гвардии Румянцев, посланный вникуда «для обстоятельного разыскания» пропавшего царевича скакал в Тироль, искал малоизвестный Эринберг; пока наблюдал и лазил по деревьям; пока опять-таки скакал назад, в Вену, Абрам Павлович Веселовский, повинувшись приказу царя, добивался и добился, наконец, аудиенции у принца Евгения. Нашему резиденту в Австрии нельзя было вызвать даже малейших подозрений у своего повелителя в саботаже его монаршей воли.

Абрам Павлович, несмотря на двусмысленность своего положения в глазах австрийцев, должен был ставить вопрос, что называется, ребром: практически прямо формулировать подозрения в том, что Империя укрывает царевича. Но принц Евгений довольно искусно вывернулся и выгородил императора Карла, который, по словам принца, «ничего не знает о Коханском».

В это время в Вену вернулся Румянцев и подтвердил доподлинно, что да, действительно, царевич Алексей Петрович ныне находится в Тирольских горах, в крепости Эренберг, под крепкую охраной, и что положение его хотя и несаяное,

но скорее всего, не подневольное. А то, что царевич действительно в Эренберге, он, Румянцев, готов утвердить клятвою, поскольку самолично наблюдал Алексея Петровича довольно близко и ошибиться не мог.

Тогда, получивши сведения Румянцева, А.П. Веселовский просит аудиенции уже у Императора и император Абраму Павловичу аудиенцию дает.

Аудиенция у императора почти полностью повторяет разговор Веселовского с принцем. Веселовский говорит, что царевич в Австрии; император уклончиво отвечает, что ему о пребывании в его землях «известной персоны» ничего еще не доложено. Но, дескать, теперь-то сам император Карл серьезность ситуации вполне осознает и собственноручно напишет письмо царю по этому поводу. Русские поверили, стали ждать вскорости императорского письма, но письма все не было.

22

Вена очевидно тянула время. А мы постараемся сейчас определенно ответить на вопрос, почему это делалось.

Не только потому, что неудобно было признавать факт укрывательства. Паузу в близком к Цесарю окружению использовали для поиска выхода из создавшегося щекотливого положения и даже стали совершать не которые действия. Вот какие.

Когда австрийская сторона убедилась в том, что русским действительно известно местонахождения Алексея, то

в Эренберг был направлен чиновник министерства иностранных дел Густав Кайль. Это был сравнительно молодой человек; ему не было и сорока. Он хорошо говорил на славянских языках и не первый раз приезжал к Алексею. Поэтому его новое появление в Эренберге тревоги у русского августейшего беженца не вызвало.

Кайль широко улыбался, но просил у Алексея Петровича разрешения побеседовать наедине. Наедине же Кайль убрал с лица улыбку и изобразил на нем безмерную озабоченность:

– Ваше Высочество, я привез Вам очень плохие новости...

– Что случилось? – спросил Алексей встревожено. – Захворала матушка?

– Нет. – ответил Кайль. – Сведений о здоровье вашей матери мы не имеем. Спешу, однако, успокоить. – в тюрьмах при регулярном питании узники часто живут очень долго.

– Она – не в тюрьме. – чуть-чуть только обиделся царевич. Сильно обижаться на хозяев было нельзя. Алексей Петрович это хорошо понимал.

– Я знаю. Но ваш монастырь от тюрьмы почти не отличается. Однако новость, которую я вам привез намного хуже, чем русский монастырь.

– К делу, любезный Кайль! – нетерпеливо прервал царевич. Голос у него дрогнул. Может быть, он что-то уже предчувствовал?..

– Отец Вас нашел.

– Как – нашел? – громко и с заметными нотками ужаса в голосе вскричал царевич.

– Он знает, что вы здесь, в Эренберге.

Одно только мгновение прошло, и оно изменило человека целиком. Царевич немедленно побледнел и ухватился за спинку стула, чтобы не упасть. Голос пропал. Он спросил шепотом:

– Батюшка требует выдачи?

– Пока нет. Пока мы просто тянем время. И еще, сколько можно будет, потянем... Ваше Высочество не может сказать, что мы ведем себя бесчестно. Единственное, чего более всего хочет наш добрый император Карл – так это только любви и согласия между Вами и великим отцом Вашим. И укрыли мы Вас – как вы сами просили – потому что отец ваш на Вас гневается. Ведь наш добрый император – ваш шурин. И ему очень не хотелось бы оставлять без покровительства Ваших детей. А лучшей помощью им было бы возвращение Ваше к отцу с миром.

– Вы хотите, чтобы я явился к отцу? – шепотом отчаянно закричал Алексей. – Но это – невозможно! Вы – не понимаете! Отец тут же прикажет оковать меня в кандалы! Он начнет розыск! Он обвинит меня в государственной измене! Хорошо, если только сошлет, но может и голову снять! Вот что будет! Вы с вашим императором – разве этого хотите?

Ноги в эти секунды напрочь перестали держать царици-

ча, он рухнул на колени и, что называется, залился горькими слезами.

Кайль смутился. Согласитесь, читатель, ведь далеко не каждый день доброму австрийцу приходится видеть наследника русского трона, тем более, плачущего, и, тем более, стоящего на коленях и нуждающегося в утешении. Поэтому, преодолев некоторое смущение, Кайль, как истинный слуга своего долга, осторожно ответил:

– Нет, Ваше Высочество, наша добрая Австрия не хотела бы этого... Кроме возвращения к отцу есть еще пока возможность перевезти Вас в другое место. Есть выбор.

– Выбор? – ярился горестным шепотом Алексей. – Вы говорите – выбор? Да вы смеетесь надо мной, государь милостивый! – Царевич уже отчасти пришел в себя; он уже бегал по комнате, скидывал свои длинные, плетеобразные руки и хотел бы, наверное, грозно кричать. Но кричать – не получалось. Голос пропал.

– Ни какого выбора у меня нет! У меня есть пока только силы – бегать от отца – и только! Да и то, если цесарь меня будет продолжать прятать! И все! Ничего другого у меня больше нет!

– Итак, вы желаете продолжать укрываться в землях империи?

– Да!

– Тогда – готовьтесь! Мы выезжаем нынешней ночью. Только вы и я. Ваших людей мы оставляем пока здесь. Пока.

И более того: сначала крепость покину я. В вашем плаще. Шпион, если он здесь, – последует за мною. Этот человек очень ловкий. Настоящий дьявол. Он проник в тайну. Он обнаружил Ваше пристанище. Он уже доставил нашим людям много головной боли. Полиция не смогла его взять. Он умен, силен и настойчив. Препятствия его, очевидно, не пугают. И он работает в одиночку. Если бы у него были помощники, то кого-то удалось бы заметить. Но он один. И пока неуловим. Но Вы – не волнуйтесь. Я точно приехал без хвоста. И постараюсь увести его за собою. Итак, сначала я, потом Вы...

24

Но Густав Кайль – ошибся. Александр Румянцев сел ему на хвост сразу, как только этот самоуверенный австрияк выехал за ограду Хофбурга. Примету же коляски Кайля – свежеокрашенные охрой «пальцы» всех четырех колес – сообщил Веселовскому часовщик. А часовщик связан с вице-канцлером... Чувствуете? Нет, Вы чувствуете? Чувствуете, что отсюда следует? Отсюда следует, что Шенборн ведет двойную игру! Но зачем ему это надо? Абрам Петрович дивился этому необычайно. От раздумий на эту тему у Веселовского не проходила головная боль.

25

Вернемся, однако, в Эренберг.

Мы оставили собеседников (Кайля и царевича) в тот момент, когда Кайль убеждал Алексея в том, что первым из крепости, предосторожности ради, следует выехать ему,

Кайлю. В плаще Алексея Петровича. Но...

26

– Нет, – ответил Алексей Петрович.

– Что – нет? – не понял Густав Каэль.

– Это невозможно.

– Что – невозможно?

– Невозможно, чтобы я ехал один, без этой женщины. Без нее я никуда не поеду.

– Вы шутите?

– И не думаю.

– Послушайте меня, Ваше Высочество. Вы усложняете дело. Нельзя, чтобы заехал в крепость один, а выехало трое. Это – сразу же привлечет внимание. Вы понимаете?

– Ничего не желаю понимать! Я желаю только чтобы она всегда была со мной. Вы ежайте первым. Уводите за собой вашего великого шпиона. Делайте что угодно, но я с нею выеду вместе.

– Мне ничего не остается, кроме как выполнить волю Вашего Высочества. Но это меняет дело. Тогда есть опасность, что шпион выследит Вас. И у нас с Вашим отцом снова будут сложности.

– Ну и что же? А вы перевезете меня в другое убежище.

– А потом – в третье?

– А потом – в третье!

– И в четвертое?

– Да, да, да!

– Но мы не сможем...

– Чего – не сможете?

– Но мы не сможем укрывать Вас до бесконечности.

– А не надо – до бесконечности. Надо – до смерти отца моего. Понятно?

27

А ведь этот Кайль – как в воду смотрел. Нам известно, что Александр Румянцев в одиночку его выследил и «довел» до ворот Эренберга.

Почти сутки наш человек снова просидел на сосне, росшей, примерно в полумиле от крепости – в дождь и в не малый холод, который совсем не редок в Тироле в апреле. Но достиг цели: не упустил момент, когда из крепости выехал человек в плаще и шляпе царевича. О том, чтобы принять его за Алексея, он совсем даже не полагал, ибо не допускал и мысли о том, чтобы царевича отпустили одного. Поэтому за одиноким всадником Румянцев не погнался, а спокойно пропустил его, сидя на сосне. И позже – много раз хвалил себя за выдержку.

Потому что перед рассветом он увидел тех, кого ждал: двух конных. Он рискнул двинуться за ними. И не ошибся.

Дорога представляла собою тесное дефиле. Многожды взбираясь на высокие придорожные откосы, Румянцев даже пешком обгонял всадников, поскольку дорога вилась и клонила вниз сложным серпантинном. По тропам можно было легче легкого обгонять тех, которые двигались по дороге.

Что Румянцев Александр, капитан гвардии, с успехом и делал. И очень скоро доподлинно убедился – кого он доглядывал на горной дороге. Это был и Алексей и Ефросинья, одетая мальчишкой-пажом.

Заметно ниже крепости к ним двоим присоединился и третий – тот самый человек, которого от венского Ховсбурга, во всякую минуту рискуя быть замеченным, сопровождал Румянцев. И двигались эти трое спокойно, по виду – никуда не торопясь и ничего не опасаясь.

На границе коронных и Итальянских земель эта троица сделала остановку в городке Керах. Тогда еще неясно было – почему и на какое время.

Часть седьмая

самая краткая, но очень важная для автора и читателя, в которой речь идет о том, как царские розыскники, обнаружив царевича Алексея Петровича, добились свидания с ним, уговорили вернуться и вывезли в Отечество.

1

Читатель, конечно, согласится с тем, что сюжет любого повествования, раз начавшись, должен разматываться, подобно клубку, до самого конца нити. И это верно даже в том случае, когда по прихоти того же сюжета, фигуранты его могут на время и «выключаться» из него: скоротать время в горной крепости, или, как в данном случае, которым завершилась предыдущая часть, посидеть взаперти в доме у дороги, в ожидании того, когда будут приняты некие важные решения.

Потому что – чего там скрывать, – с момента прибытия в Вену царевич Алексей Петрович потерял самостоятельность в действиях, и чем дольше находился «в гостях», тем более превращался в человека, значение которого для хозяев имело какую-то величину только самое первое время.

Предваряя события, утвердим без риска ошибиться: царевич постепенно превращался для австрийцев в обузу, от которой они хотели бы уже избавиться, и, более того, это стал понимать и сам царевич.

2

Итак, наш беглец сидел и ждал важных решений. Особняк в Керахе, казалось бы, прочно его укрывал. Но Румянцев, как мы знаем, следил за его путешествием из Эринберга и точно знал все относительно места нахождения Алексея.

Решения же принимались в Венском Хофбурге – на самом верху. И обстановка, в которой принимались эти решения, была, прямо скажем, нервной.

Сначала была сделана попытка избавиться от неприятной «персоны» совсем в соответствии с русской поговоркой «с глаз долой из сердца вон», которую в Хофбурге, скорее всего, не знали. С этой целью был отправлен в Лондон, к королю Георгу I срочный гонец с письмом, подписанным самим императором. В письме содержался запрос: не захотел ли бы Георг – не как английский король, а как, по совместительству, Ганноверский курфюрст и родственник Брауншвейгского дома (а София Шарлотта, покойная супруга Алексея Петровича – тоже была связана с герцогами Брауншвейгскими узами родства – приходилась правящему герцогу внучкой) – не захотел ли бы он взять под свою опеку несчастного московского принца?

Англичане связываться не захотели.

Как ни не любил Георг I Английский Петра I Московского, в Лондоне не могли не понимать: пойдя Туманный Альбион навстречу Вене – пришлось бы фундаментально портить отношения с Россией, а этого на Темзе не хотели.

Таким образом, попытка Вены вовлечь в игру Лондон и

тем самым разделить с ним и риски и ответственность – не удалась.

И, кстати, так ли уж правы авторы, считавшие и считающие Георга и Петра личными врагами? Если бы это было так, то Англия, конечно же, приняла бы участие в судьбе царевича Алексея – хотя бы для того, чтобы сделать Петру неприятность.

Петр хорошо помнил о том, не очень ласковом приеме, который был ему оказан в Англии во время Великого посольства; конечно он знал так же что в войне со Швецией Британия реально поддерживала Карла; конечно и англичане не были в восторге от того, что морское могущество Британии на Балтике подорвано Россией. Все это известно. Но взаимная выгодность англо-русской торговли перевешивала все англо-русские противоречия.

3

Тем временем в Вене, на самом верху определили, наконец, новое место жительства для беглеца: неаполитанский замок Сент Эльмо. Алексея привезли туда 6 мая 1717 года вместе с Ефросиньей, и снова, фактически, заперли.

Но обеспечить тайну не удалось. Румянцев ситуацию контролировал; наблюдал за домом в Керахе непрерывно и до того конспиративно, что хозяева ни о чем не подозревали.

В тоже примерно время, австрийцы решили, наконец, что и как должен ответить царю Петру император – Цесарь Карл. Письмо было написано и отправлено царю.

В нем Карл признает факт пребывания Алексея на территории Империи, но довольно-таки нагло заявляет, что будет стараться, чтобы Алексей не попал во вражеские руки (разрядка автора – ЮВ), «но был наставлен сохранять отеческую милость и последовать стезям отцовским по праву своего рождения». В чем состоит императорская наглость? А в том, что Австрия с Алексеем что называется вляпавшись, тем не менее довольно ясно поддерживает права Алексея на престол! Карл даже говорит о необходимости того чтобы Алексей «был наставлен», ясно намекая на то кто получает право наставлять. Конечно же, Австрия.

Получивши это письмо и вполне поняв его смысл и назначение, Петр не мог не обозлиться. Он в то время находился в Спа (пробовал местную воду на предмет лечения своего пилонефрита). В самом разгаре был визит царя во Францию.

А озлившись, Петр вызвал в Спа двух человек: уже известного нам Александра Ивановича Румянцева и Петра Андреевича Толстого. Выбор пал на них по трем причинам: они оба а) были совершенно преданы царю; б) пользовались полным царским доверием; и в) как исполнители были способны на очень многое, если не на все.

Им Петр и поручил дальнейшие поиски сына.

Толстой и Румянцев получили от своего повелителя кроме этой задачи и документ чрезвычайной важности и секретности, а именно – собственноручное письмо отца для сына.

Вот оно.

«Мой сын! Понеже всем есть известно, какое ты непослушание и презрение воли моей делал, и ни от слов, ни от наказания не последовал настоянию моему; но наконец, обошел меня и, заклинаясь Богом при прощании со мною, потом что учинил? Ушел и отдался, яко преступник, под чужую протекцию! Что не сыскано не только между наших детей, но ниже между нарочитых подданных. Чем какую обиду и досаду отцу своему и стыд Отечеству своему учинил!

Того ради посылаю ныне сие послание к тебе, дабы ты по воле моей учинил, о чем тебе господин Толстой и Румянцев будут говорить и предлагать. Буде ты побоишься меня, то я тебя обнадеживаю Богом и судом Его, что никакого наказания тебе не будет (разрядка наша – ЮВ), но лучшую любовь покажу тебе, ежели воли моей послушаешь и возвратишься. Буде же сего не учинишь, то яко отец данную мне от Бога властью, проклинаяю тебя лично, а яко Государь твой, за изменника объявляю и не оставлю всех способов тебе, яко изменнику и ругателю отцову, учинить, в чем Бог мне поможет в моей истине. К тому помни, что я все не насильством тебе делал, а когда б захотел, то почто на твою волю полагаться? Что б хотел то б сделал».

Подписи письмо, по крайней мере, там, откуда автор взял текст, не имеет. Почему? Возможно, это простая случайность, а возможно Петр решил, что ставить подпись свою под письмом сыну-негодяю и предателю, он, отец, не должен.

Мы здесь не станем детально анализировать текст. Заме-

тим главное: отец хотя и клеймит сына предательством, но все же обещает «Богом и судом Его», что никакого наказания ему не будет.

Зададим только один вопрос: «Как следует оценивать эту фразу – как прямой обман с целью заманить сына в Россию или как реальное данное сыну слово, которое отец намерен был в случае добровольного возвращения сына домой, сдержать?»

Ответить на этот вопрос однозначно сложно. Автор полагает что по крайней мере, в момент написания письма, отец был намерен поступить именно так. Однако в процессе дальнейшего развития событий, когда увидел действительные масштабы заговора, его цели, а, главное, убедился, что сын в нем вовсе не марионетка, он легко забыл обещание не наказывать Алексея, данное, как помнит читатель, именем Бога. Полагаем, что было именно так. Потому что в момент написания письма Петр-отец о заговоре ничего не знал и пока еще знать не мог. Поэтому и обещал сыну прощение. Допускал ли он, что придется менять позицию в оценке действия сына: не знаю. Полагаю, что пока он об этом не думал. Не пришло время.

4

Агенты Петра П.А. Толстой и А.И. Румянцев прибыли из Спа в Вену 26 июля 1717 года и через два дня были уже приняты – вместе с А.П. Веселовским – самим императором Карлом.

Когда императору Карлу было заявлено, что государь Петр Алексеевич письмо от императора получил, за ответ благодарит, но содержанием письма не доволен крайне, Карл сделал вид, что чрезвычайно удручен тем, что его письмо не удовлетворило Петра и пообещал, что вскоре даст удовлетворительный ответ.

Наши люди справедливо оценили это обещание императора как еще одну попытку получить возможность потянуть время. Поэтому они просто ждать цесарского послания царю не стали. Они обратились к престарелой герцогине Вольфенбюттельск – матери Софии Шарлотты. Царское письмо сыну перевели на немецкий и дали прочесть герцогине. Та сразу увидела опасность, которая вполне могла угрожать детям Софии Шарлотты и Алексея, своим внукам. Ведь в случае если Алексей не вернется, отец в письме обещал сыну родительское проклятие, которое вполне могло отразиться и на судьбе малышей. Бабушка внуков любила и пообещала помочь русским. Как? Об этом мы скажем несколько далее.

5

Петр получал письма из Вены от Толстого и писал Толстому чуть ли не ежедневно. И Толстой докладывал Петру обо всем, что делалось в Вене. В одном из писем Повелителю Петр Андреевич высказывается в том смысле, который только и мог быть поддержан Петром, а именно: посредничества Карла и Австрии в примирении отца и сына в полном объеме допустить было ни в коем случае нельзя. Почему? Потому

что в этом случае цесарцы получили бы возможность вести себя так, будто бы собственных целей в укрывательстве Алексея у них как бы и не было. Но ведь были, были и притом, имели отчетливую антироссийскую направленность!

6

Между тем, в Вене, в недрах Хофбурга, в императорском ближнем круге лихорадочно искали выход из неловкой ситуации. Для чего была созвана особая тайная конференция. Участниками конференции по указанию императора стали трое: граф Цинцендорф, граф Штеренберг, и князь Траутсон.

Конференция поработала в высшей степени интенсивно, в результате чего появилось такое ее решение.

1. Русским надо заявить еще раз, что единственная причина укрывания царевича в Империи заключается в том, чтобы Алексей не попал в неприятельские руки.

2. Отношение к Алексею со стороны Империи было всегда, и есть не как к арестанту и узнику, а как к принцу крови дружественной державы.

3. Отцовское письмо будет дано Алексею для прочтения.

4. Если Алексей не захочет возвратиться, Толстой все же должен получить возможность переговорить с царевичем.

5. При всем при этом необходимо внимательно следить за тем, как поведут себя русские войска в Мекленбурге. И в зависимости от этого говорить с Петром смелее или скромнее. История с царевичем опасна для империи тем, что царь, не

получив нужного ему, (т.е. сына – ЮВ) может двинуть свои войска из Мекленбурга и Польши в Силезию и оставаться там до выдачи сына, и может даже вступить в Богемию, где «восставшая чернь легко к нему пристанет».

6. Необходимые «средства к отпору» против возможных действий Мекленбургской военной группировки русских следует искать в союзе с королем Англии.

7. Нельзя терять времени.

Император Карл эти пункты, выработанные конференцией утвердил, и австрийцы начали действовать.

7

24 сентября 1717 года после многих настояний со стороны Толстого, получив, наконец, разрешение на поездку в Неаполь, Толстой и Румянцев выехали из Вены, а через пять дней пути – очень торопились – прибыли в Неаполь; а еще через день – увиделись, наконец с Алексеем в доме вице-короля Неаполя графа Дауна.

Русские – П.А. Толстой и А.И. Румянцев – встретились с Алексеем Петровичем, показывая со своей стороны необходимую почтительность, словно перед ними был подлинный наследник российского престола, а совсем не государственный изменник.

В донесении Петру, в тот же день отправленному, Толстой написал, что – как после сказал ему «вицерой», Алексей был первоначально совершенно убежден, что русские эти явятся его, Алексея, убить, о чем и сказал тогда Дауну. Действи-

тельно, царевич при встрече внешне выглядел сильно испуганным. Может быть поэтому, он на вопрос Толстого – почему уехал без царского разрешения под покровительство кесаря, смог только сказать, что сделал это, сильно опасаясь отцовского гнева и еще потому, что батюшка, отлучив его от наследства короны, «изволил принуждать его к пострижению».

Засим сыну было вручено письмо отца, написанное в Спа 11 июля 1717 года. Содержание сего письма читателю уже известно.

Когда царевич то письмо царское прочел, то, понятное дело, какое-то время находился в некотором замешательстве. Поэтому, когда Петр Андреевич Толстой прямо спросил – или, что правильнее – предложил вернуться доброй волею, царевич нашел в себе силы ответить только: «Сего часу не могу о том ничего сказать, по неже надо мыслить о том гораздо».

8

Через день, одиннадцатого сентября произошло второе свидание Алексея с Толстым и Румянцевым, на котором царевич заявил, что ехать боится, а почему боится, – на то ответ он скажет только кесарю, протектору своему.

– А ты, твое высочество, разумеешь ли, – закипая внутри себя злобою, спросил Толстой у Алексея, – разумеешь ли, что будет, коли ты не выедешь?

– А что – будет? – робко спросил Алексей.

– О! – вступил в разговор Румянцев, от одного только звука голоса которого, в коем звенела зловещая сталь, – царевич, сидя в кресле, съеживался. – О! Я сам слышал как батюшка твой кричал, что буде цесарцы тебя не выдадут, то он войной на Вену готов идти и для этого святого дела – вызволения сыновнего – у него-де под рукой тридцать тысяч солдат имеется и они по его только слову в Силезию войти уже готовы!

Тут надобно заметить, что слова эти от Румянцева назначены были не только Алексею, но и цесарцам. Наши люди были уверены, что поблизости, где-нибудь за тонкою стеною находились тайные уши, знающие по-русски, и что слушали эти уши очень внимательно.

Услыша эти слова Румянцева Алексей заплакал и сказал, что хочет говорить с «вицероем» отдельно. Он говорил с Дауном в соседней комнате за закрытыми дверями около получаса. А как то время прошло и он с графом Дауном вернулся назад, то сказал Петру Андреевичу:

– Хочу написать еще сам батюшке и дожждаться его ответа; и ответ генеральный свой дам, как письмо от батюшки получу.

Легко догадаться, что это новое условие было подсказано за дверями царевичу «вицероем» Дауном. И само это условие – не что иное, как попытка снова потянуть время в надежде на то, что что-нибудь произойдет, наприклад получена будет весть, что батюшка опасно захворал или даже почил

в Бозе...

Но никаких таких желанных для царевича вестей не приходило.

Наоборот, даже и среди цесарских чинов немалых об-
явились вдруг персоны, которые желали бы всем сердцем по-
мочь царю Московскому заполучить сына. Как писал П.А.
Толстой Петру – сам Даун «ныне очень хочет, чтобы царевич
уехал к отцу». Или даже просто, буквально «по последней
мере куды ни есть, только б из его области (т.е. из Италии –
ЮВ) царевич немедленно выехал, понеже цесарь весьма не
хочет неприятельства с Вашим Величеством».

Но, особенную и очень важную роль в давлении на царевича – с тем, чтобы он согласился вернуться, сыграл один из секретарей Дауна, некто Вейнгардт, подкупленный русскими за сто шестьдесят золотых монет. Этот, несомненно, весьма ловкий человек, в обмен на деньги должен был в каждом случае, когда видел царевича, так или иначе втолковывать ему одно: на цесаря крепко надеяться не можно, поскольку он воевать с Петром, защищать Алексея, не станет, поелику война Империи против Оттоманской Порты еще не закончилась, а против Испании – уже начинается, а три войны одновременно – даже для Вены не по силам.

И к Веселовскому тоже приходили царские инструкции, смысл которых состоял в том, чтобы убеждать всех, кого возможно, чтобы те, как могли, доводили до Алексея, что оружием Империя защищать его не станет.

К этому, основному тезису – что царь не будет защищать царевича оружием, несколько времени спустя добавилась еще угроза, что у Алексея Петровича... отберут Ефросинью. Идея эта была подсказана русским... вице-королем Италии Дауном! И вот это-то, по существу, совершенно малозначительная угроза оказалась результативной. Почему? Потому что удаление любовницы должно было показать и показало Алексею, что он становится для хозяев лицом обыкновенным, по отношению к которому можно поступать произвольно. Это был сильный удар по остаткам самолюбия царевича.

Вот так – со многих сторон, практически одновременно, удалось, наконец, «замерзлое» упрямство Алексея пересилить.

Переписка наших русских в Неаполе с царем была ежедневной. Одно из писем Петр Андреевич Толстой в высшей степени показательно второпях завершает так: «сего часу не могу больше писать, понеже еду к нашему зверю, а почта отходит».

Алексей в полном смысле слов не знал что делать. Но самое страшное, он совершенно забыл в эти дни о том, о чем сторонники буквально заклинали его – ни в коем случае не возвращаться домой.

9

Наоборот. Заморенный вконец безысходностью, царевич дрогнул. И позвал к себе П.А. Толстого, чтобы хоть как-то положить этой безысходности конец, намекнув на воз-

возможность возвращения при определенных условиях. Каких – он правда в тот момент ясно не представлял. Но Петр Андреевич, хотя, от встречи, понятное дело, не уклонился, не стал успокаивать Алексея Петровича. Наоборот, он, не жалея красок, снова стал говорить, что пишет царю, почитай, каждый день и также часто получает царевы приказы; что отец настроен весьма решительно; что он в случае, если цесарь и Алексей станут упрямиться, действительно готов послать свою Померанскую армию – устроить военную демонстрацию в Силезию и Польшу; и – более того – сам готов ехать в Италию и уверен, – уж ему-то, конечно, австрийцы не откажут и отдадут сына в собственные руки.

Алексей заплакал. Он поверил Толстому. Да он и без этого точно знал, что в данное время для отца нет ничего невозможного. И смертельно испугался.

– Коли все так, то, видно придется ехать... – в ужасе закрывая лицо руками, прошептал царевич. И столько было в его словах тех бессилия, страха и обреченности, что даже Петр Андреевич Толстой, которого вообще говоря, трудно было чем-то в жизни поразить, – вздрогнул.

Тусклым и тихим, сразу потерявшим тембр голосом Алексей Петрович попросил Толстого быть завтра купно с Румянцевым у него, и завтра же он, Алексей, даст подлинный ответ.

Но Толстого состояние царевича не успокоило. Он решил добавить. Он был циник предельный и потому поехал... к

Дауну. И с Дауном они и решили, как именно следует Алексею добавить: нужно поехать к царевичу и хорошенько его еще раз напугать, а именно – заявить, что австрийцы отнимают Ефрасинью. Толстой точно знал, что нужно делать. Нужно было срочно психологически загнать царевича в угол, навязать ему, как говорят шахматисты, цуцванг. И здесь все средства были хорошими. Плохих не было.

Лучше всего если бы к царевичу поехал Даун. Но Даун сам не поехал. Он послал передать это пренеприятнейшее для Алексея известие своего офицера-адъютанта.

Успех этого действия превзошел все ожидания. Неизвестно, как реагировал царевич сразу после того, как адъютант уехал. Может, заплакал навзрыд, а может, и волосы на себе стал рвать – автор не знает.

А только назавтра утром Алексей Петрович встретил Толстого и Румянцева более или менее собранным и спокойным и заявил, что да, он согласен ехать домой. Но у него имеется две кондиции: первая – отец должен царевичу позволить жить в его, царевичевых деревнях, а вторая – отец не должен отнимать у него Ефросинью.

10

Конечно, эти кондиции относились к компетенции отца. Но положение обязывало «ковать железо, пока горячо». Решение нужно было принимать немедленно и формулировать его так, чтобы Алексей был удовлетворен, – и поверил. И Петр Андреевич решился «взять игру на себя».

Он сказал:

– Ну, батюшки твоего здесь нету. А решать надобно сей же час. Время не ждет. И я говорю тебе, Твое Высочество: будешь ты жить в деревне и Фроську от тебя не возьмут. На том я тебе твердо обещаюся. А ты мне – верь. Я завсегда, чего мне надобно, добиваюсь. И Его Величество меня послушает. Повелит сделать все по моему слову. Потому как я раньше для него много чего сделал, и ныне делаю немало.

– Да. – усмехнулся царевич. – Немало. Так и есть. Беглеца-сына отцу возвращаешь... А что я свершаю?

– Ты-то? – заулыбался Петр Андреевич. – Ты-то, блудный сын, домой воротишься; и отец твой, как в Святом Писании, обнимет тебя и возрадуется и велит заколоть самых тучных быков для пиров в честь твою!...

– Ах, как же сладко ты поешь, Петр Андреевич! – скупно, одними губами улыбнувшись, сказал царевич. – Будешь писать отцу-то? Ведь будешь? И, навить, сегодня, так?

– Буду. Сегодня. А что?

– У меня еще просьба к батюшке имеется. Пропишешь?

– Что за просьба?

– Хочу, чтоб отец позволил жениться на Ефросиньюшке еще до Петербурга чтоб. Женою законною ее хочу уже сделать. А то – знаю я...

– Что знаешь?

– Дождетесь ребеночка, да завезете ее – куда три года скакать – не доскачешь... А я хочу, чтобы она теперь же и до

последних дней моих при мне была безотлучно... Она, может, мне последняя радость от Бога... Разумеешь ли?

– Разумею... Как же не уразуметь. Напишу, напишу и об этом тоже. Не печаль себе голову. Знаю: батюшка, дабы любовь к тебе показать истинную, и сие, что просишь, позволит непременно.

– Правда? – вспыхнул, зарделся царевич.

– Правда – правда...

11

Петр Андреевич Толстой действительно отправлял донесения царю, как уже читатель знает, практически, ежедневно. И так же, чуть ли не каждый день получал установки от Повелителя. Гонцы скакали в ту и другую сторону, считай, непрерывно, всемерно торопясь, и не раз загоняя лошадей.

Причем, Толстой в письмах своих отваживался и на собственные суждения. И царь те суждения читал и учитывал.

Комментируя просьбу царевича, о том чтобы повенчаться с Ефросиньей до възда в русские пределы, Петр Андреевич высказывает царю свое «ничтожное мнение» в том смысле, что просьбу эту царевичеву можно было бы и уважить, дабы показать доброту и любовь отцовскую. Каков был ответ Петра – мы еще узнаем.

А в письме от 3 октября 1717 года Толстой сообщает, что сын окончательно согласился ехать. Петр Андреевич просит обеспечить тайну вывоза царевича. Для чего? Конечно же, для того, дабы дома об этом не узнали и никто не смог предо-

стеречь царевича по дороге.

12

4 октября Алексей пишет письмо отцу. В нем он именуется себя «недостойным называться сыном» и заявляет, что принял решение выехать в Россию – добровольно.

– А так ли это? – спросит читатель. Он ставит так вопрос совершенно справедливо. Сомнения его оправданы. Потому что с одной стороны – его, Алексея, везли, конечно же, не в кандалах. С другой стороны – побег его от двух таких «конвоиров» был невозможен. Поэтому поездка была в полном смысле слова «добровольно-принудительная». Смысл этого современному читателю должен быть вполне понятен.

Теперь – еще одно: забота Толстого о сохранении тайны. Казалось бы, в чем дело? Читает письмо Толстого только царь. О возвращении царевича, таким образом, буквально, знают только двое. Опасаться вроде бы ничего. Все просто. И все же, Петр Андреевич опасается. В себе – он уверен. Он не уверен в царе.

И действительно – поскольку весть о возвращении царевича становится достоянием иных лиц, следует допустить, что утечку информации допустил... сам Петр.

Кому же он мог рассказать? Кандидатур две. И обе – самые доверенные: Екатерина и Меншиков. От них информация и начинает расползаться – так что в курсе дела оказался некий круг людей, в котором эта сногшибательная новость живо и заинтересованно обсуждалась. Сторонники

Петра радовались, а вот среди сторонников царевича поднялся подлинный переполох. И даже – не переполох. Переполох – это мягко сказано. И не определено. Следует говорить о панике, унынии и скорбях. Это – точнее.

13

Каждый скорбевший по поводу возвращения царевича – совсем немного, самую малость скорбел об участи самого царевича. Большею частью каждый из скорбевших был опечален совершенно по другому поводу, а именно постольку, поскольку каждый из скорбевших, был превосходно осведомлен, что такое розыск. Каждый панически боялся попасть под чей-то донос, ибо участь заподозренного была бы не только скорбной, а, прямо таки, страшной. И прежде всего, опасались того, что заговорит сам царевич.

Известный уже нам Иван Нарышкин говорил «с ярою досадою» своим людям, которых не опасался: «Иуда Петр Толстой обманул царевича, выманил; и ему не первого кушать».

А князь Василий Владимирович Долгорукий, тоже, как мы знаем, один из близких царевичу людей, (помните, он говорил царевичу: «Давай писем, хоть тысячу?..») Так Долгорукий сразу же все понял и сетовал в разговоре с князем Богданом Гагриным: «Слышал ты, что дурак-царевич сюда едет, потому что отец посулил женить его на Ефросинье? Жолв ему, а не женитьба! Черт его несет! Его, дурака, обманывают нарочно!»

Но, конечно, больше всех волновался по этому поводу

А.В.Кикин. Зная, слабую натуру Алексея, он яснее других осознавал, что тот долго запирается не будет. В отчаянии он говорил Ивану Большому: «Что он над собою сделал! От отца ему быть в беде, а другие будут напрасно страдать!» – И мечтал мрачно: «Скрыться бы куда...»

Но скрыться было некуда.

И Иван Большой страху добавлял – говорил Кикину:

– Ежели до меня дойдет, то я все что знаю – скажу.

Кикин отвечал:

– Ну и что же ты этим сделаешь? Ведь ты себя умертвишь!

Эх! Ты скажи... скажи, что я давно у царевича не был, а?

И вдруг стал упрашивать Ивана:

– Слушай! Поехал бы ты навстречу царевичу, а? В Ригу!

Предупреди его, что отец зело сердит, что сына хотят судить и архиереи для суда уже собраны... Съезди! А уж какую благодарность получишь.. а?

Иван Большой отвечал в страхе:

– Нет. Поехал бы, да шибко Меншикова боюсь...

Стали думать, что можно сделать. Кикин, было, надумал послать навстречу царевичу брата Ивана. Даже подорожную ему выхлопотал. Поездка «по собственной надобности». Но... в самый последний момент не послал. Струсил.

14

Итак, в начале октября 1917 года Алексей и два его стража – спутника Толстой и Румянцев, выехали, наконец, из Неаполя. Но домой двинулись не сразу. Потому что Алексей стал

вдруг просить Толстого проехать в Бари – поклониться мощам Николая Чудотворца.

От Неаполя это было далеко. Но Петр Андреевич согласился. Он, вероятно, в тот момент начало движения был готов позволить царевичу все, что угодно, лишь бы, собственно, дорога домой, пусть и не самая рациональная, уже началась, и Алексей был бы под контролем.

Из Неаполя путь держали сначала на Римии, а затем – по берегу Адриатического моря до Бари. Побыли какие то дни в Бари. Из Бари снова вернулись в Неаполь.

Потом вдруг царевич захотел посмотреть красоты Рима.

Поехали и в Рим. Побыли какое то время и в Риме.

Вероятно, царевич придумал бы поехать и еще куда-нибудь. Пока П.А. Толстой что-то не заподозрил, и не понял: Алексей снова пытается тянуть время. Понял (он было догадлив) и для чего время нужно было тянуть. Алексей хотел получить отцовский ответ на свою просьбу о венчании с Ефросиньей до въезда в Российские пределы. Он просил об этом раньше, помните?

И вот, наконец, 17 октября письмо от отца получено. Венчание отец разрешил. Но только на Российской территории – в Риге или в Митаве, если сын не хочет венчаться в коренных русских землях. «Венчаться в далеких заграницах не позволяю, – пояснял Петр, – поелику то больше стыда принесет». Но, чтобы уравновесить настроение Алексея, не дать ему пасть духом, Петр – по своей ли воле или по чье-то под-

сказке, – а наиболее вероятными подсказчиками были Екатерина или Меншиков, – добавочку в письме соорудил – повторил свое родительское обещание не наказывать сына.

Казалось бы, все? Все преграды преодолены? Осталось спокойно доехать до дому. Но Толстой и Румянцев, неясно, правда, но чувствовали еще опасность. Впереди была еще Вена. И какие там сюрпризы неприятные для наших «дядек-конвоиров» цесарцы могут устроить, было пока неизвестно. Во всяком случае, Толстой и Румянцев твердо решили противиться всем неожиданным остановкам в пути, – кроме тех, которые сочтены будут неизбежными и без которых нельзя обойтись. Цесарцы – известные лукавцы. От них всего можно ожидать.

15

По мере движения домой вопрос о браке Алексея и Ефросиньи становился все более актуальным, хотя и не был прямо связан ни с австрийцами, ни с Румянцевым, ни с Толстым. Попробуем в нем разобраться подробнее.

Царь действительно дал разрешение венчаться. И это действительно обрадовало и успокоило Алексея. Но если бы мы хотя бы на самое краткое время посмотрели на этот вопрос глазами Петра, то нам стало бы ясно: разрешение на брак – это не что иное как приманка. Потому что с позиции Петра этого венчания ни в коем случае нельзя было допустить. Почему? Дело в том, что ребенок, рожденный в законном браке от царского сына, может в сильнейшей степени усложнить

династическую ситуацию и вопрос о престолонаследовании. У этого ребеночка будут и права и сторонники. Это – неизбежно. Может начаться война за престол. Гражданская война. И этого тоже ни в коем случае нельзя было допустить.

Далее. Если Ефросинья и Алексей будут долго ехать вместе, венчанию очень трудно будет помешать. Ведь его отец разрешил. Поэтому дядьки-конвоиры решили разделить маршруты движения Алексея и его «невесты». Алексея стали уговаривать: поскольку-де Ефросинья беременна, то она должна ехать медленнее для сбережения ребеночка. Значит, нужен другой для нее маршрут. И Алексей в это поверил! Согласился!

Будущей матери дали в сопровождающие брата Ивана и одного офицера – и они покатали своим, особым путем. Причем, разделение путей следования произошло не в Риме, как можно было бы предположить, а несколько позже. В месте ехали из Милана до Кауфштайна через Больцано и Инсбрук. А у Кауфштайна расстались и Ефросинью повезли особым маршрутом: на Мюнхен, с Мюнхена – на Нюрнберг, и далее на Берлин.

Что касается маршрута царевича, то он сам первоначально был весьма настроен на то, чтобы остановиться в Вене и официально поблагодарить за гостеприимство императора Карла. Но именно встречи Алексея с императором наши «дядьки», исполняя указ Петра, не должны были ни в коем

случае допустить.

Почему? Если бы аудиенция состоялась (на ней, к стати, настаивали и австрийцы), то в этом случае роль Империи во всей истории с бегством царевичевым из подлой сразу становилось благородной. Да и сам Алексей чувствовал, что аудиенция у императора помогла бы спасти его, царевича, лицо, превратив из позорного беглеца в официального визитера и гостя.

Но аудиенция не состоялась. Когда Алексей Петрович стал просить Толстого о встрече с императором, тот ответил довольно резко – в том смысле, чтобы царевич эту затею выбросил из головы. И пояснил: «А ну, как остановимся мы, а цесарские люди украдут тебя от нас, сызнова куда нито спрячут, а? Нет и нет! Ехать и ехать! А буде спросят тебя – почему-де в Вене не остановились и поклоны ты Карлусу не отдал, ты скажи, что, мол, платья приличного, чтоб во дворец явиться, не было, и кареты, пригодной ко случаю».

Более того. Чтобы еще сильнее обезопаситься, Толстой и Румянцев решили вовсе через Вену не ехать. Впрочем, есть и такие наши писатели, которые заявляют, что через Вену, все-таки проехали, но ночью и не останавливаясь.

Поэтому, когда австрийцы доподлинно удостоверились, что русские помочь Вене отмыться от грязи не желают, царевичу в столице остановки не будет, или что его уже провезли мимо и едут на Брюнн, они решились насыпать этим дерзким русским на хвост перцу.

Генерал-губернатор Моравии граф Колоредо получил секретный приказ императора задержать русских в Брюнне и не отпускать до тех пор, пока сам царевич не объяснит, почему он не представился императору в Вене. Необходимо также получить от царевича определенный ответ на вопрос – волею или неволею его везут и действительно ли полностью устранены те причины, которые заставили Его Высочество просить покровительства у императора год тому назад.

23 декабря 1717 года, во исполнение этого приказа императора Алексей и все его спутники были задержаны в Брюнне на пять дней.

В первый день задержания генерал-губернатор граф Колоредо имел беседу с Алексеем. При этом Петр Толстой категорически настоял на том, чтобы ему, Толстому на беседе присутствовать. Хозяева уступили.

На вопрос губернатора о свидании с цесарем Алексей ответил вполне в том смысле, который втолковал ему Толстой: у него-де не было приличной обстановки. Но как помнит читатель, у Колоредо был и второй вопрос к Алексею: по своей ли воле едет Его Высочество?

И вопрос этот был Алексею поставлен:

– Вы в самом деле едете добровольно Ваше Высочество? Скажите только слово и мы обезопасим Вас от Ваших слуг, которые, скорее всего, не слуги, а охранники! Скажите это слово, и мы отведем вам удобное жилье и защитим Вас!

Момент наступил переломный.

Но царевич молчал.

А что ему оставалось? Он не мог сказать того, что хотел и о чем, скорее всего, думал, потому что его «дядька» Толстой стоял рядом и не пропустил ни слова.

Итак, Алексей смолчал.

Зато, почувствовав переломность момента – не смолчал Петр Андреевич Толстой. Он громко и решительно сказал, взявшись за рукоять шпаги, причем царевич успел заметить, что и страшный Румянцев встал в дверях и тоже взялся за шпагу:

– Извольте пропустить! А если кто-то попытается Его Высочество от нас отделить, мы применим оружие!

Момент снова стал переломным. Но австрийцы не стали обострять. И это тоже, видимо, было частью венской инструкции. Цесарцы правила приличия соблюли, позицию обозначили, но до крови доводить дело не стали.

Граф Колоредо, описывая в донесении императору весь эпизод с задержанием царевича, заметил больше: что Алексей в разговоре показался «под хмельком». Это, знаете ли, очень похоже на правду. Алексея Петровича вполне могли везти полупьяным, или даже очень пьяным. Меньше проблем для сопровождавших лиц.

18

Итак, русских выпустили.

Быстро-быстро отъехали от этого Брюнна. Оба «дядьки»

только теперь перевели дух. Во весь опор мчались около часу. Только тогда Петр Андреевич вымолвил с явным облегчением:

– Слава, Тебе, Господи! Пронесло...

– Да, отвел Бог... – примерно в тон ему повторил Румянцев и перекрестился.

Алексей же подавленно молчал. В момент вопросов губернаторских, основательно скованный вином и пивом, он не совсем даже понимал что происходило. И только в сию минуту до него, наконец дошло, что какой-нибудь час назад им был упущен последний шанс обрести свободу.

А теперь уже все. Теперь можно думать только о том, сдержит ли отец обещание не наказывать сына, даст ли ему место для деревенского жительствова и не отнимет ли Ефросиньюшку... Ох! А ведь ему больше ни о чем и думать не надо... Что ж... И это тоже – жизнь: в деревне, с Фросенькою, да чтоб не голодать...

Он несколько поуспокоился и даже спросил Толстого с усмешечкой:

– Петр Андреевич, а что бы ты делать стал, егда цесарцы принялись бы меня отбивать истинно? Неуж, кровь бы пролил?

– Поступил бы по указу. – буркнул неохотно Толстой.

– А указ-то чей? Царский?

– Царский.

– А что за указ, скажи?

– Не велено тебе сказывать.

– Мне?

– Тебе и не велено. Хотя... Теперь уже что... Теперь можно. Слово даешь что не скажешь никому? Побожись!

– Ей Богу, никому ни скажу! Ну!

Царевичу всегда было страх как досужно. Ему до всего было дело. С детства, если он чего-то не ведал, а другие знали – ему хотелось это знать, и он буквально, что называется, изводил человека, выпрашивая у него требуемое до тех пор, пока тот человек не терял терпение и не удовлетворял, наконец, Алексеево досужество.

Итак, царевич, сторя от нетерпения, немедленно пообещал Толстому:

– Ей Богу не скажу! Ну!

Но Толстой говорить не стал, а кивнул Румянцеву:

– Скажи ему.

И Румянцев – строго без улыбки ответил:

– Имеем приказ: препровождаемую персону живьем не отдавать.

Царевич, поняв, охнул испуганно:

– Убили бы?

– Убили.

– Меня? Меня, царского сына? – Чистосердечное возмущение буквально потрясло Алексея.

– Приказ. – спокойно ответил Румянцев. А Петр Андреевич добавил еще:

– А хорошо ли было бы батюшке твоему, когда бы царские слуги снова увезли тебя с собою неведомо куда?

– Так они бы и вас обоих убили? Али не ясно?

– Что же. Знать, судьба наша такая. Мы – слуги царские. Что нам царь велит, то мы исполняем. Скажет в огонь идти – пойдём в огонь. Прикажет умереть – умрем. Над нами всегда смерть витает. Мы к ней всякий день готовы и всякий час.

Ничего не сказал на эти слова царевич – ибо знал, что так оно и есть в действительности.

19

Дальнейшее путешествие протекало без осложнений. Ехали и ехали.

Что же касается самого Петра, то известно, что в тот день, когда Алексея привезли в Москву, отец его уже ждал. Чуть раньше он возвратился из Франции и был обуреваем нелегкими, даже тяжелыми думами. С одной стороны он вполне осознавал, что Россия сегодня в полном смысле Велика, и он с нею, конечно, тоже. Но «семья Мирославских» не было уничтожено вместе с политическим крахом Софьи. Оно проросло вновь – и в ком? – в его собственном сыне! И он, сын, выставил его, Петра, тираном и синоненавистником на суд всей Европы!

И слава Богу, что горе-чадо царское возвращают домой. Но вот вопрос:

– Что с ним делать?

Вопрос этот, с тех пор, как сын бежал, постоянно раскалывал царскую голову, временами почти не давал думать ни о чем другом, не давал даже хорошо поспать!

О том, чтобы переделать сына, превратить его в подлинного своего наследника – об этом Петр уже точно не думал. Эту идею отец отбросил – с того времени, как сын бежал. И отбросил окончательно и бесповоротно. Если раньше в поведении Алексея отец склонен был видеть, главным образом, лень и упрямство, то теперь, после бегства, налицо была вражда. И теперь отец все чаще думал о том, что и оставлять сына жить в деревне – этого тоже уже было нельзя, хотя он, отец, это и обещал. Оставлять его, значит, оставлять врага его делу, его жене, его детям.

И еще. Учитывая сложность подготовки и воплощения самого бегства, никак нельзя было предположить, что это было сделано одним Алексеем по случайному, разовому, или, как бы мы сейчас сказали, спонтанному решению. Значит у сына непременно должны быть сообщники – вдохновители, организаторы и исполнители. Кто они? Домашние его? Ну, это – вряд ли... Да и кто они суть ныне, домашние его?

Быть может Суздальское гнездышко Евдокии? И нет ли во всей этой истории следов внешних? Хотя – почему нет? Есть! Цесарцы! А, может, еще кто? Шведы? Англичане?

Клубок запутан крепенько... Но распутывать его – надобно. Надобно! И потому – нужен розыск!

Между тем – карета с Алексеем и его «дядьками» двинулась к Москве. О планах отца по поводу установления правды в сыновнем деле через розыск – Алексей в дороге ничего не узнал. Из числа его сторонников в России не нашлось ни одного, кто бы рискнул по пути предупредить царевича. Ни одного!

Все они уже жили в ужасе, парализованные ожиданием розыска. Правда, что по дороге встречные толпы иногда кричали: «Благослови, Господи, будущего Государя нашего!» Это было утешением Алексею... Но – слабым!

О чем он думал по дороге? И – думал ли? Маловероятно. Окутанный винными парами, он вряд ли думал о чем-то серьезно. Хотя, если бы он взял на себя труд серьезно подумать, то немедленно вспомнил, как Кикин умолял его ни при каких обстоятельствах отцу не верить и не возвращаться!

А он – поверил. Чему? Тому, что ему наказания не будет? Так ему не будет! А другим?

А о других он не думал!

Нет, может быть, какими-нибудь робкими червечками, мысли о других и появлялись в его голове, не могли не появляться но Алексей гнал их прочь. Ему было важнее всего, что его оставят жить. И Ефросиньюшку не отнимут.

Часть восьмая

последняя, в которой рассказывается о том, как шли следствия и суд над царевичем Алексеем, о его смерти или как еще полагают, о гибели его по причине убийства.

1

31 января 1718 года царевича Алексея Петровича привезли в Москву. Его отлучка из России не была краткою: она продолжалась год и четыре с небольшим месяца.

Что-то его ждет дома? По дороге он имел время об этом подумать. Думал ли? А если и думал, то о чем? О том, что отец готовит розыск и суд, сын не знал и потому с дороги, из Риги, спокойно пишет отцу о том, что скоро будет дома; в письме нет даже намека на тревогу или опасения.

Дома же долго раздумывать на тему о будущем ему не позволили. Хотя... Хотя если наш читатель думает, что царевича по приезде немедленно заковали и посадили в подвал, то читатель ошибается. Алексея Петровича привезли в старый дворец в Кремле, в котором в свое время жила и бабушка Наталья Кирилловна и матушка, и сам он в детстве жил. А сейчас в нем жили дети Алексея Петровича – Наталья и Петр. То есть отца привезли к детям. Или отец приехал к детям. Тятенька воротился! Было так много детской радости, что отец под ее напором сам обрадовался несказанно. И все, кроме радости как-то исчезло. Временно.

Когда на вопрос – как ведет себя по приезде сын, Петру ответили: «Играет с детьми и радуется», отец в некотором недоумении сказал: «Ну, пусть поиграет...»

Прошло два дня – совершенно почти беззаботных. Только изредка – нет-нет, да и плескало в нутро нашему возвращенцу холодком: «Что же дальше -то, Господи?»

– А ничего! – несколько легкомысленно решил Алексей Петрович, ложась спать в чистую постель свою – на белую простыню, да под пуховое одеяло. – Думает, верно, батюшка. Может, и надумал уже, простил, слава Богу!

И уснул спокойно.

И снилось ему, как по аккуратной немецкой дороге, обсаженной деревьями, он быстро-быстро катит в колясочке с Ефросиньюшкой. А Толстого и Румянцева рядом нет. И так хорошо ему стало во сне – сказать нельзя, как.

2

Но вся эта идиллия прекратилась ранним утром третьего февраля.

Проснулся – а у постели стоят два незнакомые офицера – преображенца – суровые и малоразговорчивые. Царевич не успел ничего даже подумать, а приказы офицерские – простые и ясные, уже сыпались – один за другим, и тон тех приказов был таков, что Алексей сразу понял – нельзя не выполнить, даже помедлить нельзя.

Тут только сердце царевича дрогнуло в первый раз. «Началось...» – подумал Алексей Петрович с ужасом.

Прежде всего, он понял, что надлежит одеться и его поведут к отцу. Стал царевич одеваться. Там, где нужно было – ему помогали, причем он успел и удивиться: одежда, которую он одевал, была незнакомая, не его была одежда, но совершенно впору.

Офицеры осмотрели его, вполне одетого, весьма внимательно, и, видимо, непорядка никакого не нашли. Костюм Алексея Петровича был во всем коричневый, немецкого кроя. На ногах только туфли и чулки. Ботфорты одобрены не были. Когда же царевич надевал шпагу, – преображенцы явно переглянулись только, но ничего не сказали.

К царскому дворцу была расчищена широкая дорожка, а кругом стояло множество возков и лошадей. И тут сердце царевича тревожно дрогнуло и часто забилося второй раз.

Вошли во дворец.

Народу – никого. Только когда оказались прямо перед дверьми в Ответную палату, Алексей явно услышал приглушенный гул. Понял, что за дверьми – люди. Много людей. И тут царевичево сердце дрогнуло в третий раз.

В эту самую минуту – откуда не возьмись – явился Петр Андреевич Толстой собственной персоною, разодетый, словно на бал. Он всем своим видом, а главное сияющим в улыбке лицом, как бы говорил Алексею: «Не робей!» Но вдруг, сделав шаг навстречу царевичу, во мгновение ока стал совсем другим: глаза засияли холодным блеском, губы сжались тоненько и он протянул к Алексею руки. Что он, обнять,

что ли хочет? Не похоже...

И Петр Андреевич подтвердил, – сказал, словно выстрелил:

– Шпагу!

Сразу ставшими непослушными руками Алексей снял портупей со шпагою. На то, чтобы отдать оружие достойно, сил у Алексея не хватило. Глухо звякнула шпага ножами об пол, и должна была бы, без сомнения, упасть. Но Толстой ее падение упредил, подхватил – и исчез.

Далее все пошло словно в тумане, который застил царевичу глаза: едва-едва что-то видел. Кто-то легонько толкнул его в спину. И толчок этот мог означать только одно: «Вперед!». Алексей и шагнул вперед – семенящим шагом, словно боясь поскользнуться и втянувши голову в плечи.

3

Палата была ярко освещена и густо наполнена людьми – в военных мундирах, в партикулярном платье, немало было и духовных – в белых и черных клобуках. И только некоторые из них сидели. Самые пожилые. Но большинство – стояли. И смотрели на Алексея.

Стоял и Петр. Царь был одет совсем обыкновенно: в своем привычном уже Преображенском мундире, только чуть впереди ото всех и прямо против двери, в которую вошел сын.

На явно слабеющих ногах Алексей сделал несколько шагов и ... пал на колени прямо против отца. Причем, у некоторых свидетелях этого сложилось явное впечатление, что во-

шедший пал на колени не только потому, что сам этого хотел, но скорее, потому, что ноги отказались держать. Но прежде чем пасть на колени, он передал отцу бумагу, которую Петр, взяв и не читая, передал Петру Павловичу Шафирову.

Что это была за бумага?

Автор доподлинно об этом не знает. Но предполагает, что это было признание в измене, данное Алексеем письменно и собственноручно, на тот случай, когда бы царевич по слабости здоровья первых минут разговора с отцом не выдержал. И написана бумага была еще по дороге домой, скорое всего по рекомендации и настоянию Петра Андреевича Толстого.

Бумага та не легендарна. На чистовик она была переписана Алексеем на кануне и помечена третьим февраля:

«Всемиловитый государь батюшка!

Понеже, узнав свое согрешение пред вами, яко родителем и государем своим, писал повинную и прислал оную из Неаполя, так и ныне оную приношу, что я, забыл должность сыновства и подданства, ушел и поддался под протекцию царскую и просил его о своем защищении. В чем прошу милостивого прощения и помилования.

Всенижайший и непотребный раб и недостойный называться сын Алексей

Февраля в 3д. 1718»

Передав бумагу Шафирову, отец поднял Алексея с колен. Гул прошел по залу. И это был гул удовлетворения. Действие повелителя явно понравилось.

Поднявши сына с колен, царь сказал – негромко, но внятно, так что все услышали:

– Если у тебя есть, что сказать – говори.

И Алексей заговорил – слабым и срывающимся голосом, ибо у него на большее явно не хватало сил. К тому же его душили слезы.

– Я такой... так грешен, что и ... слова от меня бегут, не могу удержать... молю только... прощения прошу... и, хотя знаю, что подлинно недостоин жизни, прошу все же... дожить те дни, которые Господь отпустил мне – пусть и как последнему чернецу или подлому человеку...

– Дарую! – ответил на эти слова сына громко Петр. Дарую тебе то, о чем просишь, но помни – надежду наследовать престолом нашим ты потерял. И ныне должен отречься от него подписью своею!

– Я согласен. И это справедливо. И я ... благодарю...

И опять по залу прошел шум. Но теперь в нем явно было слышно возмущение.

Петру удалось смирить свое первоначальное волнение. И он стал прохаживаться по залу, время от времени останавливаясь против сына. Он говорил. Речь его была и гневна и горька.

– Зачем же ты не внял моим предостережениям? И кто мог советовать тебе бежать?

Свидетель этой процедуры далее повествует, что при этих словах царя сын приблизился к отцу и что-то зашептал ему

на ухо. «Тогда они удалились оба в смежную залу и, полагаят, что там царевич назвал своих сообщников» – так считает свидетель сцены – иностранец. Мы же полагаем, что с точностью это утверждать нельзя. Но буквально спустя минуты Петр поставил все точки над і. Потому что, когда они вернулись в общую залу, в действиях и словах отца стало значительно больше уверенности. И многие смогли заметить в его речи даже проскальзывавшее искрами, злорадство:

– Вон ты как заговорил?! Прощения просишь? Вины признаешь? А не я ли тебя предостерегал многожды, что лень твоя и нелюбовь к делу моему до добра не доведут? Ведь я тебя и бивал даже, винюся здесь, перед всеми, ан нет – ты мне не внял!

Царь говорил все громче и голос его становился все выше – от баса ничего не осталось, остался только высокий крик:

– И ведь что удумал! Бежать в чужие земли! Предать отца родного и Отечество свое! Ведь ты выставил меня злодеем! От кого, как не от злодея кроткие и высоконравные сыновья бегут в чужие земли, а?!

А ведь как я надеялся! Надеялся, что примешь ты науки добрые, захочешь вместе со мною, напрягая чресла свои, строить мое и свое государство, которое полное могущества должно быть полным доброты к мирным соседям, щедрости к союзникам своим и беспощадным ко врагам! Так есть, и так будет – теперь уже без твоего ярого участия!

В продолжение этой речи отца Алексей неподвижно, как

столб стоял, ни звуком не перебивая. Только тогда, когда Петр замолкал, делая паузу, сын тихонько, скороговоркою, сквозь слезы продолжал твердить свое – что молит только о жизни при самом нищем довольстве.

Но вот Петр замолк. Пауза затягивалась. Казалось, что вот пришло время для чего-то другого, кроме речей.

Но Петр заговорил снова, правда особым голосом, медленно и торжественно.

– Итак, я повторяю! Я от слова от своего не отказуюсь! Покажу тебе милость свою! Но с тем только, чтобы и ты показал саму истину и объявил о согласниках своих, кои тебе бежать к цесарю присоветовали!

4

Внимание, читатель! Мы переживаем в сюжете переломный момент. Переломный момент всего нашего повествования. Потому что, если читатель помнит, обещания сыну освободить его от ответственности, которые отец формулировал в письмах в Неаполь и позже были безусловными. Помните? «Никакого наказания тебе не будет».

Но вот сын приехал в Москву. Он в руках у царя-отца. И тогда Петр забывает обещанное и делает крутой поворот: выдвигает условие помилован и я, формулируя его как сделку, причем дает понять, что свою часть сделки он уже выполнил – помиловал сына, от которого теперь по справедливости требует, чтобы тот назвал сообщников. И для психологически пораженного сына, это условие кажется справедли-

вым! Вот читателю пример царского коварства. То, что сделка та – скрытый обман – Петру ясно, но это никак отца не колеблет. Ведь он – может делать, что хочет и на земле ему отвечать не перед кем!

Теперь воротимся в Ответную палату.

После того, как отец явно определил при всех условие помилования, наступила тишина. Алексей, было, как и раньше, стал заполнять паузу униженным бормотанием, но отец такого развития действия не допустил и перебил его, давши знак стоявшему рядом с собою и чуть сзади Думашеву:

– Читай!

Тот вышел вперед, зарделся, словно маков цвет от чести таковой и стал читать бумагу, причем не написанную от руки, а уже напечатанную.

5

«Божею милостию Мы, пресветлейший и державнейший Великий Государь Царь и Великий Князь Петр Алексеевич, Всея Великия и Малыя и Белыя России самодержец... и прочая... Объявляем духовного, военного и гражданского и всех прочих чинов людям всероссийского народа, нашим верным подданным.

Мы уповаем, что большей части из верных подданных наших, а особливо тем, которые в резиденциях наших и в службе обретаются, ведомо, с каким прилежанием и попечением мы сына своего перворожденного Алексея воспитать тщились. И для того ему от детских его лет учителей не токмо

русского, но и чужестранных языков предали и повелели его оным обучать, дабы не токмо в страхе Божиим и в православной нашей христианской вере греческого исповедания был воспитан, но для лучшего знания воинских и политических (или гражданских) дел и иностранных государств состояния и обхождения, обучен был и иных языков, чтоб чтением на оных гистории и всяких наук воинских и гражданских, достойному правителю государства принадлежащих, мог быть достойный наследник нашего Всероссийского престола.

Но то наше все вышеписанное старание о воспитании и обучении помянутого сына нашего мы вотще бытии: ибо он всегда вне прямого нам послушания был и ни о чем, что довлеет доброму наследнику, не вникал, не обучался, и учителей своих, от нас приставленных, не слушал, и обхождение имел с такими непотребными людьми, от которых всякого худа, а не к пользе своей научиться мог. И хотя мы его многократно ласкою сердцем, а иногда наказанием отеческим к тому приводили, дабы обучить воинскому делу, яко первому из мирских дел для обороны своего отечества, а от жестоких боев его всегда удаляли проча наследства ради хотя во оных и своей особы не щадили; также иногда и в Москве оставляли, вруча ему некоторые в государстве управления для предбудущего обучения; а потом и в чужие края посылали, чая, что он, видя там регулярные государства поревнует и склонится к добру и трудолюбию, но все сие радение ничто не пользовало, но сие себя... на камни пало; понеже не точно

оному следовал, но и ненавидел и ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл, но упражнялся непрестанно во обхождении с непотребными и подлыми людьми, которые грубые и замерзлые обыкности имели.

И хотя мы, желая его от этих непотребств отвратить и ко обхождению с честными и знатными людьми склонить, увещивании своими возбудили, чтоб он избрал себе в супружество из знатных чужестранных государей свойственницу (как... обыкновенно также и у предков наших, российских государей чинилось, что с другими государями своились), дав ему на волю, где он излюбит. И он, улюбя внуку тогда владеющего герцога Вольфенбютельского, а своячину родную его величества, ныне государствующего цесаря Римского, а племянницу короля Английского, просил нас, дабы мы ему оную в жену исходатайствовали, и позволили на ней жениться, что мы и учинили, не пожалев на сие супружество многих иждивений. Но по совершении того супружества (от которого мы чаяли особливого плода и перемены худых обычаев и поступков сына нашего), усмотрели мы весьма противное той надежды нашей: ибо хотя оная супруга его, сколько мы усмотреть могли, была ума довольного и обхождения честного и он ее по своему избранию взял, но однако же он с нею жил в крайнем несогласии и еще вящее умножил обхождение с непотребными людьми, на стыд дому нашему перед чужестранными государями, с тою супругою его свойственными, в чем нам великие жалобы и нарекания были; и хотя

мы его частыми напоминаниями и увещиваниями к поправлению приводить трудились, но все то не успевало. На последи он, еще при той жене своей, взял некую бездельную и работную девку и с оною жил явно без законно, оставя свою законную жену, которая потом вскоре и жизнь свою скончала хотя и от болезни, однако ж не без мнения, что и сокрушения от непорядочного его жития с нею много к тому вспомогло.

И, видя мы его упорность в тех его непотребных поступках, объявили ему на погребении упомянутой жены его, что ежели он впредь следовать нашей воли и обучаться тому, что наследнику государства пристойно, не будет, то его лишим наследства, несмотря на то что он у меня один (ибо тогда... другого сына еще не имел), и дабы он на то не надеялся, понеже мы лучше чужого достойного учиним наследником, нежели своего непотребного: ибо не могу такова наследника оставить, который бы растерял то, что, через помощь Божию отец получил, и ниспроверг бы славу и честь народа российского, для которого я здоровье свое истратил, не жалея в некоторых случаях и живота своего, к тому же и боясь Суда Божия, вручить такое правление, зная непотребного к тому, увещевая его со многими обстоятельсвы как ему поступать в пути добродетели надлежит, и подал ему время на исправление.

И хотя он на то ответственвал признавая себя во всем том вина и представляя, что будто он, за слабостию своего здравия и ума, труда понести во обучениях потребных не может

и для того сам себя за недостойно наследства признавает и от того отреченно себя иметь просит, но мы увещевая его родительски, и угрожая, и прощением, трудились его на путь добродетели обратить и по отъезде своем для воинских действий в Датцкую землю, оставили его в Санкт-Петербурге, дав ему время на размышление и поправление. Но потом, слыша о крайних его непотребных тако без нас поступках, писали к нему, чтобы он был к нам в Копенгаген для присутствия в компании военной и лучшего обучения.

Но он, забыв страх и заповеди Божии, которые повелевают послушно быть и простым родителям, а не то, что властелинам, заплатив нам многие выше объявленные наши родительские о нем попечения и радения неслыханным неблагодарением: ибо вместо того, чтобы к нам ехать, забрав с собою денег и помянутую женку, с которой незаконно сваялся, уехал и отдался под протекцию цесарскую, объявляя многое на нас, яко родителя своего и государя, не правдивые клеветы, будто мы его гоним и без причины наследства лишить хотим и якобы он от нас и в животе своем не безопасен и просил оного (цесаря) дабы его не только от нас скрыл, но оборону свою против нас... вооруженною рукою дал. И какой тем своим поступком стыд и бесчестье перед всем светом нам и всему государству нашему учинил, то всяк может рассудить, ибо такого приклада и в историях сыскать трудно! И хотя его цесарское величество о его непотребных поступках и как он с свояченою его, а с своею женою жил, известен

был, однако ж по его многому домогательству, дал ему место к пребыванию, где он просил себя так тайно держать, дабы мы о нем ни малого известия получить не могли.

И когда мы, по долгом его пути в пути медлении признали, что то не просто, родительски о нем соболезнуя и опасаясь, не приключилось ли ему в пути несчастье, послали его искать в разные пути и по долгом труде осведомились о нем через посланного нашего капитана от гвардии Александра Румянцева, что он в некоторой цесарской крепости в Тироле содержится. И потому писали мы собственноручно к цесарю, прося оного о присылке его, сына нашего, к нам. И хотя цесарь к нему посылал, представляя ему то наше желание и увещевая, дабы ехал к нам, повинуюсь воле нашей, яко родителя и государя, но он многими не правдивыми на нас клеветами цесарю представлял, чтоб его он в руки наши, аки ни какого ему неприятеля и мучителя не отдавал, от которого он чает пострадать смерть и к тому склонил, что тогда его к нам не послал, но на и паче, по прошении его отослал в дальние места владения своего, а именно в Италии лежащий город Неаполь, и содержал его там, в замке под иным именем, секретно.

Однако ж мы, чрез помянутого ж капитана нашего от гвардии уздав о его там пребывании, послали к цесарю тайного нашего советника Петра Толстого да помянутого ж капитана от гвардии Румянцева с грамотою, в крепких изображениях писанною, представляя, сколь не право то было,

ежели бы он сына нашего, противно Божественных и гражданских прав, удержать похотел, по которым и простые родители, а не то что самодержавный государь, яко мы, полную власть без всякого суда над детьми своими имеют, и представляя правые и добродетельные к нему, сыну нашему, поступки и против того его противность, и на последок объявляя, какие злые следования из того удержания и ссоры между нами произойти могут: ибо мы того так оставить не можем, наказав вышеупомянутым нашим посланным еще и жестче того говорить на словах и что мы всякими способы пренуждены будем то удержание сына нашего мстить. И притом писали собственноручно и к нему, сыну нашему, представляя ему тот богомерзкий поступок и преступление перед нами, яко родителям, за которое Бог в заповедях своих непокорливых чад угрожает вечною смертию казнить, и угрожая притом его родительскою нашею клятвою, також и представляя, яко его государь, объявить его, ежели не послушает и не возвратится, за изменника отечеству и притом обнадеживая, ежели воли нашей повинуется и возвратится, прощением того его преступления.

И те наши посланные получили от цесаря позволения, по многим домогательствам и по тому письменному нашему и изустному их представлению к нему, сыну нашему, ехать и его склонять к возвращению, и притом им было объявлено от цесарских министров, какие будто от нас ему гонения и опасности живота его были, о которых он цесарю доносил, и

для того к сожалению привел, что оный его в свою протекцию принял, и что увидя, наши в том подлинныя и честныя представления, повелит цесарь его всяким образом из своей стороны к возвращению к нам склонить со объявлением, что он его против всякой правости от нас, яко его отца удерживает и за то с нами в ссору притить может.

Но хотя те наши посланные наше собственноручное послание, приехав, вручить ему желали, но оные к нам писали, что он их к себе сначала и допустить не хотел, но от вице-роя цесарского к тому уже таким образом приведен, что он его позвал к себе в гости, потом, противно воли его, их ему представил, но он, и приняв от них ту нашу грамоту и отеческое увещание со угрожением клятвы, ни малой склонности к возвращению не явил, но отговаривался, представляя на нас многие несправедливыя клеветы, как-будто он за многими опасностями не может и не хочет возвратиться, хвалясь, что цесарь его обещал против нас не токмо охранять и оборонять, но и противно воле нашей престола Российского вооруженною рукою доставить; что видя, те наши посланные употребляли всякие способы его к тому возвращению наговорить, как добродетельными от нас обнадеживаниями, так и... угрозами: и что мы его и вооруженною рукою отыскивать будем, и цесарь за него с нами войны иметь не похочет, и прочая. Но он на все то не посмотрел и не склонился к нам ехать, пока уже, видя сию его упорность, цесарский вице-рой ему именем цесарским представил, чтоб он к нам ехал, объ-

являя, что цесарь ни по какому праву его от нас удержать не может, и при нынешней с Турки, також и в Италии с гишпанским королем воин, с нами за него в ссору вступать не может, и прочая. И это он увидя и опасаясь, что противно воли его нам не выдали, уже склонился к нам ехать и объявил о том нашим посланным, також и цесарскому вице-рою и к нам о том, признавая преступление свое, оттуда писал повинную, с которой при сем список приобщается, и тако сюда ныне приехал.

И хотя он, сын наш, за такие свои противные от давних лет против нас, яко отца и государя своего поступки, особливо же за сие на весь свет приключение нам безчестие через побег свой и клеветы, на нас рассеянные от нас, яко зло-речивый отца своего и сопротивляйся государю своему, достоин был лишения живота, однако ж мы, отеческим сердцем о нем соболезнуя, в том преступлении его прощаем и от всякого наказания освобождаем. Однако ж, в рассуждении его не достоинства и всех вышеписанных и непотребных обхождений, не можем по совести нашей его наследником по нас* престола Российского оставить, ведая, что он, по своим непорядочным поступкам, всю полученные по Божьей милости и нашими неусыпными трудами славу народа нашего и пользу государственную утратит, которую с таким трудом мы получили и не токмо отторгнутые от государства нашего от неприятелей провинции паки присовокупили, но и вновь многие знатные города и земля к оному получили,

также и народ свой во многих воинских и гражданских науках к пользе государственной и славе обучили, то все известно.

И тако мы сожалея о государстве своем и верных подданных, дабы от такого властителя наипаче прежнего в худое состояние не были приведены, властию отеческою, по которой, по правам государства нашего, и каждый подданный наш сына своего наследства лишить и другому сыну, которому хочет определить, волен, и яко самодержавный государь для пользы государственной лишаем его, сына своего Алексея, за те вины и преступления наследства по нас престола нашего Всероссийского, хотя б не единой персоной нашей фамилии по нас не осталось. И определяем и объявляем по нас помянутого престола наследником другого сына нашего, Петра, хотя еще и малолетка суца; ибо иного возрастного наследника не имеем. И заклиная прежде упомянутого сына нашего Алексея родительскою нашею клятвою, дабы того наследства ни в которое для себя время не претендовал и не искал. Желаем же от всех верных наших подданных, духовного и мирского чина, и всего народа всероссийского, дабы по сему нашему изволению и определению сего от нас назначенного в наследство сына нашего Петра за законного наследника признавали и почитали, и во утверждение сего нашего постановления, на сем обещании пред святым Евангелием и целованием креста утвердили. Всех же тех, кто сему нашему изволению в какое-нибудь время противны будут и сына

нашего Алексея отныне за наследника почитать и ему в том вспомогать станут и дерзнут, изменниками нам и отечеству объявляем. И сего всенародного известия повсюду объявить и разослать повелели.

Дан в Москве 1718 году, февраля в 3-й день за подписанием нашей руки и печатью.

6

Чтение закончилось. Стояла тишина. Слышались только тихие всхлипывания царевича. И среди этой тишины царь вдруг опять громко повторил:

– Прощаю, а наследия лишаю!

И вышел.

А вслед за ним двинулись и остальные. И Алексей – тоже. Шли в Успенский собор. Царевич шел вместе со всеми, влекомый теми многими людьми, которые совсем какие-то минуты назад находились в Ответной палате.

У него почти не было сил идти; он не шел, в сущности, а, что называется, волочил ноги; но что удивительно: среди тех, кто был рядом не нашлось по дороге в собор, ни одного, кто бы помог Алексею идти, взял бы его под руку. Почему? Потому что для одних он был уже чужой, а для тех, кому он был еще симпатичен – тоже не резон было ему на людях помогать, ибо опасались доноса, что вот, мол, тот-то по дороге помог царевичу, под руку взял, идти помог. Кто знает, чем эта помощь обернется?

Так и довлачился Алексей Петрович до трапезной, взо-

шел к налою, кем-то подталкиваемый и остановился, озираясь вокруг мало что видящим по причине слез, взором.

Что-то говорил отец; после отца что-то – самому Алексею говорил кто-то духовный, а что говорил – царевич плохо понял.

Положили ему перед лицом бумагу; здесь Алексей Петрович напрягся и, хотя и медленнее обычного прочел ее – сначала «про себя», а затем вслух, тихо, но членораздельно. Вдохнул, подписал. Еще вдохнул. И крест серебряный поцеловал – скрепил подпись свою крестоцелованием. В бумаге той было написано следующее:

Клятвенное обещание

Я, нижепоименованный, обещаю пред святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем его величеством, изображенное в его грамоте и в повинной моей, лишен наследства Российского престола, того ради признаваю то, что за вину мою и недостойнство, ... обещаюсь и клянусь всемогущим, в Троице славимым Богом и Судом его той воле родительской во всем повиноватися и того наследства никогда, ни в какое время не искать и не желать и не принимать ни под каким предлогом. И признаваю за истинного наследника брата моего Петра Петровича. И на том целую святыи крест и подписуюсь собственной моей рукою. Алексей.

В Москве февраля в 3 день 1718 года.

Все. Процедура закончилась.

После этого, в событиях, по крайней мере для сына, возникла некая пауза, не более четверти часа, в продолжение которой царь на людях отсутствовал. Но для нашего повествования эта пауза имела наиважнейшее значение. Потому что именно в эту паузу, «засев» в свою царскую будочку, где положено было во время богослужений находиться монарху, он написал исключительно спешно бумагу, которую запечатал своею маленькою печатью и велел слуге своему Богдану Баклановскому наискорейше доставить ее в Петербург Меншикову.

Но пока Петр, сердясь неизвестно на что, писал, разрывая пером бумагу и брызгая чернилами, Баклановский, почтительно стоял несколько сзади, и хотя было далеко, успел-таки прочесть то, что написал Благодетель. А Петр написал следующее: «Майн фронт! При приезде сын мой объявил, что ведали и советовали ему в том побеге Александр Кикин и человек его (Алексея – ЮВ) Иван Афанасьев, чего ради возьми их тотчас за крепкий караул и вели оковать».

С этого момента действие как бы раздваивается – на линию собственного поведения Алексея и линию розыска. Потому что с момента этой царской записки Данилычу – розыск фактически начался.

А кремлевская процедура закончилась... веселым обедом и обильной выпивкой. Пировали царь и сенаторы. И Алексей

тоже был среди них, и ел, и пил вместе со всеми. Отец, казалось, демонстрировал сыну, что неприятности чадовы совсем-совсем миновали. И Алексей в это, кажется, поверил.

Но облегченным ощущениям суждено было как-то крепиться в голове Алексея только до следующего утра. Потому что на следующее утро, четвертого февраля, царевичу задали вопросные пункты.

9

Царский особо доверенный гонец, скорее всего один из двух – либо Сафонов либо Танеев (они чаще других возили письма царя), получив от Петра пакет и инструкцию скакать к Меншикову в Петербург как можно быстрее, – помчался исполнять приказание. Но Баклановский, который, как мы знаем, прочел написанное царем, стоя за его спиной, решился на действие, на первый взгляд малопонятное: нарядил и своего тайного гонца и отправил его к Кикину, бывшему в Петербурге, наказав упредить того на словах, что царевич его, Кикина, выдал – дабы Александр Васильевич принял меры к собственному спасению.

Денщик сильно рисковал, но все же решился это сделать. Почему? Причины две. Во-первых, Баклановский и Кикин в свое время вместе служили Петру денщиками и были приятелями. Одного этого достаточно, чтобы рискнуть, выручить приятеля. Но – больше того – жена А.В. Кикина, та самая бабушка, как ласково звал ее когда-то Петр, приходилась Баклановскому родною сестрою. И звали ее Надеждою Григо-

рьевною. Вот как!

По мнения Казимира Валишевского Баклановский это сделал шестого февраля. На наш взгляд – все-таки раньше. Потому что случилось почти чудо. Хотя курьер Петра промчал расстояние между Москвой и Петербургом за три дня, курьер Баклановского все же упредил его, примчавшись двумя часами ранее. Но что можно было сделать за два часа? Только то что и сделал Александр Васильевич: побежал на соседний двор к брату своему Ивану Васильевичу – посоветоваться, как быть. И ничего более того.

Можно с некоторой степенью вероятности предположить – о чем шел разговор между братьями. Иван советовал сей же час, немедля бежать и перебираться через границу. Александр колебался. И мотив у сомнений его был тот же, который снедал его тогда, после поездки в Вену, когда царевич просил его остаться за границей, а именно – боязнь утратить свое немалое имущество. В дискуссии братья потеряли время; и когда Александр Васильевич все-таки бежать решился, то бежать было уже невозможно. В ворота стучали прикладами ружей солдаты, посланные Светлейшим для ареста Кикина. Ворота пришлось открыть. И разговор был короткий:

– Кикин? Александр Васильевич? Велено тебя по Государеву указу взять под караул на гауптфахт! А брату твоему на дворе своем быть безвыходно!..

Еще какие-то минуты назад Александр Васильевич, хотя и встревоженный всяк всякой меры, но свободный, держал

совет с братом своим. А в сию минуту его уже везли на гауптвахту, и на той гауптвахте его ждал Меншиков.

10

Конечно, розыск в петровские времена представлял собою страшный, безжалостный и в высшей степени жестокий процесс, хотя и далеко не всегда результативный. Но в нашем случае, а именно, в розыске по делу Алексея Петровича, рискнем заметить, клубок распутали практически до конца и искомого результата достигли – то есть круг участников дела выявили.

Заметим а priori следующее.

Этот самый круг участников дела не был многочисленным. Что доказывает, что несмотря на то, что цель участников заговора, цель-*maximum* состояла в возведении на престол Алексея Петровича, сил для реализации этих целей у них было, мягко говоря, маловато. Понятно, почему они делали ставку на случай: они были авантюристами в полной мере.

Но для царя это было не так важно. А важно для него было то, что во-первых – родной сын оказался предателем. Это отца, без сомнения, потрясло. Участие Евдокии, своей отторгнутой жены в этом деле хотя и очень косвенные, было для него вторым ударом. И, наконец, то обстоятельство, что на стороне предателя-сына оказались зарубежные силы – в этом был третий удар для Петра.

Все остальное, и каждый удар, взятый порознь, можно бы-

ло и не принимать во внимание. Но все взятое вместе, как нам кажется, разрушительно и долго действовало на самолюбие Петра Великого великим же раздражающим фактором. Потому-то он так жестоко и энергично довел розыск до конца, а сына своего, хотя и обещал пощадить – не пощадил. Хотя, повторимся, быть может, первоначально и не прочь был его и помиловать.

11

Давайте же попытаемся посмотреть на процесс розыска с близкого расстояния. В какой-то мере реконструировать его события, чтобы читатель вместе с автором пришел к выводу, что решение отца казнить сына было не первоначальным, а сформировалось в процессе самого розыска, и более того – в самом его конце.

Итак, Александра Васильевича Кикина привезли на гауптвахту и тут же, во исполнение воли царской, оковали. За сим окованный Кикин поставлен был «пред светлые очима» Александра Диниловича Меншикова. При этом Кикин бледный, даже, как говорят в таких случаях, несколько сам не свой, все-таки нашел в себе силы осведомиться у Светлейшего:

– Князь Василий Владимирович Долгорукий взят ли?

– Не взят, – был ему ответ Меншикова.

– Так я и знал, – заметил Кикин горько. – Нас истяжут, а Долгоруких, царевич, пожалев фамилию, прикрыл...

У нас еще будет случай уяснить вопрос о том, прикрыл

или не прикрыл царевич князя Василия Владимировича.

Но с Кикиным, – с Кикиным обошлись очень, очень сурово. Он был окован «цепями со стульями и на ноги железо». Причем, его и Ивана Большого, которого взяли в ту же ночь, вначале пытали «только вискою одною», а кнутом не истязали, чтобы в пути в Москву, куда по приказу Петра их скоро перевезли, они «дорогою не занемогли».

Для Кикина это были только цветочки. И не только потому, что царевич пока еще всего не рассказал. Кикин не знал, что еще до отъезда Петра в Копенгаген, куда должен был приехать по собственному выбору Алексей, царь по поводу Кикина приказал, «чтоб око на него имели и стерегли». Что-то было уже на Кикина у Петра. Ведь Александра Васильевича, как мы помним, едва не приговорили по суду за казнокрадство. От обвинительного приговора его спасла царская жена – Екатерина Алексеевна. Те, первые двое арестованных могли молчать пока или не молчать, но отлично понимали, что их положение будет прямо зависеть от того, кого еще назовет царевич.

А он уже с самого начала розыска многое понял. Не мог не понять. И приходил, поэтому, во все большую растерянность и даже в отчаяние. Возвращаясь все к одному и тому же – зачем ах, зачем он, несмотря на предупреждение Кикина ни в коем случае не возвращаться, все-таки поверил отцу и – вернулся. Ведь с той самой минуты, когда отец при всех заявил ему, что прощение будет, если он назовет сообщни-

ков, Алексей понял, что попался. Хотя вернулся он не только поддавшись этому обману. У царевича хватило ума и для собственного взгляда на вещи.

Дело в том, что чем дольше он находился у австрийцев, тем яснее понимал что цесарь Карл все больше теряет к нему интерес, что воевать против Петра за династические претензии Алексея император Священной Римской империи не станет; что «августейший пленник» становился все более обузой для австрийцев. Тем более, что отец в ближайшее время умирать вроде бы не собирался, а долгое время укрывать царевича, а, значит, на долгое время фундаментально портить отношения с Россией и с царем, австрийцы не захотят, и не захотели бы никогда.

Все шло по наихудшему из возможных, и прежде всего – для Алексея, вариантов. Но виновник такого варианта все же был. Читатель волен считать виновным кого хочет, а автор полагает таковым именно Алексея Петровича – по его слабости воли и трусости.

Потому-то с того момента, когда начался розыск, все как бы замерло в ожидании. Ни от кого уже, кроме Алексея ничего не зависело. А от него – все. И вопрос был, повторяем, только в том кого и когда он назовет в числе тех, которые «ведали и разным способом радели ему, царевичу».

12

Итак, сначала о «вопросных пунктах», которые вручены были царевичу четвертого февраля утром. Пункты были со-

ставлены отцом. И всего их было семь.

Прежде всего, отец интересовался сообщниками, – т.е. теми, кто руководил поступками его, кто советовал отречься и бежать за границу. Но что в тексте пунктов бросается в глаза прежде всего, так это то, что отец, составляя вопросы изрядно волновался и торопился. Иначе, в тексте не было бы повторов.

Судите сами.

В «пунктах» отец напоминал сыну, что тот «при прощании на словах все просился в монастырь, а ныне в самом деле явилось, что все это обман был; с кем о том думал и кто ведал, что ты обманом делал?» И тут же: «о побеге своем давно ль зачал думать и с кем? Понеже так скоро собрался, может быть что давно думано, чтоб ясно о том объявить, с кем словесно чрез письмо или чрез словесную пересылку и чрез кого, и с дороги обманное письмо с кем оное писал и для чего; так же и с дороги не писал ли кому?»

Один из пунктов был задан о заграничном этапе бегства, о контактах с австрийцами.

Пункты хотя и были составлены Петром, но представлены Алексею в подготовленном писарем виде – с пробелами для ответов. Но была так же, и приписка, сделанная собственноручно царем: «Ежели что утаил, а потом явно будет, то на меня не пеняй, понеже вчерась перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон». То есть: на ту информацию, которая откроется в ходе розыска помилование не

распространяется. Фраза зловещая, что и говорить. И Петр, вероятно, почувствовав, что хватил через край, ниже дописывает помягче, призывая сына рассказать все честно «что к сему делу касается,.. хотя что здесь (т.е. в пунктах – ЮВ) и не написано, объяви и очисти себя, как на сущей исповеди».

Что же сын отвечал?

Что советовали ему бежать двое – Александр Васильевич Кикин и князь Василий Владимирович Долгорукий. А «ведали» о побеге еще двое слуг – Иван Афанасьев и Федор Дубровский.

13

Страшная мельница розыска завертелась. «Поскакали курьеры сломя голову во все стороны отыскивать, хватать названных в Петербурге, в Суздале, в деревнях, в монастырях под землею, на дне моря...» – так описывает картину розыска М.П. Погодин.

Список людей, причастных к делу рос, но рос небыстро или, вернее, не так быстро, как на это, возможно, рассчитывал Петр. Почему?

Во-первых, всех причастных Алексей и не знал. А во-вторых – потому, что и сам Алексей Петрович, и Василий Владимирович, и Александр Васильевич с самого начала были кровно заинтересованы в том, чтобы круг причастных был как можно уже. Выяснилось, что даже Ефросинья получила полную ясность тогда, когда беглецы были уже далеко в Европе. А первоначально Алексей сказал ей, что предстоит

недалекая поездка – только до Риги. Но в Риге – маршрут был продлен. Царевич поведал любовнице, что в действительности они едут в Вену, и что в Вене он, Алексей, якобы по поручению отца, будет пытаться заключить союз с австрийцами против турок. Вот такая была конспирация!

Так что в Петербурге с началом розыска были арестованы кроме А. Кикина и И. Большого по первым ответам царевича на «пункты» только Н. Вяземский, князь В.В. Долгорукий и слуги царевича – И. Меньшой, Ф. Дубровский и Ф. Эверлаков. Но спрос-то со слуг был невелик. Они использовались следствием главным образом для того, чтобы проверить или подтвердить показания основных подозреваемых. Но иногда и от слуг удавалось услышать нечто для нас интересное. Иван Большой рассказал о визитах Кикина к царевичу, а Федор Дубровский – о разговоре с царевичем накануне «отъезда» – 24 сентября. Разговор был такой:

– Изволишь ли ехать к отцу? (Это Федор)

– Еду...

– Знатно. Отец зовет тебя жениться?

– А я не хочу... Я в сторону...

– Государь царевич, куда же в сторону?

– Хочу посмотреть Венецию. Я не ради чего иного, только бы себя спасти.

– Многие наши братья спасались бегством, однако же в России того не бывало...

– Бывало и в России. Великого князя Дмитрия сын бежал

в Польшу и опять приехал.

– Чаю, и сродники тебя не оставят. А Аврама (А.Ф. Лапухина – ЮВ) отец твой запытает.

14

И что же? Как в воду смотрел сей слуга! Действительно, родной брат матери царевича Авраам Федорович, хотя и боярин, и стольник, был по делу царевича признан виновным, пытан и казнен за то, что писал сестре тайно письма, поддерживал ее морально и материально, и может быть, не единственный, а наряду с царевной Марией Алексеевной известил Евдокию об «отъезде» сына.

Федор Дубровский, в свою очередь, признался, что имея от царевича приказ передать матери в монастырь пятьсот рублей, на самом деле – струсил и не передал. И другой слуга царевичев – Федор Эверлаков тоже легко свидетельствовал против своего господина и иных вельмож. Первый раз, когда поведал, что князь Алексей Гагарин, прознав, что царевич возвращается, сказал: «Погубил он себя напрасно», и при этом обозвал незадачливого беглеца дураком. Второй же раз Федор донес о том, как царевич ему сетовал: «Жаль мне что не сделал, как Кикин советовал – уехать во Францию. Там бы покойнее жил, пока Бог изволит...» Когда же он, Эверлаков возразил: «Для чего так делать? Изволь выпросить здесь дело у отца и живи при делах». И получил такой ответ:

– Не таков он (отец – ЮВ) человек. Не угодит на него никто. Я ничему не рад, только дал бы мне свободу, не трогал

никуда и отпустил меня в монастырь. Я бы лучше жил в Михайловском монастыре в Киеве, нежели здесь».

Теперь-то нам понятно, почему Алексей Петрович тогда – и, видимо, допускал это реально – думал о Киеве. Неспроста думал. Ибо киевским митрополитом ведь был Исааф Краковский, о котором Алексей доподлинно знал, как об иерее, ему сочувствовавшем. Что, впрочем, не помешало царевичу выдать старика – о чем речь пойдет ниже.

И в третий тоже раз показал Федор Эверлаков на царевича, вспомнив как, однажды тот сказал, ни к кому, собственно, не обращаясь, а так, с досадою: «Два человека на свете как Боги – папа Римский да царь Московский: что хотят, то и делают».

А языки слугам развязывали пытками. Хотя в вину им многое поставить не могли. Но поставили: «Почему не донесли о том, что дело противугосударское тайно готовится?» И всех троих под смерть и подвели. Но почему-то казнили после приговора главному виновнику – уже когда царевич Алексей Петрович жизнь свою горемычную скончал.

Но, удивительное дело! Царевичев учитель первый и наставник в русской грамоте, Никифор Вяземский – уцелел! Хотя при допросах он и попал под плети, однако казнен не был. Этому нимало удивлялись: ведь доброжелатели Алексея Петровича, уповая на успех бегства и триумфальное возвращение, мечтали о том, что от нового царя многим достанется: и Светлейшему, и жене Петра Катьке-чухонке, и ее по-

ганым дочерям,.. и Никифору Вяземскому, о котором ходили упорные слухи, что он продавал царевича издавна; а кому продавал – многих вариантов не было – Меншикову, кому же еще?! А как Никифор уцелел? А стал упорно – изусно и письмененно повторять многажды, что ничего о предмете розыска не знает, вин царевичевых не знает тоже, поелику уже давно царевич его, Никифора от себя отставил; а почему отставил – о том он, Никифор, не ведает вовсе...

15

Но фигурой номер один Петербургского круга заговорщиков был, повторим, Александр Васильевич Кикин.

Он был подвергнут страшным истязаниям. Морально он был к ним готов; вспомните его вопрос Меншикову по поводу князя Василия Долгорукого. Эти истязания ему уже в ходе следствия стали наказанием помимо смерти, которая была, в сущности, предрешена.

Надо отдать ему должное. Несмотря на жестокость истязаний, терпел он, или как о том говорят допросные листы – запирался – довольно долго. Более того. Он пытался подвести под ответственность Долгоруковых и Голицыных, заявив, что Яков Федорович Долгоруков, и киевский губернатор Дмитрий Михайлович Голицин, немного – ни мало как обсуждали с царевичем «тяготы народные», а Яков Федорович еще и советовал царевичу при случае в Отечество не возвращаться.

Не помогло. И Кикин под страшными пытками признал,

что «побег царевичу делал и место сыскал в такую меру – когда бы царевич был на царстве, чтоб был ко мне милостив».

Он был осужден к смерти колесованием, а имущество все его суд приговорил «отписать на государя».

Суд, вынесший приговор Кикину составили ближайшие Петру персоны: Иван Федорович Ромодановский, генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, граф Иван Алексеевич Мусин-Пушкин, генерал-адъютант граф Федор Матвеевич Апраксин, канцлер граф Гаврила Иванович Головкин, барон Петр Павлович Шафиров, Алексей и Василий Салтыковы. Но не было в составе суда ни Долгоруковых, ни Голицыных, ни Нарышкиных, ни Гагариных. Это и служит нам основанием полагать, что «фамилии» данные «запятнались».

Что же касается князя Василия Владимировича Долгорукова, то благодаря усилиям старшего в роде Якова Федоровича, авторитет которого в глазах царя был очень высок, Василия не пытали и жизни не лишили, приговорив только к конфискации имущества и к ссылке в Соликамск. Хотя вина Василия видна была определено: он вместе с Кикиным обсуждал вопрос о бегстве, а еще раньше – о пострижении царевича в монахи.

Кикин был колесован 17 февраля. Петр обязал сына при казни быть. О чем думал при этом царевич – можно только догадываться. Как пишет И.М. Костомаров – «на другой день после казни истерзанный Александр Кикин лежал на

колесе еще живой; царь подъехал к нему, слушал как он сто-
нал, вопил и молил отпустить душу его на покаяние в мо-
настырь. Но монастырь он не вымолил, хотя, видимо, даже
царя проняли вопли Александра Васильевича. Повелитель
снизошел: велел прекратить Кикиновы муки и главному ви-
новнику, наконец, отрубили голову и надели ее на кол. Царь
был видимо удовлетворен. Произошло это 18 февраля.

В тот же день отец и сын в одной карете выехали в Петер-
бург; а за ними везли два десятка еще живых подследствен-
ных.

Розыск продолжился уже в новой столице.

16

Очень скоро, однако, и Петру, и его верным следователям
и вызнателям стало вполне ясно, что слуг, Кикина и князя
Василия Владимировича Долгорукова для сего государственного
дела маловато, и что надобны еще люди. Суздаль в связи с
этим всплыл хотя и почти сразу, но не отчетливо и только
после того, как Федор Дубровский рассказал о пятистах руб-
лях, которые должен был передать матери от сына-царевича
в монастырь, но не передал, убоился.

И вот, уже девятого февраля, то есть на шестой день по-
сле того, как сын был официально лишен права наследовать
царский престол, Петр пишет преображенскому капитан-по-
ручику Григорию Григорьевичу Скорнякову-Писареву, сво-
ему доверенному человеку: «Ехать тебе в Суздаль и там в
кельях жены моей и ее фаворитов осмотреть письма и, ежели

найдутся подозрительные по тем письмам, у кого их вынут, взять за арест и привезть с собою, купно с письмами, оставя караул у ворот».

17

Визита капитан-поручика в Покровском монастыре никто не ждал. И поэтому в ходе обыска обнаружилось много интересного, о чем написал офицер Петру через три дня и прислал: что Евдокия не ходит в монашеском одеянии, а ходит в мирском и что есть подозрительные письма и люди. Особенно заинтересовали порученца царя «здравные» записи о здравии Великого государя и царя Петра Алексеевича и Великой государыни и царицы Евдокии Федоровны. А записи о здравии и многих летах Екатерине Алексеевне – не было.

Петр от этой информации пришел в ярость и приказал «бывшую жену и кто при ней... и кто ее фавориты, и мать ее привезти сюда, а перво разыщи, для чего она не пострижена, что тому причина и какой был указ... о ней, как ее Семен Языков привез и кто в то время был, и кто о сем ведает; всех заberi и привези с собою».

Главной фигурой среди тех, кого привез из Суздаля в Москву Скорняков-Писарев, была, конечно, бывшая жена царя Евдокия. Изрядно струсившая, бывшая царица, буквально с того момента, когда капитан-поручик вывез ее из монастыря, стала упрашивать конвоира, чтобы он сделал остановку, дал ей возможность написать царю повинную и отправить ее вперед, с тем, чтобы повинная та пришла бы в

Москву раньше, чем явилась бы сама провинившаяся. Григорий Григорьевич отказывался вначале, а после – снизошел.

Остановились они, скорее всего, во Владимире, на постоялом дворе. Она написала в повинной, что в бытность свою в монастыре монашеского обета не соблюдала, ибо лелеяла надежды на возвращение в Москву в качестве жены государственной. Далее она клятвенно обещалась впредь быть монахиней и «бога молить за тебя, государя».

По нашим нынешним представлениям относительно бегства сына вины на матери никакой не было. Она не уговаривала сына бежать; она не собирала людей – ему в помощь. Суть дела прояснил юродивый Михайло Босой, который информировал следствие, что это он спроста, узнав от царевны Марии Алексеевны, что царевич бежал, сказал об этом Евдокии, а та ответила только, что царевичу «за границею будет лучше, проживет как в раю, а здесь бы его постригли». И все. Разве это вина? Нет, это всего лишь мнение.

18

В день казни Кикина уже допрашивали привезенных из Суздаля. Монахиня Каптолина, которая была в услужении у Евдокии – Елены, почта обмершая со страху сразу открыла связь Евдокии с братом своим Абрамом Лапухиным, а также с царевной Марией Алексеевной через юродивого Михайлу Босого.

19 февраля стала давать показания вторая привезенная Г.Г. Скорняковым Писаревым из Покровского монастыря

монахиня, старица-казначейша Меремьяна.

И тут открылись вещи удивительные. Всплыла фигура Степана Глебова. При первых же прояснениях по поводу роли Глебова, Петр пришел в неопишущую ярость: Степана сыскали, привезли и немедленно, в присутствии Петра принялись пытать. Как живописует писатель XIX уже века Петр Васильевич Полежаев, пытка Глебова была устроена особая: Степана подняли на дыбу медленно, от чего «связки лопались и кости выворачивались со значительно более острой болью».

На первой же пытке Глебову были даны двадцать пять ударов, но таких жестоких, что, как пишет Полежаев, «кровь брызнула ключом».

Жену его – Татьяну Васильевну тоже допрашивали. Но она мужа не выдала. А вот сын – Андрей Степанович по молодости и из страха перед пыткой наговорил много чего и о Ростовском епископе Досифее, и о Федоре Пустынном, и о Михайле Босом.

Без особых церемоний выяснили, чем занимался, и для чего был нужен юродивый. Он не только возил записочки от царевны Марии Алексеевны и отвозил от нее ответы, но и постоянно говорил Елене-Евдокии, что, мол, скоро, скоро наступит время, когда царь Петр от себя немку проклятую прогонит, а ее, Евдокию, возьмет. Об этом, будто бы, ему, Михайле чуть не каждую ночь видения бывают. И Федор Пустынный, и Досифей, Ростовский епископ всемерно

укрепляли бывшую царицу морально, и ее надежды на скорое и триумфальное освобождение. Правда, иногда они же и от души смеялись за глаза над ее доверчивостью, эти циники церковные. Но Федор – тот понял больше. Он понял, что Евдокии нужна не только моральная и религиозная поддержка, но и кое-что еще.

19

Несколькими годами ранее в Суздале по делам рекрутского набора побывал офицер Степан Глебов – и попался на глаза Федору. И привлек его внимание. И вот, почему. Евдокия-Елена, живя в монастыре, в мужчине, конечно нуждалась, Федор это хорошо понимал. Почему его выбор пал на этого Глебова? Потому что Федор обоснованно полагал, что Степан приехал, без следа уедет, и больше не заявиться. Поэтому, он, уговорив Глебова, привел его к Евдокии и «дело сладилось».

Но на беду – Евдокия, что называется, попросту влюбилась в Степана. Да и он в нее – тоже влюбился. Поэтому стал в монастыре бывать, и, поэтому же, неизбежно засветился. Подробности на следствии выяснились такие.

Когда Степан Глебов стал в монастыре у Евдокии-Елены бывать, старица Меремьяна, по ее словам, пыталась бывшую царицу усюветить. Но та ей ответила так: «Черт тебя спрашивает! Уж ты и за мною примечать стала... Я знаю Степана: человек честный и богатый. Будет ли тебе с его бесчестья?»

Следователи узнали, что по ночам Степан «много раз при-

ходил, а мы не смели тронуться». Мы – это карлица, бывшая в монастыре, именем Агафья и дневальный слуга монастырский, не названный при допросе по имени.

Факт прелюбодеяния налицо!

Но нам представляется, что жестокость царя по отношению к Глебову с точки зрения наших с вами, читатель, нравов, явно чрезмерна. Зато здесь имеется психологическая тонкость. Нам важно ее понять. Наказывая Глебова, царь наказывал и бывшую жену. И был этому случаю рад, ибо он позволил ему уравниваться с Евдокией. Так он полагал. Но Петр, конечно, только сам себя успокаивал. Потому что никакого уравнивания не произошло. В истории со Степаном Глебовым вины Елены перед Петром не было никакой. Потому что к тому времени она царю была никто. Но хотя и вины не было, но уязвленное самолюбие монаршее – было. Отсюда и злоба. И выместил он эту злобу не на Евдокии, а на Глебове. И притом, ужасно.

Царь очень хотел предъявить ему политические обвинения. Но офицер политических обвинений, несмотря на страшные муки (ему раскаленным железом тело жгли), будто бы он «произносил хулительные слова» на Петра и Екатерину не признался, а признался только в том, что «жил блудно» с монашествовавшей Еленой. Но ненависть Петра к этому человеку была столь велика, что умертвили его способом, далеко не соответствующим его вине: посадили на кол. А Петр, как говорят, стоял при этом рядом и сильно потешал-

ся. Умер Степан не сразу, а мучился почти сутки. Помог ему только какой-то монах, который проходя по Красной площади, услышал Степановы ужасные вопли и мольбы, причастил его и отпустил грехи.

Степан Глебов был вторым наитягчайшим виновным во всей описываемой нами истории следствия. А первым был Кикин.

20

По поводу исхода дела о бывшей царице Евдокии тоже был издан царский Манифест – 5 марта 1718 года. В нем говорилось и о «таблице, взятой из того [Покровско-Суздальского монастыря] Благовещенской церкви на жертвеннике, явилось то подлинно, по которой ее поминали царицею Евдокиею, а не монахиною Еленою, а государыне царице и великия княгини Екатерины Алексеевны к поминовению не написано».

Кроме того, в манифесте шла речь о том, как Досифей «повинно» объяснил, зачем он говорил Евдокии, что он слышал от неких голосов, будто она, царица скоро будет и с мужем, и с сыном, «и то говорил и писал, утешая ее, для того (т.е. потому – ЮВ), что она того желала». И про царевну Марию Алексеевну было сказано, и про прелюбодеяние бывшей жены царя – тоже.

Нужен ли был этот манифест?

С точки зрения царя Петра – так нужен, и даже очень. Он как бы закрывал вопрос о Евдокии; он должен был положить

конец слухам о невинно страдающей царице. Вина ее есть, вот она, прописана в манифесте, и надо полагать, Петр испытал в связи со всем этим не только немалую злобу, но и не малое душевное облегчение.

А Евдокию наказали ссылкой. Правда, что в связи с ее делом Федор Пустынный, юродивый Михайло Босой и Степан Глебов были казнены, но это уже не главное для Петра. Главное – что бывшая жена свое получила.

21

С момента казни Глебова главные события описываемого нами сюжета происходили уже в Петербурге. И все шло пока спокойно. Новых казней не было. Царевич свободу не терял, жил без оков и явных сторожей, виделся – чуть ли не каждый день с отцом, много раз был приглашаем им обедать... Кажется – все ясно и спокойно. Но поселиться в «своем» доме – в том, где жили они с Шарлоттою, когда она первый раз приехала в Санкт-Петербург – ему не позволили. Кто не позволил? Царица-крестница Екатерина Алексеевна, а значит, и батюшка.

Поселили царевича на «Шехтинговом дворе» – в доме высоком и прочном, с крепкой оградой, который, кажется, как нельзя лучше подходил для содержания подследственного сына. Впрочем, повторим, по приезде в новую столицу Алексей Петрович тягот следствия не ощущал и был полностью уверен в том, что его не накажут, ибо батюшка обещал разрешать жениться на Ефросинье и он спокойно будет жить с

нею в деревне в безопасности, а далее что Бог даст...

Правда, временами Алексей всетаки думал о тех, кто уже был пытан и даже казнен по его делу, но он быстро отгонял стыдные для себя думы. Впрочем, и в розыске наступило некоторое затишье то кто-то даже из судий думал что на этом все и кончится. Но, оказывается, что делу было дано только некоторое замедление. И вызвано оно было тем, что еще не приехала в Санкт-Петербург Ефросинья.

22

Надеемся что читатель не забыл, что Ефросинья поехала домой своею дорогою, без Алексея. Двигалась она не торопясь, часто, как ей советовал в письмах царевич, делала остановки и отдыхала, иногда по неделе и более. Все это – по причине беременности. Августейшего ребеночка нужно было сохранить. В половине февраля она только приехала в Берлин, ни о чем для себя опасном не подозревая.

Здесь, как полагает автор, имеет смысл сделать допущение. Впрочем, автор читателю ничего навязывать не смеет. Читатель имеет полное право этому допущению и не верить. Но автор – верховный распорядитель сюжета – полагает, что описываемый ныне эпизод (допущение) не только мог иметь место, но и действительно был.

Случилось это еще в Неаполе. Петр Андреевич Толстой нашел случай увидеться и переговорил с Ефросиньей без свидетелей. Когда конкретно произошел этот разговор, и в каких реальных обстоятельствах, автору не важно. Разговор

был негласный. Но был. И скорее всего – незадолго до отъезда из Неаполя в Бари – на поклонение к мощам Николая Чудотворца.

Вот он, этот разговор.

23

– Все ли собрала царевичево?

– Все. А у него из одежды не так много. А оприч-то у нас ничего своего, почитай, и нету.

– Знаю... Не боишься ехать-то?

– Не боюсь... А чего мне бояться? Царевич вон обещает жениться. Я чаю, царь-то батюшка его, знамо дело, помиловал... Так мне ли бояться?

– Помиловал, думаешь?

– Ну. А то, как бы он поехал? Не поехал бы...

– И ты бы осталась?

– И я бы...

– Скажу тебе отай что-то...

– Че?

– Че, че... Царевича царь, может, и помиловал... А розыск все одно будет.

– Неуж-то?

– Будет, будет всенепременно... Искать будут тех иных-прочих, кои Алексею помогали. Ведь и ты, я чаю, тоже помогала?

– Ну. Помогала. И по утрам иногда одеться помогала... И ночью – тоже помогала...

– Вижу. Допомогалась. Когда рожать-то?

– Когда Бог даст. Весною не то. Может, в апреле...

– А что с ребетеночком будет, знаешь ли?

– Ты чаешь – не отдадут?

– Отдадут, не отдадут – не ведаю. Я ведь не ясновидец. Но ведаю. что ты непременно должна сделать... Чтобы отдали.

– Что?

– А то. О чем бы тебя ни спрашивали – говори, как есть и было – без утайки. А для сего надобно тебе все до чиста вспомнить – что, и когда, и кому – царевич говаривал – об отце, али о чем другом, что к розыску пригодно будет. А и того лучше – утаить какие черновые письма его к кому... Может к цесарю, может в Рим, может еще куда... Чем больше доподлинно вспомнишь, али писем покажешь – тем тебе и лучше будет. И ребеночка получишь... Ну, как, уразумела?

– Уразумела... Ахти, мать Божия, царица небесная! Ведь он нынче утром и наказал мне, немедля какие-то письма пожечь!

– А ты те письма глядела?

– Ну.

– Чья рука?

– Евойная.

– Так ли?

– Ну. Я его руку знаю.

– И что же ты? Пожгла?

– Нет... Не пожгла...

– А куды дела?

– Так лежат...

– Спрячь немедля!

– Спрячу...

– Смотри за ними крепко. Царевича – все одно не накажут, раз отец ему Богом обещался... А ты чрез те письма выгоду изрядную получить можешь. Даже и спасешься...

Таков, скорее всего, был этот разговор.

И ехала Ефросинья домой не торопилась. Выполняла приказ царевича чаще отдыхать, беречь плод, потомка его – не ясно пока, какого – венценосного или простого.

24

Становилось явно как-то даже не по себе. Любовница царевича после нескольких лет сожителства с ним, и от него беременная, спокойно готова доносить на него и, притом, доносить столько, что именно ее показания определили приговор. Хотя – ничего непонятного здесь нет. Все как раз понятно. Во-первых, собирать бумаги (доказательства) против царевича Ефросинья начала по крайней мере еще до отъезда из Милана, а может быть, и раньше того. Во-вторых, приехав в Петербург, и точно узнав, что по поводу царевича ведется следствие, она сразу сообразила, что дела Алешеньки не весьма хороши. Когда же у нее потребовали компромата на Алексея, Ефросинья снова живо сообразила, что этот компромат сведет царевича в могилу, и что именно этого хочет Толстой, а значит и царь. Она так же поняла, что требуемый

компромат все равно будет получен – если не от нее, так от других. Поэтому лучше, если он будет получен от нее. И она не стала спасать Алексея. Она не стала «запираться»: угроза «виски» была очень реальной, а компромат должен стать гарантией того, что ее не накажут.

И не ошиблась. Хотя и тянула время, сколько могла. Но ведь – как ни тянула – а в апреле – въехала-таки в пределы Российские, а после – и в Санкт-Петербург.

К слову сказать, на время поездки, к старым слугам – Питеру Мейеру, Якову Носову и брату Ивану – добавилось и новое лицо. От Рима головой отвечал за успех возвращения подьячий, вероятно сотрудник русской миссии в Милане или Риме – Петр Судаков. И он выполнил то, что было поручено: доставил Евдокию. А маршрут ее был, повторим: от Рима до Нюрнберга, от Нюрнберга до Аугсбурга, а от Аугсбурга на Берлин и далее на восток.

25

Наступил последний этап розыска – этап, когда показания стала давать возвратившаяся Ефросинья. Та самая Ефросинья, которую царевич ждал с великим нетерпением, в ком был совершенно уверен – что вот она возвратится, и они повенчаются законным порядком и мужем и женой поедут вдвоем в деревню на жительство. А далее – что господь положит.

Но – как же ошибся в ней царевич!

Ведь она то, воротившаяся Ефросинюшка, как раз и по-

губила все, даже самые малые надежды Алексея Петровича, да и его самого погубила тоже.

26

Выше автор уже писал, что в марте 1718 года в розыске неметилось, было, некоторое затишье. Громко прозвучал только один, пожалуй, случай – случай с Илларионом Докукиным. С делом царевича этот Илларион оказался связан только косвенно, но зато – как красноречиво!

Судите сами.

2 марта 1718 года в Соборное воскресенье в Москве, в церкви во время обедни к царю Петру подошел некий человек и с поклоном подал ему бумагу. Челобитную?

Но оказалось, что это была не челобитная. Едва начав ее читать, царь велел схватить подавшего бумагу, который никуда и не пытался скрыться. В бумаге было написано следующее: «За неповинное отлучение и изгнание от всероссийского престола царского Богом хранимого государя царевича Алексея Петровича христианскою совестью и судом Божиим и пресвятым Евангелием не клянусь и на том животворящего креста Христова не целую и собственною рукою не подписуюсь; еще к тому и прилагаю мало избранные от богословской книги Назианзина могущим внять в свидетельства изрядное, хотя за то и царский гнев на мя произлеться, буди в том воля Господа Бога моего Иисуса Христа, по воле Его святой, за истину, аз раб Христов Илларион Докукин страдати готов. Аминь, аминь, аминь».

Текст этот был написан на оборотной стороне Присяжного листа на верность новообъявленному наследнику престола царевичу Петру Петровичу.

Человека этого, арестовав, отправили в печально известную «Бедность», тюрьму в Преображенском приказе, где немедленно оковали в железа и три раза подвергли жестокой встряске на дыбе. Он никого не назвал сообщников, терпел боль и только хулил царя Перта и Екатерину. Но все же в розыске было установлено, что будучи подъячим Пушкарского приказа, он попал под донос по поводу каких-то нарушений в делах, был вызван с доходными и расходными книгами из Москвы в Петербург, и было это еще до «отъезда» царевича. Но в Петербург с книгами Докукин не явился, а «пристал» к тем людям, кои были не довольны Петром.

Следствие установило, что именно Докукин был автором «подметного листа», найденного на паперти Симеоновской церкви в Петербурге; в письме том содержались «пункты», оправдывающие и защищающие старину. По делу об этом письме открыт был и розыск, но автора тогда не нашли, и письмо было сожжено без последствий. Установлено было так же, что незадолго до «отъезда» царевича Докукин сумел у него побывать, получил «богатую милостыню» и... исчез в многолюдной Москве. Конечно, можно считать Иллариона Докукина агентом Алексея Петровича, но это был скорее «агент влияния», чем человек, получивший какое-либо конкретное задание. А определить вину такого агента влияния

всегда сложно. Но, впрочем, и того, что было, оказалось достаточно, чтобы его, Иллариона Докукина, колесовать.

Случай с Докукиным был уникальным, чуть ли не единственным в своем роде. Но он не только поразил и обескуражил Петра. Он показал царю, что в стане его, Петра, противников были разные люди: слабые, безвольные, вроде сына Алексея, но были и другие – значительно более сильные телом и духом; и для них – принять муки и даже саму смерть «за правду и имя Христово» было дело практическим. Для них «правда и имя Христово» – это была не просто фраза. Они были готовы к этому. Потому что сам царь Петр был для них не кто иной, как самый настоящий Антихрист.

27

Именно по этому поводу, находясь в немалом возбуждении, царь говорил Петру Андреевичу Толстому: «О, бородачи, бородачи! Всему злу корень – старцы да попы! Отец мой имел дело с одним бородачом, а я – с тысячами!»

Случай с царевичем Алексеем и нам показывает, что церковная часть сторонников Алексея сопротивлялась наиболее упорно. Кое кого из их числа мы уже называли. Но были иные – из числа высоких церковных иерархов. Об одном из них прямо говорили, что он активно помогал Алексею. Это – Ростовский епископ Досифей. «Засветился» он, когда как следует копнули Суздальское гнездо. Епископа арестовали 23 февраля 1718 года. Обе уже упомянутые монахини – Меримьяна и Каптолина дружно показали на епископа: он, ока-

зывается, и Евдокию царицей величал, он ей и о ведениях своих рассказывал, что, мол, скоро Петр немку бросит, а ее Евдокию, «возьмет», и так далее.

Но, поскольку Досифей был священник, и, более того – епископ, его, по тогдашним законам нельзя было судить светским уголовным судом. Поэтому сначала Досифея подвергли церковному суду. И судьями его в том суде были: митрополит Рязанский Стефан Яворский (по совместительству – местоблюститель патриаршего престола), Воронежский митрополит Похомий, Вятский архиепископ, Сорский архиепископ Алексей, Тверской – Варлаам, Суздальский – Игнатий Смола и три Греческих иерарха.

Перед этим синклитом Досифей не стушевался. Он прямо заявил: «Только я один в этом деле попался. Посмотрите, что у всех [людей] на сердцах! Извольте пустить уши в народ: что в народе говорят... А кто именно – я этого не скажу...» Но мы-то знаем, к кому были обращены эти призывы. К местоблюстителю! Ведь он, втуне сочувствуя Алексею, так и не дал никому оснований, чтобы быть в чем-то обвиненным. Даже тогда, когда сам Петр, что называется, в упор, спросил Стефана, что тот думает об «отъезде» царевича в Европу, Яворский ответил поистине удивительно, ответил, что полагает, будто царевич уехал... для учебы. На такие слова первого чина в Русской церкви – даже монарх не нашелся, что сказать. Почему? А скорее всего потому, что действительно допустил, будто Стефан так думает!

Церковный собор не внял призыву Досифея не пустил, уши в народ. А сделал то, что от него ожидали: низвергнул епископа, расстриг его, возвратил мирское имя Демида и отдал на мирской суд, по решению которого тот был жестоко пытан и казнен. Так же как казнен был уже упоминавшийся нами ключарь Суздальского собора Федор Пустынный.

28

А вот теперь можно вплотную подступить и к Ефросинье. 15 апреля она приехала в Санкт-Петербург. Ее поместили в доме князей Гагариных. Здесь ей не дали отдыхать, как можно было подумать. Здесь ей дали особые «вопросные пункты». Принес их ей старый знакомый Петр Андреевич Толстой. И снова напомнил:

– Чем больше будешь говорить на него (т.е. на Алексея Петровича – ЮВ), тем для него и для тебя будет лучше. Сошлют тогда вас обоих, и будете вы жить припеваючи в вотчине. А станешь кривить да утаивать, так, чего доброго, побываешь на виске.

Нам представляется что в тот момент Петр Андреевич и сам допускал, что подобный исход дела был возможен. Ведь Ефросинья только должна была начать давать показания. Но указание ей было дано совершенно определенное: топить царевича. Причем, Ефросинья очень хорошо поняла: чем больше она наговорит на Алексея, тем будет лучше для нее. И тут нам становится совершенно понятно, что и перспектива брака с Алексеем – большая фикция со стороны отца.

Самый факт возвращения Ефросиньи в Санкт-Петербург до сведения царевича доносить не торопились. Он сам узнал случайно, через слуг. Узнал, и в первый день Пасхи в панике явился к мачехе и крестнице своей – Екатерине Алексеевне, не только с поздравлениями, но и пав ей в ноги и залившись слезами умолял, чтобы она повлияла на отца и тот, наконец, позволил ему жениться на Ефросинье.

Екатерина, может быть, и пыталась говорить на эту тему с Петром, но скорее всего, отступилась, встретив жесткое несогласие мужа. Но разве Петр забыл о том, что с а м разрешил Алексею жениться на Ефросинье, с тем однако, чтобы процедура венчания прошла на территории России? Нет, не забыл! Почему же отказал? Ответ один: потому что для Петра само обещание венчания было только способом заманить царевича в Россию, было частью большого плана Петра. Можно быть уверенным в том, что царь никогда бы не разрешил брак своего сына, пусть и лишённого права наследовать престол, и даже обвиненного в государственной измене, но сына дворянина высокой крови с крепостной девкой и шлюхой. И это – независимо от того, чем бы, наконец, закончилась вся наша история.

29

Итак, Ефросинья начала давать показания. Из этих показаний очень скоро можно было высмотреть, что составляло расчеты Алексея, или, правильнее было бы сказать, на что он надеялся. Нам эти его надежды известны. Он выражал их

вслух при Ефросинье – и в Эренберге, и в Неаполе; и в общем виде они определяются примерно так.

Царевич надеялся, что отец скоро умрет и тогда тайные сторонники Алексея внутри страны из числа церковных людей и части знати, а так же при поддержке черни, которая, как он полагал, всецело находится на его стороне, встретят его с почестями и он без помех займет Московский престол.

Допускал он и иное, в целом благоприятное для него развитие событий, когда бы, опять-таки, после смерти отца, престол получил бы царевичев сын – Петр Алексеевич, а он, Алексей был бы в чести и стал бы править государством до сыновнего совершеннолетия.

Алексей – и в Эренберге, и в Неаполе, не стесняясь, много и откровенно говорил с Ефросиньей об этом, намекая постоянно на то что у него, царевича есть не мало сторонников. Но как только Ефросинья начинала выпрашивать – что это за люди, выпрашивать имена, он всегда отвечал ей на это одной и той же, или похожей фразой: что-де тебе их называть, ты-де, все равно их не знаешь. Опасался называть. Ефросинье доверял, но опасался, в полном соответствии с поговоркой «Береженого и Бог бережет».

Но если нам эти высказанные надежды царевича известны, то отец через Ефросинью узнал о них впервые. Поэтому и жалобные письма сына цесарю с клеветами на отца, и письма царевича сенаторам (которые так и не были отправлены адресатам австрийцами), а так же и еще целый ряд ее

откровений, озлили царя необычайно. Но особенно большой гнев отца вызвала информация Ефросиньи о том, что царевич лелеял надежду на бунт в русских войсках, расквартированных в Мекленбурге. Для царя было совершенно очевидно, что в случае такого бунта царевич был бы непременно вызван бунтующими и к ним поехал бы. Поехал – и вместе с ними, полным победителем вернулся в Россию. И если бы отец в это время был бы жив – страшно подумать что произошло бы в стране...

30

Получивший такую информацию Петр радикально меняет личную позицию в розыске по отношению к сыну. Если до сих пор он считал самым главным выявить и наказать сторонников его, а вопрос о личной участи сыновней не был для отца основным, и более того, отец склонен был считать по началу, что Алексея использовали, то с момента открытия мекленбургских надежд, для отца стало ясно, что сын совсем не был игрушкой в руках других. И с этого момента, как полагает автор, участь царевича была решена. Решена окончательно и бесповоротно.

Поэтому-то из Шехтингового двора царевича сразу же после первого допроса Ефросиньи вывезли за город, на одну из прибрежных мыз. Мыза эта принадлежала одному из царских денщиков – Андрею Порошинову, а смотрителем за сыном на той мызе поставлен был еще более близкий к царю Платон Иванович Мусин-Пушкин.

Условия содержания царевича на мызе были радикально ухудшены: здоровье и самочувствие сына Петра отныне не интересовало. Почему? Потому что отец принял решение судить его. Обещание освободить Алексея от наказания отставлено было в сторону как мешающее.

Но и более того. Петр посчитал, что того состава суда, который уже работал по делу, и который уже известен читателю – для суда над сыном-изменником не достаточно. Поэтому он принимает решение сформировать для этого Большой Суд – из более чем ста человек. Зачем? Затем, что хотел этим подчеркнуть особый, даже исключительный состав преступления, который готовился предъявить сыну: не больше и не меньше, как государственную измену и подготовку к захвату российского престола силой оружия, а говоря современным языком к государственному перевороту.

Вот так!

А теперь, давайте, читатель, подумаем и порассуждаем. Это всегда полезно. А в данный момент – совершенно необходимо.

Ведь если с государственной изменой все было, или выглядело более или менее доказательно, то с подготовкой к захвату престола дело не вязалось никаким образом. Самое большое, что б ы л о – это надежда на престол. По нашим нынешним представлениям таковая надежда никак преступлением не является. И для нас это очевидно. Но для обвинителей царевича это было не очевидно. Им очевидно было

другое: царевич виновен и потому должен быть наказан. Почему они так думали? Потому что так думал Его Величество. А то, что это был отец обвиняемого, – об этом никто не думал уже. Или почти ни кто. Или старался не думать.

31

Пребывание царевича на Мызе было тайным. И владелец Мызы Андрей Порошинов предупреждение об этом получил совершенно ясное. И должен был, конечно, обо всем молчать: и о том, что царевича тайно здесь держали, и о том, что его здесь высекли, как подлого человека.

Должен был молчать. Но не выдержал, проговорился – знакомому своему, посадскому человеку Егору Леонтьеву, его жене Арине, а так же, бывшему при этом разговоре крепостному человеку графа П.Мусина-Пушкина Андрею Рублеву. На беду разговор их слышал и крепостной человек А.Д. Меншикова Дмитрий Салтанов и немедленно донес о нем Светлейшему. Немедленно же, весьма скорым порядком дело было разыскано. На его примере можно судить о том, как быстро и жестоко в рамках розыска расправлялись с людьми, или наоборот – награждали людей. Порошинову, Леонтьеву и жене последнего, Арине отрубили головы; Андрей Рублев был «сечен нещадно» и отпущен к своему господину, графу П. Мусину-Пушкину. А вот Дмитрий Макарович Салтанов, наоборот, получил аж пятьдесят рублей награды. После чего нам становится ясно как день, что он оказался при разговоре совершенно не случайно. Отсюда же можно сделать и еще

один вывод. Александр Данилович Меншиков был вполне в курсе всего процесса розыска и знал иногда о нем даже больше, чем царь Петр.

32

Вероятно, ближе к концу апреля начал работу и Большой суд над царевичем. О создании суда было объявлено печатно. Обращаясь к «вернолюбезным господам министрам, Сенату и стану военному и гражданскому», а так же к духовным иерархам-членам суда, царь призывал вести дело «не флоттируя, и не похлебуя, мне государю не рассуждайте того, что тот суд ваш надлежит вам учинить на сына вашего государя, но не смотря на лицо, сделайте правду, и не погубите душ своих и моей души, чтоб совести наши остались чисты в день страшного испытания и отечество наше безбедно».

Большой суд стал снова смотреть и оценивать все бумаги и даже кое-кого допрашивать. Вин царевичевых, понятное дело, становилось с каждым днем все больше... Ах, Ефросиньюшка, Ефросиньюшка, что же ты наделала? Теперь-то уж точно – не сделают царевича твоим мужем и не отправят вас в деревню на спокойное жительство...

И в самом деле – все становилось хуже некуда.

14 июля закончилось пребывание Алексея Петровича на упомянутой выше мызе. В этот день царевича арестовали (т.е. приставили к нему караул), оковали и привезли в один из раскатов Петропавловской крепости. Здесь была уже ему камера на крепком запоре и строгий караул. Все Тюрьма.

А 17 июля Большой Суд начал допрашивать и самого царевича. Собственно, уже и не царевича, а особого арестанта и важного государственного преступника.

И здесь было бы очень кстати рассказать о том, как сам царь Петр объяснил перемену своего отношения к собственной клятве – не наказывать сына. Вот как сказал об этом сам Петр судьям Большого Суда: «Я с клятвою суда Божия письменно обещал своему сыну прощения и потом словесно подтвердил ежели истину скажет (разрядка наша. – ЮВ), хотя он сие и нарушил утайкою наиважнейших дел, и особливо, замыслу своего бунтовского против нас, яко родителя и государя своего».

Иными словами говоря, собственный отказ от клятвы (или царь посчитал себя свободным от клятвы) после того, как выяснилось, что сын не до конца искренен. Особенно, повторим, озлился Петр на сына за то, что тот был не прочь использовать возможный бунт в русских войсках, находившихся в Мекленбурге, против отца.

33

17 июня утром Алексея ввели в зал суда под конвоем четверых унтер офицеров. Отец тоже был здесь.

Петр начал говорить первым.

Голос его не был сначала громким и даже срывался, что вполне объяснялось волнением. Но ему довольно скоро удалось с ним справиться, голос возвысился, зазвучал в полной тишине не просто громко, а даже зловеще:

– Господа суд!

Вот перед вами стоит под крепким караулом тот, кто с детства своего был моею надеждою – сын мой. На коего я еще три ил четыре года тому готов был оставить государство Наше и корону. Но сей час перед вами не токмо сын мой, но и человек, на коем лежат тяжелые подозрения в государственной измене.

Посему нельзя было просто решить это дело. Он – не простой подданный мой; он сын мой. Посему решил я отдать приговор о нем на вас, господа суд. Отцу здесь легко взять грех на душу. А дабы не погрешить – отдаю его вам, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в них. Но спервоначалу чаю я, надобно выслушать сына моего. Послушаем, что он скажет, после и вы рассудите о сем, я чаю, по совести.

После чего, оборотившись несколько к сыну, царь велел ему:

– Говори!

34

Какое-то время царевич молчал – может быть, с минуту. Собирался, видимо, с мыслями и, а собравшись – начал говорить.

Волновался он чрезвычайно. Поэтому, первые слова проговаривал с большими паузами. Но скоро взял себя в руки и обмирающего со страху уже не напоминал.

– Сию минуту, господа суд, меня можно обвинить в самых

страшных грехах. Но прежде виноват я уже тем, что есть уже люди мои, кои казнены казнями страшными, а я – не нашел сил их спасти. Хотя они и не виноваты. Я один виноват. Они – по моей воле грешили. Вина моя в том есть, что люди были мне помощниками, поверили мне и погибли в мучениях. А я, грешный, стою здесь, пред вами, судьями. Пока еще стою. Поелику надежды у меня никакой нет. Сколь ни продлись суд сей, даже с год, а принимать мне кару по приговору вашему – не миновать.

Меня вопрошали уже о многом. Но, чаю, главное, что мне в вину ставят – это измену. Измену государству, государю и отцу своему. И вы господа суд, тоже так полагаете. Посему – не стану я ждать, когда мне вопрос сей от вашего суда последует. Скажу сей же час.

Последовала значительная пауза.

– Сознаюсь. – А затем царевич чуть не закричал, вероятно, криком заглушая страх:

– Я – признаюсь в измене; и не токмо потому, что укрыться хотел до батюшкиной смерти... (Тут колыхнулся и почти сразу же исчез среди судей гул возмущения), а и надежду имел возбудить бунт – и солдатский, и народа подлого... Но это еще не все. Скажу и больше. Если бы государь и отец мой схотел бы нынче враз извести всех, кто у нас того бунта ждет с радостью, то остался бы без подданных. Некому стало бы оборонять наше государство.

Кто спросил у русского человека, а хочет ли он этих ко-

раблей, да этих коротких одежд, да париков, да пушек, да городов новых, да немцев, коих нынче у нас гораздо так, как еще николи не бывало? Кто спросил? Не было такого спросу!

Тишина стояла – наиполнейшая; все внимали, боясь проронить слово; все свидетельствовали.

– Ну а еже ли бы спросили? Любому человеку, даже рабу подлому – новое в государстве нашем – по нраву ли? Или может дани стали меньше? Или повинности какие помягчали? Ничуть. Ничуть! Только хуже ему стало гораздо!

А с церковью нашей русской православной – что сделали? Патриарх Адриан сколь годов как сном вечным почил, а нового патриарха у нас досить нетути. Местоблюститель есть, а патриарха – нету!

При этих царевичевых словах митрополит Рязанский Стефан Яворский, наверняка, со страху едва не обмер.

– Кому место сие берегут – не ведаю. Зато другое истинно ведаю. Ведаю, что батюшка мой и государь зело зол был и есть на священство наше. Не любит его. Не любит, и все тут! Поелику, мол, больно крепко за старое держится... Ну, а я, грешный, веру нашу древлеапостольскую люблю, и не только ея люблю, но и все старинство мне, какое из веков – любезно.

Ибо веками люди в земле нашей так-то живали, и еще века жили бы, и я чаю, у многих, коих здесь, в крепости вижу, такоже к старине души склоняются. Однако же – сидят и молчат, слово сказать бояться.

Ныне у нас тем, кто старине любезной прилежен, только

скорбеть да отчаиваться. Ибо – не на их улице праздник. А на чьей? Праздник – на той, где живут те, которые в отрочестве, может, ржаными пирогами с зайчатиною торговали, сподобились по случаю на глаза государю молодому и отцу моему попасть, а ныне... А ныне – парики и камзолы носят с золотою ниткою, и воруют, воруют, воруют у казны как токмо возможно... (Это был, как понимает читатель прямой намек на Меншикова. Но на слова эти полудержавный властелин отнюдь не испугался, по крайней мере, внешне. Только, наверняка, внутренне, для себя решил – что вот теперь-то уже точно царевичу жить осталось совсем ничего).

Между тем, царевич продолжал речь свою:

– А что до страха касася, то и я – боюсь. Боюсь и гнева Божьего, боюсь и за земные дела свои здесь отвечать. Ибо уже немало душ погубил – по причине малодушия своего. Но ныне вот решился сказать. И говорю. Я и боли всегда боялся; скажу, что с детства до ужаса боялся только угрозы розгой даже. А вот ныне, господа суд, докладваю вам, что еще в начале апреля, здесь недалеко, на мызе одной, сечен был безо всякого приговору, аки смерд подлый! И посему страх мой перед розгой зело поглушел. Уразумел я, что и боль проходит тоже, и Еклизиаст прав и здесь – как и всегда бывал прав и будет. А более мне сказать вам нечего господа суд... Только ныне воспоминаю вот что: когда через Вязьму домой уже ехали и толпа народу стояла по улице, то многие люди и плакали и кричали. Кричали, чтобы я, Государь при живом ца-

ре-батюшке, здоров был. Истинно говорю – как было. И стало быть – для народу подлого я и есть Государь, а кем для него батюшка мой приходится – про то... не ведаю. А за что меня в народе государем почитают – про то ведаю. Оттого и почитают, что николи не скрывал, что поборником старинного благочестия себя явил и являю. А народ благочестию всегда прилежен, был есть и будет. Оттого и кричали меня государем в Вязьме...

Господа суд!

Прошу у вас прощения нижайше и упреждаю: коли придется кому из вас меня на гибель обречь противу сердца, тешьте себя тем, что окромя вас будут и те, кои жалеть меня не станут. И таких будет больше...

Я все сказал.

35

Во время речи Алексеевой стояла просто тишина. Но когда он закончил – тишина стала мертвою, хотя, кажется, куда уж более...

И тогда со своего места вскочил Петр. Он и в продолжение речи сына вскакивал, порываясь прервать его речь, но видно, сам себя одерживал, потому что, скорее всего, дал себе слово – пусть, де, сын выговорится, скажет, что хочет без помехи.

Царь не просто был разъярен речью своего сына; в ярости его слышалось все: и очевидное сознание того, что мосты сожжены, и возмущение самую мыслью, что сын действительно хотел отцовской смерти, и величественное сознание сво-

ей правоты, и даже восхищение сыном – оно ведь тоже было – хотя бы за то, что так хорошо держал себя.

Тем не менее, Петр дал волю своему гневу.

– Зрите! Зрите, господа суд, как закорузвело сердце его! Помните, помните, что он говорил здесь! – Постепенно, однако, он взял себя в руки – Я сей же час уйду. А вы, господа суд, спросите свою совесть, закон, то, что понимает каждый из вас как справедливость, подумайте купно, и дайте письменно резолюцию вашу о каре, которую заслужил же этот мерзавец, умыслив против отца такое, о чем известно доподлинно!

Однако я чаю, что резолюция сия не будет последней. Последней будет суд над ним небесного Отца нашего. Вы же – только земные судьи. Прошу одно: чтобы вы не зрили на личность его, отцова царского сына, каковым он мне и останется, не зрите на то, что он моей крови и царевич, а зрите в нем только человека, нашего обыкновенного подданного, скажите свое слово по совести вашей и по закону. И... прошу такоже, чтоб приговор ваш был умерен и милосерд, насколько вы найдете возможным это сделать...

Полагаем, что последняя фраза сказанная Петром в полном смысле для истории. Кто-кто, а уж царь то точно знал каким будет приговор, а говорить мог все.

Нам же представляется важным в этом как раз месте поговорить с читателем о причинах твердости и самообладания, показанных царевичем на суде... То есть: от чего это всегда

столь робкий, нерешительный и даже трусливый молодой человек, буквально трепетавший при одном виде отца, и даже только от его имени, во время своей речи на суде стоял решителен и определенен настолько, что казалось, это совсем другой человек?

Историк Н.И. Павленко считал, что все дело в том, будто на суде все стали свидетелями «молниеносной вспышки озлобленности обреченного человека». И – не более того.

Конечно, с Н.И. Павленко можно отчасти согласиться, потому что осознание обреченности у Алексея было. С того самого дня, как Ефросиньюшка, возвратясь в пределы России, полной мерою выложила все Алексеевы «не без почвенные мечтания» – расчеты на смерть отца или на военный бунт русской армии в Мекленбурге, сыну стало наконец ясно, что надежды на помилование рухнули. И – более того – что само отцовское обещание помилования и даже его клятва – не более чем маневры, предпринятые для того только, чтобы заманить сына домой. Но в речи царевича перед судом ничего похожего на вспышку не было. То было слово обдуманное и яркое. Алексей для этой речи собрался.

36

Царевич выступил – и все. На допросы в суд его больше не вызывали. Похоже на то, что судьи собрались для того только, чтобы подписать приговор – и тем самым, в соответствии с расчетом Петра по крайней мере разделить с ним ответственность, дать отцу возможность уйти от единоличного ре-

шения, соблюсти хотя и едва видимую в тумане Российской правовой жизни того времени букву закона.

Но зачем же тогда рядом с камерой царевича в крепости соорудили застенок? Зачем обставили его по всем правилам пыточной практики? А затем только, чтобы пытками вырвать дополнительные признания у человека, приговор которому был предрешен. Такова она была, практика доброго восемнадцатого века, точнее – российская практика!

Что за стеною сооружали и для кого, думаем, для нашего узника тайной не было. Обливаясь страхом, он несколько часов слышал стук топоров за стеной. А когда стук прекратился, страхи царевича возросли еще более.

Стремясь, по крайней мере, отсрочить пытку, Алексей 18 июня назвал еще двоих своих людей – Авраамия Лапухина, дядю своего по матери и наиболее близкого в юности к себе человека – священника Якова Игнатьева. Читатель помнит, что даже слуга Алексея уверенно говорил своему господину что «царь Аврама запытает». И точно. Не пожалел шурина. Обоих: и Лапухина, и Игнатьева немедленно после доноса царевича арестовали, поставили под пытку, а с дыбы – несколько времени уже после царевича – тоже казнили.

37

Итак, Петр принял решение пытать сына. Зачем? Ведь вина Алексея с точки зрения отца была, и была бесспорной. Чего же легче: зачитать жертве приговор и поступить так, как в приговоре сказано. Но этого отцу было мало. Повто-

римся: нужно было до исполнения приговора, даже до его оглашения вырвать у царевича новые сведения и новые имена. А то, что это был пример досудебного наказания, – это отца совершенно не смущало. Хотя сына, как мы понимаем, и не судили даже – просто дали выступить и все. Защита, обвинение, состязание сторон, независимость суда – со всеми этими вещами в России вначале XVIII века реально знакомы не были.

19 июня 1718 года в полдень Алексея Петровича впервые ввели в пыточную.

Помещение это было небольшое и в нем уже находились, дожидаясь узника, несколько очень знакомых Алексею Петровичу людей; даже отец стоял среди них. Но ни к ним метнулся взгляд царевича раньше всего, а к коренастому, смуглому и черноволосому человеку в красной рубахе – к палачу.

Люди что-то говорили, и даже читалась какая-то бумага, но ничего не слышал Алексей. Ноги у него онемели, и если бы не дюжий солдат-приобретенец, который держал уже бывшего наследника престола чуть ли не за ворот, не давая упасть, то рухнул бы он на каменный пол.

Палач сделал навстречу только один шаг, а уже поплыло у Алексея перед глазами; пропал от страха и слух, и на глаза пала плотная серая пелена.

Он почти не чувствовал как его раздевали, связывали впереди руки (впереди, впереди, заметь читатель, не сзади!) и стали поднимать. Но это пока было ничто. Это была одна

только виска – когда связанные ноги не доставали чуть до пола.

И удар-то был не самый страшный, в треть силы только, но боль показалась жертве ужасной. Он был в памяти, может быть еще один или два удара. И все. Больше ничего не чувствовал. А очнулся от холодной воды, которой его окатили после всего.

И в пыточной уже никого не было. Даже палача. Солдат только на себе оттащил сеченого в камеру и со знанием дела уложил на постель – спиной вверх. Спросил громко:

– Слышишь меня?

– Слышу...

– Из двадцати пяти плетей тебе только дюжину выдали. Лежи и считай часы. Как пробьет шесть – отдадут тебе остаточек. Понял? А после еще лекарь придет. Жди. – И вышел. Но дверь запереть не забыл.

В шесть пополудни – экзекуция продолжилась. Но страху, – по крайней мере перед началом ее, у него уже не было. Равнодушно подчинился пока его на дыбу готовили – как будто и не его совсем. Но когда свистнула плеть, он опять сомлел сразу но, до того успел-таки рассмотреть, кто пришел свидетельствовать. Был здесь и батюшка опять, были и другие знакомцы: Федор Михайлович, Яков Федорович, Иван Иванович, Петр Андреевич... и еще заметил Шафирова. Был и последний из негодяев – Меншиков, не мог не быть здесь; но даже в таком своем положении царевич на него старался

не смотреть – настолько призрачал. Были и другие, помельче, но их он не старался запомнить...

Лекарь явился сразу, как ушли свидетели. Обмывал, мазал, бинтовал, дал попить чего-то, так что спать сразу захотелось. Погладил несчастного по голове, вздохнул и сказал уже почти спящему: «Tute hoc intristi, tibi omne est exedendum». Царевич знал по-латыни и, скорее всего, легко перевел эту фразу. Перевод был такой: «Это ты заварил, тебе все и съест придется». Но царевич докторской латыни уже не слышал. Он спал.

38

Так прошел первый «пытошный» день – 19 июня 1718 года. А сколько их будет впереди, и сколько ему еще жить на свете осталось – царевич не знал и знать не мог. Но мысль о том, что недолго еще – уже, уже сидела в его мозгу безвылазно, и сил, чтобы ее оттуда потеснить, – у него не было.

На следующий день в восемь пополудни действие повторилось, а два следующих дня – пытки не было.

Весь день 21 июня царевича активно лечили и кормили. Отец приказал. Так что утром следующего дня царевич был достаточно в силах, чтобы даже прохаживаться по камере. Но около десяти утра явился Петр Андреевич Толстой. Держал себя официально. Выложил на стол листы с новыми вопросными пунктами, а сам молча сел у окна.

Алексей хотел было спросить о Ефросиньюшке – где она, родила ли, и кто родился, но Толстой вопрос этот опере-

дил:

– Не велено мне на твои вопросы отвечать. А вот на сии, что письменно отец изложил, – изволь ответить сей же час. Ответишь – и я уйду. За дверьми уже лекарь дожидается.

Делать было нечего. Алексей сел к столу, чтобы читать пункты. Вздыхнул и подумал. Подумал: «Зачем это отцу надобно?» Опять вздохнул и принялся писать.

39

1. Вопрос: Что причина, что не слушал меня, и нимало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно, и ни в чем не хотел угодное делать, а ведал, что сие в людях не водится, так же грех и стыд?

Ответ: Моего к отцу моему непослушания и что не хотел того делать, что ему угодно, хотя и ведал, что того в людях не водится и что то грех и стыд, причина та, что я, со младенчества моего несколько жил с мамою и с девками, где ничему иному не обучился, кроме избных забав, а больше научился ханжить, к чему я и от природы склонен; а потом, когда меня от мамы взяли, также я с теми людьми, которые тамо при мне были, а именно Никифор Вяземский, Алексей да Василий Нарышкины [был], и отец мой, имея о мне попечение, чтобы обучался тем делам, которые пристойны к царскому сыну, также велел мне учиться немецкому языку и другим наукам, что мне было зело противно, и чинил то я с великой леностию, только б чтобы время в том проходило, а охоты к тому не имел.

А понеже отец мой часто тогда был в воинских походах, а от меня отлучение, того ради приказал ко мне иметь при-
смотр светлейшему князю Меншикову; и когда я при нем
бывал, тогда принужден был обучаться добру, а когда от него
был отлучен, тогда выше вышеупомянутые Вяземский и На-
рышкин, видя мою склонность ни к чему иному, только чтоб
ханжить и конверсацию иметь с попами и чернцами и к ним
часто ездить и подпивать, а в том мне не токмо претили, но
и сами то же со ною охотно делали.

А понеже они от младенчества моего при мне были, и я
обыкал их слушать и бояться и всегда им угодное делать, а
они меня больше отводили от отца моего и утешали выше-
упомянутыми забавами, и помалу-помалу не токмо дела во-
инские и прочие от отца моего дела, но и... его особа, зело
мне омерзело, и для того всегда желал от него быть в отда-
лении. А когда уже было мне приказано в Москве государ-
ственное управление в отсутствие отца моего, тогда я, полу-
ча свою волю (хотя и знал, что мне отец мой то правление
поручил, приводя меня по себе к наследству), и в большие
забавы с попами и чернцами, и с другими людьми впал.

К тому же моему непотребному обучению великий по-
мощник мне был Александр Кикин, когда при мне случался.
А потом отец мой много сердую о мне, и хотя меня учинить
достойна моего звания, послал меня в чужие края, то и там
я, уже в возрасте будучи, обычая своего не переменял; хотя
мне бытность моя в чужих краях учинила некоторую пользу,

однако же коренных во мне вышеписанных непотребств во-
все искоренить не могла.

2. Вопрос: От чего так бесстрашен был и не опасался за
непослушание наказания?

Ответ: А что я был бесстрашен и не боялся от отца мое-
го наказания, и то происходило не от чего иного, токмо от
моего злонравия (как сам истинно признаю): понеже, хотя и
имел я от отца моего страх, однако ж не такой, как надлежит
сыну иметь, но токмо чтобы от него отдалиться и воли его
не исполнять, о чем объявляю явную тому причину.

Когда я приехал из чужих краев к отцу моему в Санкт-
Петербурх, тогда принял он меня милостиво и спрашивал,
не забыл ли я то, чему учился. На что я сказал, будто не за-
был; и он мне приказал к себе принести моего труда черте-
жи. Но я, опасаясь того, [чтоб] меня не заставил чертить при
себе, понеже бы не умел, умыслил испортить себе правую
руку, чтобы невозможно было онога ничего делать, и, набив
пистоль, взяв в левую руку, стрелял по правой ладони, что-
бы пробить пулькою, и хотя пулька миновала руки, однако
ж порохом больно опалило; а пулька пробила стену в моей
коморе, где и сей час видимо.

И отец мой видел тогда руку мою опаленную и спрашивал
о причине, как пришлось. Но я ему сказал иное, а не истину.
От чего можно видеть, что хотя и имел страх, но не сынов-
ский.

3. Вопрос: Для чего иною дорогою, а не послушанием хо-

тел наследство (как я говорил ему сам), и о прочем, что к сему надлежит, спроси.

Ответ: А для чего я иною дорогою, а не послушанием хотел наследства, то может всяк легко рассудить, что я уже тогда от прямой дороги вовсе отбился и не хотел ни в чем отцу моему последовать, то каким же было иным образом искать наследства, кроме того, что я делал и хотел оное получить чрез чужую помощь? И ежели б до того дошло и цесарь начал то производить в дело, как мне обещал, и вооруженною рукою доставить меня короны Российской, тоб я тогда, не жалея ничего, доступал наследства, а именно: ежели бы цесарь за то пожелал войск российских в помощь себе против какова-нибудь своего неприятеля или бы пожелал великой суммы денег, то б я все по его воле учинил, так же министрам его и генералам дал бы великие подарки. А войска его, которые бы он дал мне в помощь, чем бы я достигать короны Российской, взял бы на свое иждивение, и одним словом сказать: ничего бы не жалел, только чтобы исполнить в том свою волю.

40

Вопросы поставлены – ответы представлены. И не трудно из этих ответов убедиться в том, что Алексей полностью капитулировал; ибо давал понять каждым написанным словом то, как прав был всегда отец, и как неправ был всегда он, сын. Алексей, как полагаем, имел надежду таким образом позицию отца сделать помягче. Попытка явно не удалась. Отец

своего отношения к делу не изменил, и бичевания сына продолжались, и новые вопросные пункты также формулировались.

Однако, 24 июня произошло событие, о котором следует сказать и особо и подробно. Потому что 24 июня 1718 года царевичу был зачитан смертный приговор.

Вот он, этот приговор.

41

Приговор министров, сенаторов, военных и гражданских чинов, за собственноручною подписью, по делу царевича Алексея 24 июня 1718 года.

1718, иуния в 24. По вышеписанного его царского величества именному и за собственноручным сего текущего иуня в 13 день данному указу о суде царевича Алексея Петровича, в противностях его и преступлениях против отца и государя его, нижеподписавшиеся министры, Сенат и стану воинского и гражданского ... в собрании в палате правительствующего Сената в Санктпетербурхе, слушав неоднократно выписки и подлинных, во свидетельства им объявленных его царского величества к Алексею Петровичу писанных увещательных писем, и его, царевичевой, руки на то учиненных на письме же ответов, и прочих в освидетельствованиях того дела принадлежащих и розыскных актов или записок, повинных его, царевичевых, собственноручных писем и изустных как государю, отцу своему, так и пред нами яко учрежденными по его величества изволению... (хотя им, яко его царского

величества самодержавию принадлежащим природным подданным по (правилам) государства Всероссийского, того чинить бы отнюдь не надлежало, но то все ни от кого, кроме Бога всемогущего, в зависящей и ни какими нравами описанной и определенной его царского величества самодержавной власти и воле по достоинству состоит. Однако ж, повинуюсь выше объявленному повелению царя и государя своего, то дерзнавение приемля), по здравому рассуждению и по христианской совести, непосягая и не похлебствуя и не смотря на лица, по прежде объявленным к сему делу приличным Божиим заповедям Ветхого и Нового заветов, священным писаниям святого Евангелия и Апостол, також и из канонов и правил соборов святых отец и церковных учителей (приняв притом в помощь рассуждение от архиереев и прочих духовного чина, при Санктпитебурхе по указу его царского величества собранных выше сего объявленное); також и по правам Всероссийским, а именно: по Уложению и воинским артикулам, по вышеобъявленным в деле статьям (которые права согласно со многих государств, а особливо древних римских и греческих цесарей и прочих христианских государев с правами) по предшествующим голосам единогласно и без всякого прекословия согласились и приговорили, что он царевич Алексей, за выше объявленные все вины свои и преступления главные против государя и отца своего, яко сын и подданный его величества, ДОСТОИН СМЕРТИ, потому что, хотя его царское величество ему, царевичу, в письме своем

с господином тайным советником Толстым и капитаном от гвардии Румянцевым от 10-го числа июля 1717-го из Спана писанном, обещал прощенья в побеге его, ежели добровольно возвратится, как он царевич, и сам то в своем ответном на то письме из Неаполя от 4-го дня октября того же 1717-го с благодарением объявляет, что он за данное ему в самовольном его (токмо) побеге прощеньем благодарствует, но как он и того себя тогда ж недостойно сочинил, о том купно при иных его преступлениях и противностях против государя отца своего довольно объявлено выданном о том от его царского величества от 3-го числа февраля сего ж году прежнем манифесте, а именно, что он поехал недобровольно.

И хотя его царское величество, милосердствуя о нем, сыне своем, родительски, приданной ему на приезде с повинною на Москве в столовой палате 3-го числа февраля аудиенции обещал прощенья и во всех преступлениях, однако учинить изволил пред всеми с таким ясным выговором, что ежели он, царевич, все то, что он по то число противного против его величества делал или умышлял, и о всех особах, которые ему в том были советниками и сообщниками, или о том ведал, без всякой утайки объявит, а ежели что или кого-нибудь утаит, то обещанное прощенье не будет ему в прощенье; что он, по-видимому, тогда приняв с благодарными слезами, обещал клятвенно все без утайки объявить и то потом и крестным и святого Евангелия целованием в соборной церкви утвердил.

Но хотя его царское величество и сверх того, в подтверждение тому, на другой день изволил ему, царевичу, то же все собственноручно при вопросительных о том пунктах, о которых в выписке объявлено, объявить (и в начале он их изволил написать почему, понеже вчерась прощение получил в том, дабы все обстоятельства донести своему побеге и прочего тому подобного; а ежели что утаено будет, то лишен будешь живота; на что о некоторых причинах сказал словесно, но для лучшего, чтоб очистить, письменно по пунктам ниже писанным); а при заключении, от его же величества на письмо в седьмом пункте: все, что к тому делу касается, хотя чего здесь и не написано, то объяви и очисти себя, как на сущей исповеди; ежели что укроешь, а потом явно будет, на меня не пеняй, понеже вчерась перед всем народом объявлено, что за сие пардон не в пардон. Но он, царевич, на то в ответном повинном своем письме отвечивал весьма неправдиво и не токмо многие особы, но и главнейшие дела и преступления, а особливо умысел свой бунтовный против отца и государя своего, и намеренный из давних лет подыск и произыскивание к престолу отеческому и при животе его, чрез разные коварные вымыслы и притворы и надежду на чернь, и желание отца и государя своего скорой кончины, о чем всем потом по розыскам явилось, как выше его сего в выписке объявлено, утаил; по которым его, царевичем всем поступкам и письменным объявлением и по последнему, от 22-го июня сего году собственноручному письму явно, что

он царевич, не хотел с воли отца своего наследства прямою и определенной дорогою и способы по кончине отца своего, государя, получить, но чиня все ему противности, намерен был против воли его величества, по надежде своей, не только чрез бунтовщиков, но и чрез чужестранную цесарскую помощь и войска, которые он уповал себе получить, и с разорением всего государства и отлучением от оногo, того, чего б от него за то не пожелали, и при животе государя отца своего достигнуть. И явно по всему тому, что он для того весь тот свой умысел и многие ему в том согласующие особы таил до последнего розыску и явного обличения в намерении таком, чтоб и впредь то богомерзкое дело против государя, отца своего и всего государства при первом способном случае в самое дело производить.

И тем всем царевич себя весьма недостойно того милосердия и обещанного прощенья государя, отца своего, учинил, что и сам он как в прибытии отца своего, государя, при всем выше упомянутом всех чинов духовных и мирских и всенародном собрании признал, так и потом при определенных от его величества нижеподписавшихся судьях, и изустно, и письменно объявил, что все выше всего в деле объявлено.

И тако по вышеписанным божественным, церковным, гражданским и воинским правам, которые два последние, а именно гражданские и военные, не токмо за такое уже чрез письма и действительные происки против отца и государя, но хотя токмо против государя своего, за одно помышление

бунтовное, убивственное или подыскание к государствованию, казнь смертную без всякой пощады определяет, коль же паче сие сверх бунтовного, малоприкладное в свете, богомерзкое, двойное, родителей убивственные намерения, а именно вначале на государя своего яко отца отечества и по естеству на родителя своего милостивейшего (который от иных лет его, царевичевых, паче нежели с родительским попечением и любовью ко всяким добродетелям его воспитал и к правительству и военным делам обучать и производить и достойно к наследствию такого великого государства с неусыпными трудами его сочинить тщился), таковую смертную казнь заслужило.

Хотя сей приговор мы, яко рабы и подданные с сокрушением сердца и слез возлиянием изрекаем, в рассуждении, что нам, как выше объявлено, яко самодержавной власти подданным, в такой высокий суд входить, а особливо на сына самодержавного всемилостивейшего царя и государя своего оный изрекать недостойно было, но однако же по воле его то сим свое истинное мнение и осуждение объявляем с такою чистою и христианскою совестью, как уповаем непостыдни в том предстать перед Страшным, праведным и нелицеприятным судом всемогущего Бога, подвергая, впрочем, сей наш приговор и осуждение в самодержавную власть, волю и милосердное рассмотрение его царского величества, всемилостивейшего нашего монарха.

Александр Меншиков

Генерал-адмирал граф Апраксин
Канцлер граф Гаврило Головкин
Тайный советник князь Яков Долгорукой
Тайный советник граф Иван Мусин-Пушкин
Тайный советник Тихон Стрешнев
Сенатор граф Петр Апраксин
Подканцлер и тайный советник барон Петр Шафиров
Тайный советник и лейб-гвардии капитан Петр Толстой
Сенатор князь Дмитрий Голицын
Генерал Адам Вейде
Генерал-поручик Иван Бутурлин
Тайный советник граф Андрей Матвеев
Сенатор князь Петр Голицын
Сенатор Михайло Самарин
Генерал-маеор Григорий Чернышев
Генерал-маеор Иван Головин
Генерал-маеор князь Петр Голицын
Ближний стольник князь Иван Ромодановский
Боярин Алексей Салтыков
Губернатор Сибирский князь Матвей Гагарин
Боярин Петр Бутурлин
Московский губернатор Кирило Нарышкин
Бригадир и гвардии маеор Волков Михайло
Гвардии Преображенского полку маеор князь Григорий
Юсупов
Генерал-маеор и капитан от гвардии Павел Ягужинский

От гвардии маеор Семен Салтыков
От гвардии маеор Дмитриев-Мамонов
Гвардии Преображенского полку маеор Василий Корчмин
Бригадир и генеральный ревизор Василий Зотов
Полковник Герасим Кашлев
Стольник Федор Бутурлин
Полковник Гаврила Норов
Акольнічий князь Юрья Щербатой
Санктпетербургский вице губернатор Степан Клокочев
От лейб-гвардии маеор Ушаков
От бомбардир капитан-поручик Скорняков-Писарев
От лейб-гвардии капитан князь Борис Черкаской
Архангелогородский вице-губернатор Петр Лодыженский
Полковник Иван Стрекалов
Азовской губернии вице-губернатор Степан Колычов
Гвардии капитан Петров-Соловов
От гвардии капитан Александр Румянцев
От гвардии капитан Семен Федоров
Генерал-полицмейстер и генерал-адъютант его царского

величества

Антон Девиер
Гвардии капитан Лев Измайлов
Гвардии капитан князь Иван Шаховской
От гвардии капитан Вельяминов-Зернов
Полковник Петр Савелов
Гвардии капитан Иван Лихарев

Гвардии капитан Иван Захаров
Гвардии капитан Алексей Баскаков
Стольник Дмитрий Бестужев-Рюмин
Полковник князь Василий Вяземский
От флота порутчик Иван Шереметев
Князь Сергей княж Борисов сын Голицын
Стольник князь Семен Сонцов-Залекин
От лейб гвардии капитан князь Григорий Урусов
Стольник князь Алексей Черкасский
Стольник Матвей Головин
Полковник Долгорукой
Стольник Леонтий Михайлов сын Глебов
Полковник князь Иван Борятинский
Стольник Борис Миронов
Степан Нелединский-Мелецкой
От флоту порутчик Василий Шереметев
Стольник Василий Ржевский
Полковник и от лейб-гвардии капитан Кошкин
Гвардии капитан порутчик Александр Лукин
Гвардии подпорутчик Степан Сафонов
Гвардии порутчик Федор Полонский
Адъютант Михаил Чебышев
От гвардии капитан порутчик Друмянт
Голянищев-Кутузов
Подполковник Иван Бухолц
От гвардии капитан Федор Митрофанов

От гвардии капитан Иван Карпов
От инфантерии полковник Степан Казадовлев
Полковник Иван Колтовской
Полковник и санктпетербургский комендант и от лейб-
гвардии капитан Яков Бахмеотов
Полковник Илья Лутковской
Полковник князь Михайла Щербатой
Полковник Артемий Загряской
Гвардии поручик Иван Козлов
Гвардии поручик Иван Бахметьев
Гвардии капитан Алексей Панин
От гвардии капитан Василий Поросунов
Гвардии поручик Федор Волков
Гвардии поручик Аврам Шавордин
Генерал-адъютант Иван Полянкой
От гвардий прапорщик Иван Веревкин
Гвардии подпоручик Александр Танеев
От гвардии и от бомбардир Василий Языков
От лейб-гвардии капитан поручик Пашков Егор
Обер-комисар Алексей Зыбин
Поместного приказу судья Кирил Чичерин
Генерал-квартирмейстер и обер-крикс-камисар Михайло
Аргомаков
От гвардии капитан поручик Алексей Бибииков
Подполковник Василий Титов
Подполковник Гаврила Козлов

Плац-подполковник Алексей Киселев

Подполковник Михаил Ашочков

Подполковник Наум Чоглоков

Подполковник Василий Батурин

Маеор Никита Скульской

Адмиралтейского баталиона маеор Кирила Пущин

Князь Федр Голицын

Князь Яков Голицын

От бомбардир подпорутчик Новокшенов

Гвардии подпорудчик Василий Иванов. Яж подписал вместо подпорутчика того же полку Василия Костелева по его прошению, что он грамоте не умеет Василий Новасильцов
обор-крикс камисар

Обор-крикс камисар князь Михайло княж Иванов сын
Вадбальской

Стольник князь Афанасий Борятинской

Стольник Андрей Колычов

Лейб-гвардии прапорщик Дорофей Ивашкин

Гвардии подпорутчик Михайло Хрушов и вместо прапорщика Афанасья Владычина

Гвардии подпорутчик князь Алексей Шеховской и вместо капитан порутчика Девесилова

Обор секретарь Анисим Щукин

Дьяк Иван Молчанов

Дьяк Семен Иванов

От гвардии капитан Емельян Маврин

Расправной палаты судья Афанасий Андреев сын Кузьмин-Караваев

Губернии московской виц-губернатор Василий Ершов.

42

Читатель познакомился с текстом приговора. Очевидно, что на первый взгляд его текст для читателя не содержит ничего нового в сравнении с тем, что уже известно. Документ представляет собой всего лишь пространное рассуждение в пользу точки зрения царя на всю историю с сыном. Но это только на первый взгляд. Приговор ценен нам и в том смысле, что в нем довольно ясно видна цепочка выводов, к которым суд пришел по пути к определению меры наказания для бывшего наследника российского престола. Цепочка эта выглядит примерно так.

1. Царевич рожден был для престолонаследия.
2. В детстве он воспитывался вдали от отца и в обстановке ненависти к нему.
3. Эта ненависть сохранилась и укрепилась в царевиче, несмотря на все стремления отца сделать сына продолжателем своего дела.
4. Царевич бежал в Австрию при поддержке некоторых своих сторонников первоначально с намерением дожидаться за рубежом смерти отца и сесть на трон по сыновнему праву.
5. Уже за рубежом он, царевич, получил возможность рассчитывать и на военную помощь Австрии, поскольку эта помощь была ему твердо обещана императором.

6. Рассчитывал царевич Алексей и на вероятный бунт русской армии, расквартированной в то время в Мекленбурге.

7. Когда царевич в Австрии был обнаружен, отец действительно клятвенно пообещал сыну, что никакого наказания ему не будет, если он вернется.

8. Царевич вернулся и был прощен. Но в ходе розыска выяснилось, что он не был игрушкой в руках других людей, как отец первоначально предполагал, а действовал сознательно в ущерб отцу и Российскому государству, в особенности в том, что он рассчитывал на мятеж в русской Мекленбургской группировке войск и на военную помощь цесаря.

9. Поэтому суд посчитал, что царевич заслуживает смерти, а царь, как самодержец, волен поступить как хочет.

Так суд осуществил логический поворот в оценке надежд и действий Алексея за рубежом – от прощения до обвинения. Причем, обвинение это было подкреплено подписями более ста людей, которые подписали бы любой документ, если бы этого захотел их повелитель и кумир – царь Петр. Другого варианта быть просто не могло.

43

Но ведь была еще и позиция духовенства?

Была. И в содержании текста приведенного нами выше приговора содержится упоминание о том, что «рассуждения от архиреев и прочих духовного чина» судьями во внимание принято. Так написано. Но на самом деле – даже следа внимания к позиции духовенства в приговоре нет. Но все же ин-

тересно: а как же «трактовали» духовные лица в отношении содеянного Алексеем Петровичем?

Они действительно ясно указывают на религиозные основания, которыми может руководствоваться отец, если захочет. Это, в сущности, именно совет царю, который Н.И. Костомаров определяет как «уклончивый, но замечательно мудрый».

Если бы царь захотел наказать сына казною, он мог бы воспользоваться Ветхим Заветом, который очень строго судил подобные Алексеевым помышления и деяния.

По Новому же Завету, если бы захотел простить сына, Петр должен был поступить подобно отцу в притче о блудном сыне или в поступке самого Христа по отношению к «жене-прелюбодейнице».

И нам становится ясно, какой совет в действительности был дан отцу духовными лицами: совсем не «замечательно мудрый», а самый что ни на есть угоднический. На любое решение царя церковные авторитеты заранее заготовили религиозное обоснование.

Так что – и судьи светские, и судьи духовные в деле царевича определенно показали полную рептильность по отношению к воле Его Величества.

44

С утра 24 июня 1718 года судьи подписали приговор. Единогласно. Приговор давал Петру п р а в о казнить сына. Но сам осужденный ничего еще о приговоре не знал. В тот же

день – с десяти до двенадцати часов в своей персональной «пытошной» царевич получил большую половину из назначенных на этот день пятнадцати ударов плетью.

Затем узнику дали передохнуть.

Только после обеда, скорее всего, часа в два пополудни, к нему в камеру явилась группа из людей, царевичу вполне известных, а именно: ненавистного Светлейшего – А.Д. Меншикова, Петра Андреевича Толстого и Александра Ивановича Румянцева, которые его, царевича, домой из Неаполя привезли, да Гаврилы Ивановича Головкина, канцлера. Они-то и принесли царевичу приговор. Царевич Алексей встретил их стоя. И, наверное, изо всех сил пытался сохранить достоинство. Но содержание приговора оказалось для него настолько неожиданным, что царевич потерял сознание. Гаврила Иванович, которому, по всей вероятности, была поручена миссия оглашения приговора – выполнил ее, дочитал текст до конца.

Эти люди – приговорщики, скорее всего были разными по темпераменту и характеру. Но, думается, что было у каждого из них то качество, которое и собрало их в одну группу – вошедших в камеру царевича в два или три часа пополудни 24 июня 1718 года. И это качество каждого было отлично известно отцу. Потому-то он и соединил их вместе. Все они относились к царевичу без малейших признаков симпатии.

Они вошли к нему как носители рока – строгие-престрогие, даже старались на Алексея не смотреть, не то чтобы

встречаться с ним взглядами, а по прочтении – ни даже на полминуты не задержались, хотя царевич и лежал на полу без памяти, и над ним уже колдовал лекарь.

Зададим вопрос: почему царевич не выдержал чтения? Почему перспектива смертной казни буквально сразила его? Ведь он, как человек умный, наверное, не мог не предполагать того, что груз его преступлений на смертную казнь вполне «тянет», а отношение отца последнее время практически не давало никаких надежд. Но царевич, видимо надеялся. Он надеялся на то, что отец все-таки снизойдет; что у него дрогнет сердце и не поднимется рука на родного сына. Ошибся царевич. Ошибся сын. Отцовское сердце не дрогнуло. Отцовская рука на сына поднялась.

45

Приговорщики покинули сумрачный каземат. Тепло и солнце вернуло Александру Даниловичу Меншикову хорошее расположение духа. И он, пока они шли пешком к своим лошадям, заговорил напористо и громко:

– Приуныли? Нечего, нечего! Не ты ли, Гаврила Иваныч, женитьбу царевичеву готовил, дабы ни отцу, ни сыну никакого ущемления не случилось? И как преуспел! А что вышло? И твоей вины в том нет! А вы – господа конвоиры-караульщики? Не вы ли этого тихоню и изменника по всей Империи искали? И ведь нашли! И чрез препоны дьявольские вернули в Отечество, к отцу родному – на суд и расправу!

Будьте покойны: ежели б по Алешкиной воле все вышло

– он бы не стал нас по головкам гладить! Тебе, Гаврила Иванович, не миновать было б ссылки куда подальше и подолее, а имущество твое он бы на себя взял. И сыну бы твоему досталось! А вас (Меншиков обратился к Толстому и Румянцеву) беспрерывно упек бы на Камчатку или – вроде награды – в Соликамск.

А уж мне-то – горше всего было бы. На дыбе бы сдох... А так – мы богоугодное дело сделали. Злодея наказали. Царскую волю исполнили. Так что не грустите. Езжайте, Гаврила Иванович, втроем к тебе домой. А я только на час к Благодарителю – и тут же к вам. Отобедаем, выпьем, закусим... Сотрем все как следует быть!

46

Царя Александр Данилович обнаружил на наиболее вероятном месте – на верфи, где со дня на день готовили к спуску на воду большой фрегат. По этой причине на стройке был полный аврал. Петр был возбужден и деловит.

Спросил резко:

– Ну, что? Рассказывай!

Меншиков было стал с улыбкой (забыл стереть с лица) – повествовать, как все было, – даже и то, как царевич грохнулся в то время, как Головкин читал приговор. Но благодаритель веселье разделить не пожелал. Сверкнул глазами, спросил:

– Лекарь на месте?

– На месте, на месте, государь! Да и обмер-то наш аре-

стант токмо на краткое время. Быстро очухался.

– Так ли?

– Точно так, государь! – ни мгновения не колеблясь, солгал Меншиков, ибо самого того, как Алексей пришел в себя, – не видел. Но сказал это так уверенно, что царь, очень хорошо знавший Данилыча, тут же усомнился:

– Так ведь ты и соврешь – недорого возьмешь... Ну да ладно... Сделали дело – и хорошо.

– А что дальше будем делать, а, мин херц?

– Что? Вейде, вон, предлагает уговаривать... Чтобы, значит, сам яд выпил.

– Не согласится...

– Отчего?

– Духом слаб.

– Это да...

– А когда? Завтра, что ли?

– Нет, не завтра. На завтра он мне еще живой нужен.

– Для чего?

– Он долго что то выписывал из этого... как его... из Барония... Что-то он понавывписывал... Узнать хочу.

– Воля твоя, государь... А только не надо бы...

– Отчего?

– Понаврет, пожалуй.

– Все равно, хочу... Может он мне завтра скажет то, чего я не знаю.

– А кого пошлешь?

– Григория пошлю. Скорнякова...

– Что же... А Алешку и завтра сечь будут?

– Завтра? Нет, завтра не будут. Завтра к нему Скорняков идет. А сегодня ему дадут еще семь плетей. Должок остался...

Сколько ни удивлялся Меншиков своему повелителю, а удивляться, часто и без меры, все место оставалось – и каждый день, да и не один раз на дню. Вот и теперь Данилыч поразился – насколько всего много у Благодетеля, если хватает сил и на строительство города и кораблей, на раздумия – сколько и куда нужно дать денег, или, вот, сколько еще плетей терпеть приговоренному к смерти сыну. Сколь ни циничен и алчен был Меншиков, но и он сейчас в некоторой растерянности думал – зачем наказывать плетями того, кто уже приговорен к смерти? Но задавать царю вопрос этот Александр Данилович не рискнул. Себе дороже. Неясно, как царь ответит на скользкий вопрос. Может, рассмеется весело, может, по плечу потреплет, а может и со всего маху в зубы съездить. Все может быть. Молчать надо. Молчать. Молчать и царскую волю исполнять. Уж это-то светлейший хорошо понимал. И знал. Лучше многих. Потому что и ласку царскую, и гнев страшный, не обузданный Александр Данилович Меншиков на себе испытывал не раз.

По цареву приказу Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева пробудили ото сна, считай, еще ночью. И при-

везли к царю – на верфь, где, напоминая, спешно готовился к спуску на воду девяносточетырехпушечный фрегат. Работы шли и ночами – при свете смоляных факелов.

Перекрикивая страшный шум, Петр прямо в уши озадачил Скорнякова:

– Ступай в крепость*, посмотри, как там Зверь наш обретаётся. А буде возможно станет – расспроси его хорошенько, али лучше пусть сам дробно опишет, что он у Барония в книге выискивал да выписывал. Мне знать надобно. Уразумел? Пошел!

... Ехал Григорий в крепость – и тоже не мог не думать, умный ведь был человек; думал и изумлялся своему царю, все силился дознаться для себя – что за человек – его царь Петр.

И не только современники Петру поражались. И много после смерти его, да и сейчас, даже. Преобразователь России и ныне порождает у людей и восхищение, и ненависть, и гордость и еще немало других противоречивых чувств. Кажется, даже, что перо само торопится определить – что за личность был Петр – примерно так, как это сделало перо Михаила Погодина: «Судите же теперь, милостивые государи, что это была за натура, и какова была крепость в его голове, неутомимость в его теле, твердость в его воле, и какова была огнеупорность в его сердце, когда он в одно и тоже время мог пытаться сына и мучить множество людей, углубляться в великие умственные вопросы и разбирать судебные тяжбы,

определять отношения европейских государств, вести счетные дела, мерить лодки, сажать деревья, думать о собирании уродов и пировать со своими наперстниками?»

...Пошел Скорняков в раскат и сразу почувствовал носом тошнотворный запах горячего свечного сала, пота и помоев и прямо столкнулся с двумя солдатами, которые пыхтя и толкаясь выволакивали наружу здоровенный ушат с нечистотами, издавна именуемых в русских тюрьмах «парашею» и спросил у лекаря, который с утра уже попользовал царицыну спину и собирал свое лекарское имущество, готовился уйти.

– Как о н?

– Для дыбы не годен.

– Мне его допросить надобно. Собственный приказ Его Величества.

– Допросить можно.

Немец плохо говорил по-русски, сильно оглушал звонкие согласные, но Григорий Григорьевич много раз имел дело с немцами и легко их понимал. Кроме того, он отчетливо сознавал свою миссию. Поэтому, не выжидая даже малого времени, он велел отпереть камеру, заметив что двое солдат с палашами наголо вошли молча следом и встали у дверей.

В комнате был полумрак. Дневной свет проникал только в маленькое окошко под потолком. Однако, горела свеча в оловянном подсвечнике, разгоняя светом своим место, где находился Алексей Петрович.

Царевич лежал не на куче соломы и не на полу, как можно было ожидать, а на деревянной простой немецкой кровати с тюфяком. Белье тоже было. Не крахмальное, не с кружевами, но было.

На столе – остатки еды. Что там было – в остатках – капитан-поручик особо не рассматривал, но точно видел – тарелки, белые немецкие, и хлеба серого краюха от каравая.

Царевич лежал на животе. Спина его была аккуратно перевязана. Он спал.

Солдат без окрика, но настойчиво потряс его за плечо – разбудил. Царевич открыл глаза и повернул голову. Присмотрелся. Спросил – сипловато со сна:

– Кто пришел? Не признаю...

– Сорняков, капитан-поручик. По государевой воле.

– А... Ну сказывай, какая же будет государева воля?

– Государь велел спросить у тебя о выписках, какие ты из книги Барония делал.

– Не нашли, значит?

– Этого я не ведаю.

– Не нашли. – с видимым удовлетворением сказал Алексей. Ну, а коли не нашли, то и разговаривать не о чем. Не помню я. Давно это было. Выписал не мало. А чего выписал – точно не помню. Не помню и все. Так и скажи... Так и скажи... Своему царю батюшке.

Скорняков мгновенно представил, что будет, если он при-

несет отцу такой вот ответ сына. Представил – и принялся уговаривать Алексея, унизившись до лести:

– Алексей Петрович... Твое Высочество! Возьмем высокую милость свою, послушай, что скажу... Ведь тебе-то уж натура батюшкина известна лучше, чем кому... Ведь он, явись я к нему ни с чем, пожалуй, что и прогонит меня...

– Вестимо, прогонит! И хорошо сделает...

– Так ведь я перед тобой и не виноватый вовсе...

– Не виноватый?.. Ах ты, пес смердячий, как-то можешь ты таковы слова мне говорить? Не ты ли матушку мою выдал отцу с головы до пят, а? Я все знаю!

– То была служба... Не мог я иначе.

– А теперь что, не служба? Служба и есть! Вот приедешь пустым, – узнаешь каков он, батюшкин гнев-то.

– Да знаю я его гнев.

– Боисся?

– Боюсь...

Длинная пауза.

Наконец, царевич сказал негромко:

– Вижу, что боишься... Ладно. Скажу про Барония. Но службу потребую. Сослужишь?

Григорий Писарев на дверь оглянулся – посмотреть, тут ли солдаты. Но солдат в камере не было. Вышли. И ответил:

– Сослужу. Задавай свою службу.

Царевич сказал:

– Солдаты за порогом ничего не услышат. А и услышат –

не скажут. Слушай. Найди случай проведать матушку. Скажи ей... – мгновенно подступившие слезы не давали говорить, но царевич все же говорил. – Скажи ей, скажи – сын –де ее, Алексей, царем не стал, а... а приказал долго жить. Скажи тако же, что виноват я пред нею безмерно. И попроси, чтобы она за мою... грешную душу Бога почаще молила. Мне за ее молитвой на том то свете легче будет... Уразумел?

– Уразумел. Как не уразуметь... Случай станет – исполню твою службу... Ну, а что Бароний-то?

– Бароний? А сам-то ты его книгу читал?

– Признаюсь, не читал. Читать у меня нынче времени нету. И раньше не было. И вперед – вряд ли будет.

– Записывать будешь?

– Беспременно.

– Садись за стол. Бумага есть?

– Есть.

– А мне вот ни клочка не оставили... Перья и чернила есть. А бумаги нет. Садись, пиши. Я тебе диктовать стану.

«Я, Григорий Скорняков-Писарев, от гвардии капитан-поруччик, так?.. От гвардии поруччик по государеву указу взял ответ у... у Алексея Петрова Романова о выписках, какие тот Романов делал из книги Римского летописца Барония. Но много помнить из того, что выписывал, Алексей Романов не помнит, поелику от казней телесных память и сил немало потерял. А помнит только, вычитав у того Барония в книге, что не цесарское дело – вольный язык унимать, и не

иерейское дело – что разумеют – не глаголити»

Это все будет с тебя, Григорий. Неси это царю. Дай сюда бумагу-то. Подпишу... Вот теперь-то уж подлинно все. Помни, что обещал. Уходи, не маячь тут. Мне спать надо. Сил набираться. Да... Оставь мне бумаги осьмушечку. Хочу напоследок чиркнуть. Дашь? Вот спасибо... Ну, будь здоров, пес смердячий Григорий...

49

Петр прочел бумагу от царевича, когда ее Григорий подал, как мы уже знаем, быстро, но внимательно. Хмыкнул, сказал только.

– Ишь ты... – И положил ее за обшлаг рабочей куртки, в которую был одет в тот утренний воскресный час, стоя за станком, и что-то такое вытачивая.

Остановил станок. Сел на стул. Быстро оглядел Григория с ног до головы. Но сесть не предложил. Хотя и стул свободный в комнате был. Не торопясь набил трубочку, закурил. Спросил:

– Как он там?

– Живой. Спина, почитай, вся сдернута. А так – ничего... – Григорий, пока разговор только начал раскручиваться, стал было загодя соображать – говорить или не говорить о просьбе царевичевой, и решил не говорить, хотя и понимал – задаст Петр прямой вопрос – не удержит Григорий того о чем просил его царевич, выложит.

– Ну, а от себя он у тебя ни о чем не просил? (Что он,

ясновидец, что ли? – не пытаясь даже противиться страху, подумал Григорий).

– О чем же... Не знаю... – Григорий потерял уверенность и Петр немедленно это почувствовал, засмеялся:

– Давай, давай, Гришенька, сказывай, о чем было у тебя прошено... Ведь было?

– Было государь. Врать тебе не смею.

– Врать грешно. – согласился Петр весело. – А господину своему врать – то грех двойной. Говори. Говори, не бойся!

– Просил царевич, если мать-де увижу, сказать ей, что сын-де долго жить приказал. Просил ее молиться почаще за его душу грешную. Прощения просил. Винился пред матерью сильно.

– Ну, а ты? Согласился?

– Согласился...

– И как думаешь исполнять?

– А никак...

– Как так?

– А так... Я ведь не ведаю, где теперь... где теперь мать-то... А если и сведаю, что могу? Своею волею поехать у меня права нет...

– Нет. – согласился Петр. И продолжил, размышляя как бы.

– Но ведь и пошли я тебя сейчас на Ладогу – не захочет, поди, Елена даже видеть тебя, а не то что разговаривать. Так? Ты ведь ей теперь враг. Черт тебя дернул дознаться тогда в

Суздале того, что величали ее государыней, да и про любовь ее грешную...

– Правда твоя, Государь...

– Но ведь и волю последнюю приговоренного исполнять надобно... Ведь надобно?

– Как прикажешь...

– Вот, вот. Сей час и сей же день ты в Старую Ладугу не поедешь... А вот недельку спустя, – пожалуй. Сделаем дело... Спровадим на тот свет сына моего, и двинешь. Я сам тебе скажу – когда можно будет.

– Понял, государь.

– Понял? Ты, я знаю, понятливый. Хотя дела, кои я тебе поручаю – не всегда чисты. И не каждый за них возьмется. А ты – служишь. И хорошо служишь. Потому и надежда моя на тебя крепкая. У меня ведь таких как ты – не так много... Государское дело тяжкое, но покуда есть помощники – как ты – и мне легче. Но какое б ни было дело твое – грязное, гадкое, ты оправдание всегда имеешь и ссылку полную на меня: царь-де приказал, и все тут. А вот на кого мне ссылаться? На кого мне ссылаться, когда ответ держать придется перед Отцом нашим небесным? Эх!.. – Горестно вздохнул царь и вернулся ко станку. Сказал, напоследок, не оборачиваясь:

– Ступай. Завтра сам в крепости буду. Погляжу, как и что.

50

Тайна дела царевича Алексея Петровича была сугубой, но удержать эту тайну за стенами крепостными не удалось.

Слухи загуляли и среди народа, и в имущих слоях, и среди иностранцев даже, – причем, слухи самые причудливые. Больше того. Если быть справедливым, – возможные перепитии судьбы царевича обсуждались иностранцами, жившими в России еще до бегства Алексея. Отто Плеер, известный уже нам цесарский резидент при царском дворе, еще до бегства царевича, в ноябре 1715 года доносил в Вену буквально следующее: «Я уверен теперь, что царь принял намерение исключить от наследства старшего своего сына, так что мы некогда увидим Алексея постриженным, заточенным в монастырь и принужденным проводить остаток дней своих в молитве и псалмопении».

А уж теперь то – после того, как Алексей бежал, после того, как его приговорили к смерти, иллюзий по поводу будущего несчастного царевича не было почти ни у кого. Вопрос был только в том – когда и как царевичу прекратят его жизнь на земле. Причем, не было разногласий и по поводу того, по чьей воле это произойдет. Все знали, что русский царь вполне способен на сыноубийство. А то что сам Петр постарается переложить это на плечи других, ничего в конечном счете не меняло.

51

Двадцать шестого июня, в восьмом часу пополудни в крепость съехались: государь Петр Алексеевич, А.Д. Меншиков, П.А. Толстой, А.И. румянцев и И.И. Бутурлин. Немедля все вошли в камеру царского сына – не менее, а может быть

более суровые, чем те, которые явились сюда два дня назад – читать осужденному приговор.

Что и каким по счету чутьем Алексей почувствовал, но почувствовал что-то... Ибо сполз с кровати, бросился на колени перед отцом и как всегда в таких случаях, которые мы уже не раз красочно описывали, заплакал, запричитал и даже следов того самообладания, которое он показывал еще вчера капитан-поручику К.Г. Скорнякову-Писареву – не осталось вовсе.

Сын умолял отца простить его; уверял, что всегда его любил и любит; что это все недруги отцовы, и его, Алексея недруги хитро и подло ссорили отца и сына друг с другом... И еще – просил снять с него проклятье, благословить на будущую жизнь и молиться за него, за Алексея.

О каком проклятии говорил сын, ползая в ногах у отца?

Мы знаем определенно, что отец не раз угрожал сыну проклятьем, но о самом проклятии – не знаем ничего. Остается только предположить: это сын был уверен что отец угрозу реализовал. Иначе, как объяснить эту страшную череду несчастий и неудач, которая обрушилась на Алексея в 1718 году? Без отцовского проклятия тут явно не обошлось! Так, скорее всего, думал Алексей Петрович.

Однако возвратимся в крепость, где Алексей продолжал причитать и ползать в ногах у отца, причем остальные вошедшие молчали.

Наконец, отцу это коленопреклоненная картина надоела

– Молчать! – крикнул он. Царевич тотчас же прекратил рыдать.

– Поднимите его!

Царевича подняли и посадили на кровать.

– Вейде явился?

Меншиков выглянул из камеры:

– Здесь Вейде.

– Так. Все – вон! – сказал отец совершенно спокойно. – Нам с сыном поговорить надо. Секретным образом. По-родственному.

Спутники Петра, толкаясь в дверях, быстро вышли вон.

Царь еще и сам открыл дверь, поглядел, – все ли вышли, закрыл и вернувшись, сел рядом с сыном – на кровать.

Последний разговор отца и сына начался. Хотя мы полагаем что разговор был, в действительности его, может быть и не было. Но мы ведь не делаем строгое историческое исследование. Так что...

52

– Болит спина-то?

– Болит...

– Пользуют тебя?

– Пользуют...

– Кормят хорошо?

– Хорошо. Спасибо.

– Нд-а... Вот ты сейчас тут плакал, помиловать просил...

А ведаешь ли, что уже не один человек по твоему делу жизни

лишен? Ведаешь?

– Ведаю...

– А их вина куда меньше твоей будет. Они ведь слуги только. Что ты велел, то они и исполняли. А коли тебя помилую – вся вина на меня падет. Скажут, мол, царь своего сына выгородил. А? Ведь скажут?

– Не знаю.

– Знаешь... Еще как знаешь. Я ведь, Алешенька, и без твоего дела так грешен, так грешен, что и сказать нельзя... Ну, положим, помилую я тебя. Помилую. Еще можно. Сниму с плахи. Но других-то уже не снимешь... Да и вина твоя, сын, не простимая, сам знаешь. Хотя – с плахи снять тебя можно еще. Можно... За дверью стоит генерал Вейде. Знаешь его?

– Знаю...

– Хороший слуга. Очень хороший. У него сейчас некий пузыречек имеется... Уразумел?

– Уразумел...

– Выпьешь ближе к вечеру – и все. И похоронят тебя похристиански. Слово даю. Ну?!

– Боюсь я... Ведь это – самоубийство...

– Ты что, моему царскому слову не веришь?

– Как же я... Как же я... могу тебе верить, когда ты меня обманул. Сказал, что не будет мне никакого наказания, а сам – что? И розыск начал, и судил, и к смерти приговорил.

– Так... Обвиняешь меня? А ведь приговорил тебя не я, а суд большой. Больше ста человек. Ты сам ведь подписи ви-

дел.

– Видел... А кто те судьи? Все твои люди. Разве они могли сказать хоть слово супротив тебя? Они – тоже слуги рьяные. И волю твою исполнили в точности. Так что – т в о й этот приговор... А суд – это так, для омовения рук.

– Умен ты, Алешка. Я всегда это знал... Ну дак что? Выпьешь пузырек?

– Боюсь...

– Ну как знаешь... А я таки тебе его оставлю... – И от двери громко закричал наружу:

– Вейде! Вей-де! Иди сюда!

От двери вернулся, держа в руках крошечную скляночку. Откупорил. Понюхал. Покривился несколько лицом. Снова закупорил. И положил пузырек под подушку.

Сделавши все это – царь вышел.

Но очень скоро, спустя самое краткое время, – царевич не успел даже дух перевести после нелегкого разговора с отцом, в камеру снова вошли двое дюжих солдат.

Не обращая ровно никакого внимания на стоны и слабое противодействие Алексея Петровича, они подхватили его под руки и чуть ли не волоком потащили его в пытошную.

Все эти утренние гости и батюшка в том числе, оказываются никуда не ушли еще. Они молча ждали еще чего-то.

Послышался батюшкин голос:

– На виску!

Повис царевич – руки вверху связаны; ноги – едва до пола

достают. Но достают...

– Пять! – крикнул отец.

– Раз! (Господи, как же больно!)

– Два! (Когда же конец-то?)

– Три! (Ох! И повис царевич кулем. Обморок, стало быть).

Но отец на это внимание не обратил.

– Четыре! Пять!.. Посмотрите, что с ним!?

– Обморок, государь

– Священника сюда! Пусть примет исповедь, приобщит и все что надобно сделает. – И пошел к выходу. Но на пороге Алексеевой камеры остановился, оглядел ее, ничего не сказал и пошел наружу. А остальные – за ним.

53

Царевича принесли в камеру, положили на кровать и послали за священником.

Было близко к полудню.

Солдаты убирали со стола еду, оставшуюся после завтрака царевича и тихо переговаривались:

– Как думаешь, казнит?

– Не успеет, чаю.

– Хорошо бы...

– Отчего хорошо-то?

– Так. Негоже, когда отец сына убивает...

– Тихо ты!

– Да никого же нет...

– А он? (кивок в сторону кровати). Ведь слышит?

– А и слышит да не скажет.

– Раз исповедь принять приказал – не может казнить.

– Эх, удумал! Очень даже может...

– Тихо! Идет кто-то...

Явился священник – отец Федор, настоятель крепостного собора Петра и Павла – в полном облачении. Молча, одними глазами спросил: «Где?»

Его провели в камеру. Потом, спустя краткое время явился Ушаков.

– Ну, что?

– Исповедуется.

– И ладно. А я – того... Буду навещать. Приказал: «Смотрите тут!» – и исчез. Прошло еще какое-то время. Наконец вышел священник. Тяжело вздыхал. Лицо было от слез мокрым. Сказал тихо:

– Отошел раб божий Алексей. Отмучился. Я – все что надо совершил. – И ушел. Но мы знаем: ушел не с пустыми руками: нес за пазухой осьмушку бумаги. А что царевич уже слабеющей рукой на той бумаге начертал – отец Федор не ведал. Но готов был исполнить последнюю волю Алексея Петровича – передать ту осьмушку, запечатанную хлебным мякишем Скорнякову. Умиравший сказал, что Скорняков тот знает, что с письмом делать далее, и сделает. Крепко обещался.

Потом еще раза два или три прибежал Ушаков. Весё-ёленький. И водочкой от него попахивало. Угостился уже

где-то, значит.

54

Оба солдатика вошли к Алексею едва пробило шесть. Царевич не дышал. И сердце не билось; и зеркальце маханькое царевичево, что у него в кожаном кармашке на кровати в головах висело – даже чуть не замутилось. Но хотя минута во все скорбная была, солдатика наши, пока никого еще не было, улыбались друг другу – почти счастливые. Знали, чему улыбались: тому, что до казни не дошло, что царевич Алексей Петрович не злодеем помер.

Когда же снова явился Ушаков, то при виде мертвого даже радости на лице своем не скрыл; докладывать царю не пошел – побежал. Но только после того, как что-то торопливо поискал и нашел под подушкой умершего. А что искал, и что нашел – то солдатика сами не видали...

Потом уже, после Ушакова и другие приходили – удостоверить. И лекари тоже. Но отец тогда не пришел.

А что до Ушакова касательно, то после крепости он с вестью о смерти сына к царю зело торопился: остановил даже на улице знакомого офицера, ехавшего верхом на свежей лошади. Отдавая ему своего, вконец заморенного мерина, сказал только:

– Тороплюсь, милоч, по государевой воле тороплюсь. Не взыщи.

А поскольку Ушаков чином был выше, офицер, еще и зная о близости Ушакова к царю, перечить не стал – отдал коня

безропотно.

55

Караульный солдат-приобращенец у жилья царского, на вопрос – дома ли Государь ответил то, что и должен был ответить:

– Не ведомо.

– Ты скажи там – Ушаков, капитан гвардии, по воле Его Величества явился и важную весть принес.

Караульный, оставя на месте второго (караул был парный), сам побежал докладывать. Возвращался скоро, на бегу издаля руками замахал, – дескать, «пропустить»! И тогда побежал уже сам Ушаков – искать Благодетеля в доме.

Нашел. В садовой беседочке. Государь сидел и курил свою трубочку. Увидев Ушакова – встал, не поленился, даже подошел быстро:

– Ну!?

– Преставился царевич Алексей Петрович... Почил в Бозе...

В сумерках выражение лица царского Ушаков не видел. А вот ладонь царскую – чуть ли не под носом своим – почувствовал. Она сильно пахла табаком.

– Давай!

И, поскольку Ушаков медлил, повторил нетерпеливо:

– Пузырек давай!

Положил его в карман. Хлопнул Ушакова по плечу:

– Пива хочешь?

И развернул гонца лицом к столу, где стояла в одиночестве белой глины саксонская здоровенная пивная кружка.

– Пей! – И заметив, что Ушаков медлит, еще и подогнал:

– Пей, говорю. Или ты из царской кружки пить гребуешь?

И Ушаков стал пить из царской кружки. Царское пиво было очень хорошее, прохладное, с легкой горчинкой. Такого пива Ушаков больше ни разу в жизни не пивал.

– Э-э! Будет с тебя! Оставь мне хоть глоток. – Отнял кружку и отпив из нее немного, велел:

– Садись!

Сам сел напротив тоже. Вынул из кармана пузырек открыл, потряс над полом.

– Видал? Пустой! Понял?

Ушаков понял. Пузырек пустой, значит, царевич принял яд.

– Это я, отец родной, взял грех на душу свою. Я – пузырек дал. Понял? Это я, отец, своего сына – негодяя и изменника пожалел, с плахи снял, понял – Петр сделал здесь немалую паузу, как бы давая Ушакову время твердо усвоить сказанное им. И продолжил. Другим тоном. Спокойно:

– Получишь чин и двадцать золотых от меня. И молчи, ради всего святого молчи, понял? Говори что угодно, но о яде молчи. Это будет самая большая тебе от меня тайна. Если начнут слухи гулять, что отравили мол, – сразу молись Богу. Понял?

– Слушаюсь государь! – От страха Ушаков даже после цар-

ского пива протрезвел, как и не пил. Один страх остался. Но он все-таки ответил:

– Так ведь у нас слухи – что отравили – непременно пойдут. Как ни умер, а слухи, что отравили – будут. Как хочешь...

– А я проверю... Коли просто людская молва – будешь жить покойно. Но коли от тебя все пойдет – молись Богу. А я тебе обещаю твердо: ни слова и никому не скажу, пока жив буду...

56

Весть о смерти Алексея Петровича, как ни старались «вверху», чтобы она за ворота крепости подольше не выходила, тем не менее очень скоро пошла гулять по городу.

Но никаких общепонятных действий, какие у нас принимают обычно широким порядком, когда человек умирает, не совершалось. Хотя узким порядком все шло обыкновенным образом. Только не все всё знали.

На соборной колокольне зазвонил колокол – как по покойнику.

Капитан Бахметьев, комендант Петропавловской цитадели приказ отдал двум своим гарнизонным солдатам-плотникам изготовить гроб на очень высокого человека.

Соборный священник отец Федор, тот самый, кто приобщил Алексея накануне святых тайн и исповедовал, обмыл и обрядил покойника.

А уже со следующего утра гроб с телом Алексея Петрови-

ча был помещен в «губернаторских хоробах», кои находились совсем рядом с собором во имя Петра и Павла. И кто-то уже ко гробу наведывался. Но полной известности не дали.

Более того. Траур объявлен не был. А было, в частности, как бы мы сейчас сказали «по дипломатическим каналам» извещено, почему никакого траура и не должно быть: потому что царевич умер преступником.

Вспомните, как радовались два солдатика, когда убедились что Алексей Петрович умер до казни. Они радовались тому, что царевич умер не как преступник, то есть не был казнен. А правительство, с ведома, и, конечно же, по позволению царя, объявило, что Алексей Петрович – преступник. Что и говорить – красноречивейшая разница в оценках.

Отец мертвого сына еще не видел. Зато Светлейший князь Меншиков потерял с радости голову, действовал, даже не спрашивая Благодетеля никаких по поводу покойника указаний. Пока указаний не было. Поэтому для Меншикова все было ясно: нужно не соблюдать траур, а скорым порядком вытеснять скорбный факт смерти августейшего государственного изменщика ярким и веселым праздником. Надо только повод сыскать. И повод был сыскан, и праздник устроен – в честь девятой годовщины русской победы в Полтавской баталии.

Гроб с телом царевича Алексея стоял в губернаторских хоробах, а в это время в Троицком соборе новой столицы шла праздничная литургия – благодарение Богу за Полтав-

скую викторию. После литургии начался парад войск с пушечною пальбою; после парада был устроен обед с обильной выпивкой, прошедший в только что отстроенном Почтовом Дворе. А вечером еще гуляли и веселились в саду. И Петр – гулял и веселился вместе со всеми; больше того – старался быть веселее всех, ибо силился, вероятно, заглушить вполне возможные даже для такой крепкой натуры, невеселые ощущения. Получился весьма насыщенный праздничный день.

Но – удивительное дело! – даже в таком праздничном угаре царь все-таки нашел время подробно распорядиться о том, как должны были пройти похороны сына.

Царь повелел, и 28 июня, в десятом часу утра гроб с телом Алексея переместили... в Троицкий собор, то есть туда, где меньше суток назад шла торжественная литургия в честь преславной Полтавской победы. Мертвого царевича при этом перемещении сопровождали: епископ Карельский и Ладожский Аарон и вкуче с ним – два архимандрита и несколько священников. Были так же и персоны недуховные: знакомые уже нам канцлер Головкин, Ушаков и Скорняков-Писарев.

В соборе псалтирь читался как и положено быть.

Непрерывно нес караульную службу парный наряд от Преображенского полка.

Но отец и в этот день покойника-сына опять-таки не видал.

Что же, отец сего не хотел, что ли?

Может быть, и не хотел, но и другим образом можно все объяснить. Дело в том, что следующий день был 29 июня – Петров день, царские именины, и надобно было выбирать: грустить по сыну или праздновать. И царь выбрал. Именины, а не похороны.

В Троицком соборе лежал мертвый сын, а царь с утра принимал поздравления. Потом празднично разодетая толпа повалила в портовые доки, где, наконец, девяносточетырехпушечный фрегат, о котором уже говорилось не один раз, был под ликование публики торжественно спущен на воду. Потом – опять ели и пили очень много. И самым веселым на пиру был Светлейший. И было очень похоже что и царь решил в этот день на свою урину наплевать. Во всем этом веселии заметно грустной была только Екатерина Алексеевна.

А поздним вечером дали красочный феерверк.

57

Только на следующий день, тридцатого июня, царевича Алексея Петровича, наконец, похоронили. И вот как это произошло.

Семь часов утра в Троицкий собор пришли пешком царь с женою, и находились у тела Алексея вплоть до того времени, когда началась лития.

Во время литии, которую служил местоблюститель патриаршего престола и митрополит Рязанский Стефан Яворский, государь держал себя холодно и торжественно-важно. Екатерина Алексеевна плакала.

После того как лития завершилась, гроб с телом царевича Алексея Петровича, переменяясь, на руках отнесли в Петропавловский собор двадцать четыре именитых дворянина во главе с тремя митрополитами и шестью епископами. За гробом шла немалая толпа народу.

Опустили тело в могилу, приготовленную рядом со своею немецкою женою Софиею Шарлоттою.

Поминки справили в «Губернаторских хоромаш».

Шесть недель еще после похорон читали псалтырь.

Очевидно, что хоронился не государственный преступник, предатель и изменник. Хоронился сын царя. Этим и объясняется торжественность и многолюдие похорон. Петр такую процедуру как бы давал понять, что земная жизнь – греховная и преступная царевича Алексея закончилась, а останки, конечно же, преступного намерения никакого не имеют и по праву предаются земле по высокому обряду.

58

Так завершился наш сюжет. Полностью – от рождения Алексея до похорон его тела. И автору уже можно было бы, с полным сознанием выполненного долга и, испросив у читателя, как водится, прощения за то, что, возможно, «вольнo или невольнo» погрешил против истины. Слаб человек. И автор такоже.

Однако, все же основной сюжет, который на глазах у читателя автор распутывал довольно долгое время, завершился. И теперь надобно уже переходить к эпилогу...

... Хотя, нет. Есть еще одно.

Недели две спустя после похорон, Г.Г. Скорняков-Писарев все же послан был в Ладогу по государевой воле. Что за воля та была, по какому поводу посыльный официально оказался там, автор не ведает. Исправив дело, ради которого был послан, перед тем как пуститься в обратный путь Григорий Григорьевич заехал-таки в монастырь.

Его свели игуменье. Где он стал просить увидеться кратко с монахиною Еленою. И в подкрепление просьбы своей показал игуменье некую бумагу, после чего свидание сразу же разрешили.

Вошел он в келью и увидел, как Елена молилась одна у киота, слабоосвещенного свечами, стоя на коленях.

Но вот она обернулась – посмотреть на вошедшего. И едва только не упала. Да и упала бы непременно, не подхвати ее визитер, страшный для нее.

Скорняков посадил ее на топчан.

Придя в себя, она стала спрашивать неожиданно громким голосом, явно страдая:

– Ты зачем пришел, Аспид адовый? Убить меня? Так убивая, не медли... Ну!

– Я... Волю сына твоего последнюю явился исполнить.

На эти слова сразу монахиня поначалу ничего не ответила. Довольно долго молчала. Потом спросила тихо:

– Какова же была его воля? Что он тебе велел? Отвечай, только правду...

– Велел прощения просить у тебя за то, что царем не стал. Просил почаще молиться за его грешную душу. И велел отдать тебе вот это. И подал матери Алексеево письмо.

Взяла Елена письмо, распечатала, и, едва взглянув, залилась слезами. Второпях вынула платок, стала вытирать столь неожиданные обильные слезы, а письмо выпало из рук, чуть ли не к ногам посланца. Совершенно не отдавая себе отчета в том, что делает, Григорий Григорьевич поднял было письмо с тем, чтобы отдать в руки матери. Но мать махнула рукой, и жест этот мог означать только одно: «Посмотри письмо. Разрешаю».

Григорий Григорьевич письмо развернул. В нем ничего не было написано, но пером слабеющей царевичевой рукой был нарисован обычный человечек, которого часто рисовали, рисуют и будут всегда рисовать дети. Помните? «Точка, точка, запятая, минус, рожица кривая...» Помните? Таким был последний привет сына матери.

Григорий Григорьевич все-таки отдал письмо Елене-Евдокии. Взяла она письмо и тут же поднесла к горящей свече. Бумага вспыхнула. Елена дождалась, пока бумага вся сгорит, растерла пепел пальцами, сдула на пол. Спросила:

– Как похоронили-то? По-людски?

– Как царевича похоронили.

– Слава Богу. – И еще сказала:

– Ступай. Простила я тебя...

И вот теперь уже точно – все.

Эпилог

в котором повествуется о том, что случилось с некоторыми фигурантами нашего повествования после гибели царевича Алексея Петровича, и прежде всего – с теми, кто довел его до гибели – по своей ли воле, или по воле сильных мира тогдашнего.

1

Автор должен признаться, что никогда еще не писал настоящих эпилогов. И не знает, как это делается. Но, несмотря на это – он остро чувствует, что настоящий эпилог для этой книги – совершенно необходим.

Потому что в ней описано так много злодейств, что с необходимостью возникает вопрос: а как же Провидение (или Судьба, или Рок, или Господь Бог, наш великий судия) обозначили свое отношение к изображенному здесь злодейству? Наказал ли он носителей греха и прислужников дьявола, тех, кто хладнокровно или в азарте охотников убили царевича Алексея? Который, к месту сказать, тоже был не ангел, но который явно не заслужил – ни такой жизни, которую прожил, ни такой смерти, которую ему уготовили.

И когда автор стал думать над участью этих людей, то поразился: все они, так или иначе, были, все же, наказаны.

2

По авторскому разумению – без карающего небесного воз-

мездия осталась только царица Евдокия (или инокиня Елена – это уж как угодно будет читателю).

По петровскому приговору в связи с делом Алексея Петровича Елена-Евдокия была сослана в женский Старо-Ладожский Успенский монастырь, в тогда еще Ингерманландской губернии, коей полным хозяином был А.Д. Меншиков. Она находилась там с 1718 до 1725 года.

Немедленно же после смерти императора Петра Великого доля ее, казалась, стала совершенно невыносимой. Ее отправили в Шлиссельбургскую крепость. Она содержалась в ней в великой строгости, как подлинная государственная преступница. Указ на сие был скреплен подписью императрицы Екатерины I Алексеевны. Но ведь мы знаем, что и рукой ее, и головой тогда всецело владел опять-таки Меншиков и его воля торжествовала во всем.

Со вступлением на престол Петра II Алексеевича, сына царевича Алексея Петровича, положение Евдокии изменилось радикально: она была освобождена из заключения, внук дал бабушке «большое содержание и особый двор».

После того как в апреле 1730 года императрицей стала Анна Иоанновна, к ней, к Евдокии, стали официально относиться как к «бывшей царице» и за нею сохранили и содержание, и двор.

Умерла Евдокия Федоровна в 1731 году.

Поразительно, но жизнь свою сохранила в этой, изобило-

вавшей смертями истории (что можно считать огромной удачей) и Ефросинья Федорова. Читатель, наверное, уже догадался, почему ей это удалось. Прежде всего, потому, что она своими показаниями против Алексея Петровича определила и решения суда, и обвинение царевича, и даже саму его смерть. Проще говоря, Ефросинья купила себе жизнь, выполнив вполне понятное условие, которое ей поставил Петр Толстой, скорее всего накануне начала возвращения домой из Италии. Как видно, Иудин грех на небесах смертным не считается, что ли... Во всяком случае, саму Ефросинью угрызения совести особенно не терзали и повеситься на осине она даже не пыталась. Ей сохранили жизнь.

По решению Петра она была отдана на поруки коменданту Петропавловской крепости капитану Бахметеву. Ребенок же от Алексея у нее почти сразу после родов помер. Жила она в крепости хотя и не взаперти, но выходить ей в город комендант категорически не позволил. Но ведь в крепости был особый гарнизон: офицеры и солдаты. Один из офицеров, имени которого автор не знает, что называется, «положил глаз» на Ефросинью, сумел как-то с ней познакомиться и через какое-то время испросил у помянутого выше крепостного коменданта Бахметева позволения жениться на ней. Разрешение было получено, офицер женился, и, как говорят некоторые авторы, у них даже было двое детей.

Очевидно, следует быть уверенным, что позволение на брак дал сам царь Петр. Иного просто не возможно себе

представить. Повторим: таким образом царь расплатился с Ефросиньей.

Когда умерла Ефросинья – точно не известно. Но во всей заключительной фазе ее жизни – фазе офицерской жены и матери – видится очевидная несурязица. Ибо вряд ли офицер мог жениться на крепостной. Стало быть, Ефросинья к моменту брака с этим офицером крепостной уже не была. Как она получила свободу?

Можно допустить, что перед поездкой на запад, или, лучше сказать, – перед бегством в Европу, а может быть, и несколько ранее того, владелец Ефросиньи Никифор Константинович Вяземский отпустил Ефросинью и ее брата Ивана. Дал им свободу. Или царевич выкупил их у Никифора. А может быть, Вяземский просто уступил их Алексею Петровичу...

Кто знает? Все могло быть. Но факт заключается в том, что брат и сестра действительно получили свободу. Только в таком случае брак Ефросиньи с офицером становится возможным. Только в таком случае брат Ефросиньи Иван Федоров вместе с другими слугами и спутниками Ефросиньи по возвращении в Россию действительно мог в соответствии с приказом Петра быть направлен на «пристойную» службу в Сибирь «для того, что здесь им быть не прилично».

4

Далее у нас на очереди находятся еще те, которые прямо занимались исполнением приказа царя о возвращении сына

на родину. Это П.А. Толстой и А.В. Румянцев. Итак, сначала Петр Андреевич.

В 1718 году ему было уже 73 года – возраст по тем временам более чем почтенный. Образцово выполнив свою миссию в деле царевича Алексея, он получил от Повелителя своего значительное приращение имущества и возглавил Тайную канцелярию царя. Кроме того, в день коронации Екатерины Алексеевны, Петр Андреевич получил еще и графский титул. Казалось что перспективы новоявленного графа совершенно блестящи.

Но незадолго до смерти Екатерины I карьерное счастье Петру Андреевичу изменило. Почему? Ответ ясен. Потому что он не принял плана передачи трона Петру Алексеевичу Младшему при условии женитьбы последнего на дочери Меншикова Марии. Этот план известен как «план Рабутина» – австрийского посланника при Русском дворе. Почему же Толстой его не принял, не поддержал? Потому что очень хорошо понимал: юный император неизбежно страшно накажет его за ту роль, которую П.А. Толстой сыграл в деле царевича Алексея. Поэтому граф показал себя сторонником другого плана: плана передачи престола одной из дочерей Петра Великого от брака с Екатериной. Как мы знаем, первоначально возобладал и был исполнен «план Рабутина» и граф Толстой проиграл. Его наконец-то настигло злое горе победенных: он был сослан в Соловецкий монастырь, где и умер в 1729 году. Судьба предельно отяготила последние годы его

жизни – словно бы в наказание за грехи. А может быть, и действительно в наказанье... Во всяком случае участь Петра Андреевича Толстого была совершенно красноречива. А наказание он получил, по всей вероятности, за то, что прямо и сознательно участвовал в обмане Алексея Петровича, в вывозе его обманом в Россию, а так же и в том (это уже мнение автора), что поставил свою подпись под приговором. Уж он-то точно знал все хитрости вывоза царевича в Россию и суда над ним.

5

Александр Иванович Румянцев после активного участия в деле царевича, о чем читателю известно, был еще послан Петром I в Малороссию для разыскания по делу П.Л. Полуботка.

Александр Иванович разыскал, что последний действительно явно хотел «отложить» Малороссию. По этой причине бывшего наказного гетмана Левобережной Украины заключили в 1723 году в Петропавловскую крепость, где тот скоро и умер.

Что касается Александра Ивановича Румянцева, то он с воцарением Анны Иоановны расположение последней не сохранил, поскольку уж очень громко возмущался роскошью при дворе и засильем там немцев. Именно вследствие этого возмущения он и был лишен чинов и сослан в Казанскую деревню – до 1735 года. А в 1735 году – вызван в Петербург, восстановлен в чине генерал-лейтенанта и поставлен губер-

натором – сначала Астраханской, а потом –Казанской губернии.

В 1732 году его, вероятно, как знакомого с Украиной не понаслышке, назначили ее правителем. Впрочем, в этой должности он на долго не задержался и через два года был направлен послом России в Стамбул.

После того, как трон получила Елизавета Петровна, некоторое время кандидатура Румянцева обсуждалась на пост канцлера. Но Елизавета, в конце концов его кандидатуру отставила.

Умер А.И. Румянцев в начале 50-х годов XVIII века.

Отчетливо видим, что жизнь Александра Ивановича, особенно после смерти императора Петра Великого, оказалась в высшей степени беспокойной. И видно, что неспроста. Хотя конечно, на небесах не могли учесть того что в деле царевича он был только исполнителем. Хотя и в высшей степени добросовестным и эффективным. Кроме того – у Александра Ивановича оказались и другие заслуги. Например, знаменитый русский полководец, граф и фельдмаршал Петр Александрович Румянцев-Задунайский был сыном нашего героя.

6

В числе людей, которые приложили усилия в интересах царя Петра в деле царевича Алексея, фигурирует и Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев. Судьба и доля его также изобилует взлетами и падениями. После того как будучи только капитаном-поручиком он провел Суздальский

розыск, царь оказал ему полное доверие и назначил на должность обер-прокурора, первого помощника Павла Ивановича Ягужинского.

Жизненная позиция Г.Г. Скорнякова-Писарева очень долгое время формулировалась просто: «Всегда и во всем с Меншиковым». Конечно, Бог номер один у него был Петр, но Бог номер два – определенно, Меншиков. Причем, безусловная защита Александра Даниловича стоила Григорию Григорьевичу очень дорого: еще при жизни Петра Великого, в 1722 году от обер-прокурорства он был освобожден. Причиной освобождения стала его знаменитая тяжба с вице-канцлером Петром Павловичем Шафировым. Петр I, как известно, наказал обоих. Шафирову вынесли даже смертный приговор, но царь заменил его ссылкой в Новгород. Что касается Григория Григорьевича, то первоначально царь велел разжаловать его в солдаты и «лишить деревень». Но некоторое время спустя сменил гнев на милость, назначив главным смотрителем на строительство Ладожского обводного канала. Кроме того, в связи с коронацией Екатерины Алексеевны Г.Г. Скорнякову-Писареву воротили половину конфискованного имущества.

Но на строительстве канала Григорию Григорьевичу особенно хорошо проявить себя не удалось и он был заменен в 1724 году будущим русским фельдмаршалом Б.-Х. Минихом. Над Скорняковым-Писаревым снова стала собираться гроза. Но, помня прошлые его услуги, царь и на сей раз не

велел его ни как не наказывать, а оставить на канале – землю капать. О каких заслугах идет речь? Дело в том, что Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев занимал в Преображенском полку должность капитан-бомбардира бомбардирской роты – ту самую должность на которой номинально числился сам царь. Отсюда и истоки царева покровительства Григорию Григорьевичу.

Но вот царь Петр умер. Престол приняла Екатерина Алексеевна. В высшую свою силу вошел Меншиков, и, конечно же, воротил Григория Григорьевича под свою руку. Однако, ранее такая прочная связка Меншиков – Скорняков, порвалась.

Почему? По той же самой причине, по которой опалу потерпел известный нам Петр Андреевич Толстой. Александр Данилович и сама Екатерина договорились о передаче престола Петру Алексеевичу Младшему, причем, женой его должна была стать дочь Меншикова Мария. Подобно Толстому Григорий Григорьевич очень быстро понял, что это означает лично для него: ведь юный император рано или поздно – получит полное представление о той роли, какую сыграл Григорий Григорьевич в деле царевича Алексея – его отца, и царицы Евдокии – его бабки.

Но поражает не только сообразительность бывшего обер-прокурора. Поражает то, с какой легкостью Меншиков отказался от своего клеветы. Стоило только Григорию Григорьевичу занять в вопросе о наследнике уклончивую по-

зицию – наказание последовало незамедлительно. Светлейший придумал некий заговор против него и Екатерины, в котором, якобы, Скорняков-Писарев оказался замешанным. Немедленно по указу Екатерины он был арестован, а 6 мая 1727 года – даже бит кнутом – теперь уже по воле Меншикова, и «послан в ссылку за караулом»; причем, в дороге его держали крепко, писем писать, чернил и бумаги – не давали, тайно ни с кем говорить не допускали и везли «наскоро».

Умер Григорий Григорьевич Скорняков-Писарев в ссылке в 17 году.

7

Предательство Меншиковым Григория Григорьевича было ужасным и для последнего – действительно совершенно неожиданным. Но ведь и Полудержавный властелин – ах, если бы он мог знать! – через самое короткое время тоже рухнул со всей своей высоты!

8 сентября 1727 года он был арестован и отправлен в ссылку – в Ранненбург. Огромные богатства его были конфискованы. Но после того, как найдено было подметное письмо, в котором содержалась явная попытка защитить Александра Даниловича, новые влиятельные на императора – Долгорукие решили, что мягкие меры тут вовсе ни к чему, да и медлить тоже ни к чему. Неровен час...

Александр Данилович Меншиков вместе со всею своею семьею был сослан в далекий сибирский городок Березов где и умер через два года.

Думается, что в тех «подсказках», которые Долгорукие выдавали Петру II было немало сказано о том, как плохо относился Меншиков к отцу императора и как довел его до смерти. Со своей стороны в связи с этими подсказками автор хотел бы от себя заметить сызнова, что изначально плохое отношение Меншикова к царевичу Алексею – это, конечно, миф. Меншиков относился к нему так, как в этот день относился к сыну отец.

И ничего более того. По крайней мере – до смерти Петра Великого. Иное дело – после.

После смерти императора Меншиков очень хотел стать и почти уже стал свекром императора Петра II, а иначе говоря – правителем, или, по крайней мере, соправителем России. Власть как бы сама не хотела уходить из его рук. Он уже привык к ней – как привыкают к привычной одежде – и ничего не боялся. Ну, или почти ничего. Во всяком случае – гнева молодого Петра II в отличие от П.А. Толстого или Г.Г. Скорнякова-Писарева он не боялся вовсе. Он полагал, что власти и возможностей, чтобы любое развитие событий упредить, у него всегда будет достаточно.

Но – не упредил. Не получилось. Долгоруковы вместе с другими его ненавистниками оказались сильнее.

8

Что касается самого императора, то поведение его после похорон сына, да, в известной мере, и вся его оставшаяся жизнь, не оставляют никаких сомнений нам в том, что он

буквально заваливал себя работой, чтобы дела стали ему противовесом в, без сомнения, быстро осознанном им самим несчастьи – гибели сына, да еще и с полным осознанием того, что он, отец, своего сына и убил...

... Море, Олонецкие воды, опять море, Петрозаводск, Рига, Ревель, Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Астрахань, Персидский поход, Москва, снова Петербург, снова Ревель, Рогервик, опять Олонецкие воды, коронавание Екатерины, снова Петербург, Шлиссельбург, Ладожский канал, Олонецкие заводы, Новгород, Старая Русса, опять Петербург, Сеестерберг... – Вот не совсем полный перечень целей его поездок на самом последнем этапе жизни.

Тяжелая простуда, полученная 29 октября 1724 года замедляет темп его поездок. Но он все же дотягивает до 4 января 1725 года и успевает избрать нового «Князь-папу». После чего – окончательно слег и дожил только до пяти часов пятнадцати минут 28 января 1725 года.

И все.

9

После убийства сына царь прожил только шесть с половиной лет. Успел свершить немало дел – и великих, и не вполне. Не нашенское дело разбирать здесь Петра по косточкам. Но одно совершенно ясно: вопрос о престолонаследии стал в последний период жизни источником постоянной и сильной головной боли монарха – до самых последних минут.

Вследствие этой боли появился Указ о престолонаследии.

Основным смыслом этого указа было узаконивание права монарха на произвольное решение вопроса о наследнике престола: «Кому оный (т.е. монарх) хочет, тому и определит наследство, и определенному, видя какое непотребство, паки отнимет». Причина того что Петр пришел к выводу о том что именно так надо решать вопрос о престолонаследии – и не в последнюю очередь именно потому, что такой подход явился точным воплощением принципа абсолютизма.

Но совершенно ясно что основные идеи Указа стали складываться у Петра задолго до того как указ этот был сформулирован и подписан 5 февраля 1722 года.

Автор полагает, что первые, самые ранние контуры этого указа пришли Петру в голову как раз в связи с его недовольством сыном Алексеем ко дню поминок по умершей снохе Софии-Шарлотте, а может быть и немного ранее того. Идея укреплялась постепенно, и до того укрепились, что вылилась в Указ.

Однако, в том то и дело, что надежды Петра на то, что подходящую кандидатуру на престол он сможет и найти и сохранить – ни в какой мере не оправдались. Даже напротив. Петр умер в величайшей печали и смятении и именно по этой причине. Полагаем, что муки монарха, которому некому было оставить престол, это и было то наказание свыше, которое получил император под занавес своей жизни. Получилось даже еще шире, еще глубже, еще горше: Петр умер, скорее всего, в полном осознании того, даже в полной уве-

ренности в том, что все что он сделал как реформатор – все пойдет прахом, и страна тоже пойдет прахом.

Надо ли нам это доказывать? Не знаю. Определенно знаю то, что Петра Великого – монарха редкой жестокости – было за что наказывать. Уж в этом-то можно не сомневаться. Император получил свое. А империю ожидали еще немалые потрясения, которые всегда приходят, или, лучше сказать, грядут, в момент когда умирает гигант, а на смену ему приходят пигмеи.

10

Итак, царевич умер. Но слухи по поводу его смерти долго еще бродили в народе – один другого занимательнее.

Как всегда в таких случаях – основной слух был – царевич-де жив; он чудесным образом спасся. А далее народная фантазия прихотливо разрисовывала варианты самые разнообразные. Например, что он скрылся за границу вместе с фельдмаршалом Борисом Петровичем Шереметевым и когда вернется в Россию – разоблачит всех своих недругов и предателей. Подобные слухи, получая массовое распространение, иногда порождали и трудноразрешимые проблемы управления. «Перегруженные» подобными слухами, например, отказались признать наследником Петра Петровича – «Шишечку» донские казаки.

Еще случай. Сторож благовещенского собора в Москве Еремей говорил всем, кто хотел слушать, таковы слова: «Как будет на царстве наш государь царевич Алексей Петрович,

тогда государь наш царь Петр Алексеевич убирайся и прочие с ним». И станет-де народу тогда ясно, что «он-де – государь не право поступил к нему, царевичу».

А у некоего Астраханского подъячего найдена была еще и бумага, что-то вроде записанного заклęcia или особой молитвы, явно не канонической: «Лежит дорога, через эту дорогу лежит колода, по той колоде идет сам сатана, несет кулек песку да ушат воды: песком ручьи закрепляет, водой ручьи замыкает; как в ухе сера кипит, как в ружье порох кипит, так бы оберегатель мой навсегда добр был, а монарх наш, царь Петр буди проклят, буди проклят, буди проклят!»

Таким образом, царевич в народе – и после гибели своей продолжал жить неким символом защиты, народным заступником, и особенно – среди безжалостно гонимых Петром старообрядцев. И они, по законам народного воображения, наделяли его такими чертами, которыми он в реальной жизни вовсе не обладал.

Подобных примеров мы в нашей истории можем найти множество. Такова закономерность взгляда на личность историческую из глубины народного сознания. В нем, в этом взгляде отражены народные чаяния. Но повторим, в этом взгляде очень мало чего было от реального человека.

А в действительности... В действительности царевич возложен и ныне покоится под могильною плитою в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга среди своих потомков –

Романовых, меж которых он был, в сущности, последним русским.

И чтобы там ни говорили, а конец причастных к жуткой гибели царевича, впрочем, как и сама смерть нашего героя, служит поразительным примером справедливого небесного воздаяния тем, кто по слабости духа или по причине гордыни нарушил постулат христианский о любви к ближнему. Бог к таковым снисхождение никогда не показывает; ведь они, таковые – нелюбовью своею к ближнему – Бога в себе уже убили и он им нужен не был.

12

С того времени как завершилась горестная жизнь царевича Алексея Петровича прошло без малого триста лет. Срок вполне достаточный для того, чтобы оценить эту жизнь с позиции читательского, и, в какой-то мере – с позиции исследовательского, научного интереса.

Известно, что более или менее внимательно изучали жизнь царевича Николай Герасимович Устрялов, Сергей Михайлович Соловьев, Александр Густавович Брикнер, Михаил Петрович Погодин, Николай Иванович Костомаров... Были и другие.

Однако, например, Василий Осипович Ключевский почти совсем не уделил царевичу внимания, по всей вероятности, полагая фигуру царевича Алексея Петровича явно малозначительной.

Но, думается, что сама по себе, его жизнь, – жизнь цар-

ского сына, его предательство, мотивы бегства и само бегство, возвращение, совершенное как блестящая специальная операция, следствие и суд над ним и сама гибель – все это с позиций читательских и сегодня остается необыкновенно занимательным и интересным. Не случайно, поэтому, а закономерно, что «сюжет царевича» стал предметом нескольких художественных описаний. Речь и дет о романе А.Н. Толстого «Петр I», о романе З.Н. Гиппиус «Роман – царевич» или Д.С. Мережковского «Петр и Алексей».

Однако, автор взялся за перо не для того, чтобы добавить что-то в историографии и беллетристике по поводу Алексея Петровича. У него – иная цель. Он лелеет надежду, что прочитав эту книгу, читатель задумается, ему очень захочется и дальше и глубже проникнуть в наше прошлое. По мере же проникновения он (читатель) неизбежно придет в раздумьях своих к выводу – тому же, к какому задолго до нас с Вами, читатель, пришел Александр Сергеевич Пушкин в своей знаменитой сентенции, которую автор счел возможным несколько перефразировать: «только знающий прошлое перестанет наконец, пресмыкаться перед настоящим и ненавидеть будущее».

С этою надеждою, аз грешный и ставлю здесь точку.